



А. Г. Гродецкая

ГОНЧАРОВ
В ЛИТЕРАТУРНОМ ДОМЕ
МАЙКОВЫХ



А. Г. Гродецкая

**ГОНЧАРОВ
В ЛИТЕРАТУРНОМ ДОМЕ
МАЙКОВЫХ**

1830—1840-е годы

УДК 821.161.0
ББК 83.3(2Рос=Рус)1
Г86

*Издание осуществлено при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям*

Ответственный редактор:

А. Ю. Балакин

Рецензенты:

М. В. Отрадин, Н. П. Генералова

Гродецкая А. Г.

Г86 Гончаров в литературном доме Майковых. 1830—1840-е годы. — СПб.: ООО «Полиграф», 2021. — 430 с., илл.

В книге представлен ранний, допечатный (до «Обыкновенной истории») этап литературной деятельности И. А. Гончарова. В 1835 году на правах домашнего учителя Аполлона и Валериана Майковых он вошел в семью Майковых и на десятилетия сохранил с ней дружескую и творческую близость. Дом Майковых явился для начинающего писателя пространством творческой самоидентификации и своеобразным «текстом жизни», который во многом стал источником проблематики, сюжетных и персонажных моделей в его прозе. На основе малоизвестных архивных и мемуарных материалов автором во всей полноте воссоздан феномен литературного дома Майковых, уникального явления в культурной жизни столицы, представлены «домашние» рукописные издания — журнал «Подснежник» (1835, 1836, 1838) и альманах «Лунные ночи» (1839), в которых и состоялся литературный дебют Гончарова. Ранние тексты писателя исследуются как в «домашнем», так и в более широком контексте — общепохальном, жанровом, стилевом. В разделе «Приложения» впервые публикуются поэтические, прозаические, фельетонные тексты из рукописных изданий Майковых, здесь же дана и полная роспись их содержания. Иллюстрациями служат редкие архивные материалы. Исследование обобщает результаты многолетней работы автора над томами академического Полного собрания сочинений и писем И. А. Гончарова. Книга адресована всем интересующимся историей Золотого века русской культуры.

ISBN 978-5-91868-023-0



© А. Г. Гродецкая, 2021
© ООО «Полиграф», 2021,
оформление

ВСТУПЛЕНИЕ

По свидетельству Гончарова, Валериан Майков шутя признавался, что начал бы его некролог фразой: «Гончаров поздно понял свое назначение».¹ Особенность творческого пути романиста составил исключительно долгий допечатный период. Опубликовав анонимно в 1832 году в надежном «Телескопе» перевод отрывка из романа Э. Сю «Атар-Гюль»,² Гончаров становится известен читателю только в 1847 году как автор «Обыкновенной истории», имевшей, по словам Белинского, «небывалый успех» и удивившей современников зрелостью таланта «начинающего» автора.

В свое время И. Ф. Анненский так определил феномен личностной «закрытости» Гончарова: «Гончаров унес в могилу большую часть нитей от своего творчества. Трудно в сглаженных страницах, которые он скупно выдавал из своей поэтической мастерской, разглядеть поэта. Писем его нет,

¹ Гончаров И. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. СПб., 2017. Т. 15: Письма. 1842 — январь 1855 / Подгот. текста и примеч. А. Г. Гродецкой. С. 69; письмо к А. П. и Ю. Д. Ефремовым от 22 июля 1847 г. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием тома и страницы.

² Телескоп. 1832. Ч. 10. № 15. С. 298—322; текст и примеч. см.: 1, 534—545, 822—827. Сам факт публикации был впервые отмечен Гончаровым в Автобиографии 1867 года. См.: Гончаров И. А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1980. Т. 7. С. 221. Далее ссылки на 7-й и 8-й тома этого издания даются в тексте сокращенно: 1980, с указанием тома и страницы.



И. А. Гончаров.
Портрет работы К. А. Горбунова. 1847.

на признания он был сдержан».¹ Письма Гончарова, разумеется, известны, но к моменту написания статьи Анненским они были опубликованы в незначительном количестве. Однако самые ранние из сохранившихся гончаровских писем относятся к 1842 году (см.: 15, 43–50), а это — нельзя не подчеркнуть — письма тридцатилетнего человека. Значительные периоды в личностном и творческом развитии писателя остались эпистолярно не представленными: не сохранились письма, относящиеся ко времени его учебы в Московском коммерческом училище (1822–1830), в Московском университете (1831–1834). Мы не располагаем

¹ Анненский И. Ф. Гончаров и его Обломов // Анненский И. Ф. Книги отражений. М., 1979. С. 252 («Лит. памятники»).

и письмами за 1834—1841 годы, то есть относящимися ко времени пребывания Гончарова в Симбирске по окончании университета и к первым годам его жизни в Петербурге. Немногочисленными эпистолярными текстами документируются и 1840-е годы — важнейший этап в творческом самоосознании писателя, время его публичного признания. Не склонный к автомемуарным откровениям, считавший «робость» и «некоторое недоверие к себе» первыми «признаками таланта»,¹ предельно критичный в оценке своих ранних «экзерциций пера», Гончаров оставил о них самые немногочисленные свидетельства. Так, в первой Автобиографии, опубликованной в 1859 году в «Русском художественном листке» В. Ф. Тимма, он сообщал:

Сблизившись коротко с семейством артиста-живописца Н. А. Майкова (отца известного поэта), И. А. Гончаров принял, хотя и довольно слабое, участие в тех журналах, в которых были сотрудниками некоторые из друзей Майковых. Таким образом он перевел и переделал с иностранных языков несколько статей различного содержания и поместил их в журналах без подписи, но с половины сороковых годов он выступает на литературное поприще, уже не скрывая своего имени...²

Более подробные сведения о первых «не публичных» литературных опытах начинающего автора в семье Майковых содержал черновой автограф Автобиографии (1858). Со времени его публикации в 1911 году А. Мазоном³ именно он воспроизводился в Собраниях сочинений Гончарова и цитировался в специальной литературе. Сравним процитированный фрагмент с соответствующим фрагментом автографа:

Сблизившись коротко с семейством артиста-живописца Н. А. Майкова (отца известного поэта), Гончаров участво-

¹ Цит. по: К. Р. Переписка. СПб., 1999. С. 89; письмо к вел. кн. Константину Константиновичу, янв. 1884 г.

² Русский художественный листок. 1859. № 14. 10 мая. С. 37.

³ Мазон А. Материалы для биографии и характеристики И. А. Гончарова // Русская старина. 1911. № 10. С. 34—41.

вал с ними в домашних, так сказать, то есть не публичных, занятиях литературою. <...> Он писал, в этом домашнем кругу, и повести, также домашнего содержания, то есть такие, которые относились к частным случаям или лицам, больше шуточного содержания и ничем не замечательные (1980; 7, 219).

Как видим, сведения о повестях «домашнего содержания», писавшихся в «домашнем кругу» Майковых, из печатного текста первой Автобиографии были изъяты, и едва ли это было сделано без ведома автора, по воле редакции, — Гончаров, как уже говорилось, сознательно избегал каких бы то ни было, кроме самых общих, упоминаний о своих первых шагах в литературе.

Вместе с тем в печатном тексте Автобиографии сохраняется иная информация — о «статьях различного содержания», которые Гончаров «переделал с иностранных языков» и «поместил в журналах без подписи». Статьи эти до сих пор не разысканы. В творческом наследии писателя, как и в его биографии, остается значительное количество загадок и непроясненных фактов и событий. Часть из них в предлагаемом исследовании в той или иной степени проясняется.

Понятия *дома* и *домашнего круга*, присутствующие в процитированном фрагменте чернового автографа Автобиографии 1858 года, в высшей степени актуальны для жизненной и художественной философии писателя. Ракурс авторского видения художественного объекта в текстах Гончарова можно в целом определить как *одомашнивающий* — таков он и в романной трилогии, и особенно в очерках кругосветного плавания на фрегате «Паллада». Вспомним строки четвертой главы «Фрегата “Паллада”» — «На мысе Доброй Надежды» — с подробным описанием долгой стоянки фрегата в Капской колонии:

Жаль было нам уезжать из Капской колонии: в ней было привольно, мы пригреблись к этому месту. Другие говорят, что если они плавают долго в море, им хочется берега; а поживут на берегу, хочется в море. Мне совсем не так: если

мне где-нибудь хорошо, я начинаю пускать корни. Удобна ли квартира, покойно ли кресло, есть хороший вид, прохлада — мне не хочется дальше. Меня влечет уютный домик с садом, с балконом, останавливает добрый человек, хорошенькое личико. Сколько страстишек успеет забраться в сердце! сколько тонких, сначала неосязаемых нитей протянется оттуда в разные стороны! Поживи еще — и эти нити окрепнут, обратятся в так называемые «узы». Жаль будет покинуть знакомый дом, улицу, любимую прогулку, доброго человека (2, 235).

Характерную особенность гончаровского мировидения точно определил Ю. И. Айхенвальд: «...он любит человека в его домашней обстановке, в кругу разнообразных мелочей повседневного, мирно текущего быта, среди вещей уютного родного угла. Он — поэт комнаты, певец дома; <...> поэт обыденности, он умеет извлекать теплоту и радость из хозяйственной прозы <...> везде тяготеет он к одним и тем же впечатлениям домашнего быта и привлекательных мелочей жизни...»¹

Приезд в Петербург в мае 1835 года, зачисление на службу в Департамент внешней торговли Министерства финансов, сближение здесь с В. Андр. Солоницыным,² литератором, соредактором О. И. Сенковского по «Библиотеке для чтения», знакомство через него с семьей Н. А. и Е. П. Майковых имели важнейшее значение в судьбе Гончарова. Николай Аполлонович Майков (1794—1873) — представитель древнего дворянского рода (к которому принадлежал Нил Сорский), сын директора императорских театров А. А. Май-

¹ Айхенвальд Ю. И. Силуэты русских писателей. М., 1994. С. 209.

² Уточняя здесь и в ряде случаев ниже инициалы Солоницына — «В. Андр.», для различения с его племянником, также литератором, В. Ап. Солоницыным. См. о В. Андр. Солоницыне: Гродецкая А. Г. 1) Чувствительные и холодный: (В. А. Солоницын и семья Майковых); Из переписки В. А. Солоницына и Е. П. Майковой 1843—1844 гг. / подгот. текста и примеч. А. Г. Гродецкой // *Лица* 2001. С. 5—133; 2) Солоницын Владимир Андреевич // *Русские писатели. 1800—1917: Биограф. словарь*. М., 2007. Т. 5. С. 771—773. О В. Ап. Солоницыне см. ниже.

кова, живописец-самоучка, не имевший специального художественного образования, получил признание как создатель образов для церкви Св. Троицы л.-гв. Измайловского полка (за что по личному указанию императора Николая I был удостоен звания академика живописи), для Исаакиевского собора, нескольких храмов в Москве и провинции, столичных особняков и имений.¹ Гончаров был автором его некролога (1873), и его роман о художнике («Обрыв») создавался, воодушевляемый артистической личностью Майкова. Евгения Петровна Майкова (рожд. Гусятникова; 1803—1880), родившаяся в семье московского купца-золотопромышленника П. М. Гусятникова,² замуж за Н. А. Майкова вышла в 1820 году. Семья жила в Москве и родовых имениях Майковых, с 1834 года — постоянно в Петербурге. Как автор «домашних» стихотворных и прозаических произведений, созданных в сентиментально-романтическом духе, Евгения Майкова была чрезвычайно продуктивна. В начале 1840-х ее стихи (за подписью «М-ва») появились на страницах «Сына отечества» и «Библиотеки для чтения», в 1850-х были опубликованы и ее повести «Женщина», «Женщина в тридцать лет», «Рассказ из частной жизни

¹ Художник славился мягким колоритом, что Аполлон Майков отметил в одном из обзоров выставок в Академии художеств: «О колорите его говорить нечего; около картин его всегда найдется любитель, старающийся догадаться, каким способом растушеваны его краски и какою краскою писано тело...» (<Майков А. Н.> Годичная выставка в императорской Академии художеств // Современник. 1847. № 11. Отд. II. С. 76). Подробнее о Н. А. Майкове см.: Гайнцева Э. Г. Николай Аполлонович Майков и его воспоминания // Русская литература. 1997. № 1. С. 123—149. Перечень исполненных художником 14-ти образов в иконостасе левого алтаря придела кн. Александра Невского и 4-х плафонных росписей в Исаакиевском соборе см.: История и достопримечательности Исаакиевского собора. СПб., 1858. С. 44, 46; Описание С.-Петербургского кафедрального собора во имя св. Исаакия Далматского. СПб., 1858. С. 185, 189; *Серрафимов В., Фомин М.* Описание Исаакиевского собора в С.-Петербурге, составленное по официальным документам. СПб., 1865. С. 74, 78—79.

² См. о нем ниже, с. 33, 90.

женщины».¹ В семье выросли четыре сына-литератора — Аполлон, известный поэт, рано погибший Валериан, много обещавший публицист и литературный критик, Владимир, журналист, переводчик, издатель, и младший в «фамилии талантов» Леонид, историк литературы, академик.

В дом Майковых Гончаров входит на правах домашнего учителя Аполлона и Валериана и на всю жизнь остается со всей семьей дружески и творчески связан. «...Я никогда не заботился о своей квартире, — писал Гончаров Майковым из экспедиции на “Палладе”, — <...> она всегда была противна мне, как номер трактира, я бежал греться у чужой печки и самовара (высоким словом — у чужого очага), преимущественно у вашего» (15, 109).

Дефицит сведений о первых годах пребывания Гончарова в Петербурге признавали все его биографы — М. Ф. Суперанский, А. Мазон, Е. А. Ляцкий, позднее А. Г. Цейтлин, А. П. Рыбасов и другие. Так называемый «майковский период» его творчества (1835—1842),² связанный с участием в домашних рукописных изданиях семьи — журнале «Подснежник» и альманахе «Лунные ночи», в научной и биографической литературе освещен в самых общих чертах.³ Многие обстоятельства этого периода, как и лица, входившие

¹ См. подробнее: *Гродецкая А. Г., Сучков С. В.* Майкова Евгения Петровна // *Русские писатели. 1800—1917: Биографический словарь*. Т. 3. С. 464—465.

² Если первая дата точна, то вторая определяется нами временем окончания Петербургского университета Вал. Майковым; Ап. Майков окончил университет в 1841 году.

³ См.: *Mazon A.* Un maître du roman russe, Ivan Gontcharov: 1812—1891. Paris, 1914. P. 51—56; *Ляцкий Е. А.* 1) Гончаров: Жизнь, личность, творчество: Крит.-биограф. очерки. 3-е изд. Стокгольм, 1920. С. 109—114; 2) *Ляцкий* 1925. С. 111—117; *Цейтлин* 1950. С. 28—30; *Рыбасов А. П.* И. А. Гончаров. М., 1957. С. 28—48; *Демиховская О. А.* Раннее творчество И. А. Гончарова // Материалы юбилейной Гончаровской конференции. Ульяновск, 1963. С. 54—86; *Деркач С. С.* И. А. Гончаров и кружок Майковых // Уч. зап. ЛГУ. 1971. № 355. Сер. филол. наук. Вып. 76. С. 18—38; и др. В указанных работах есть неточности и ошибки.

в ближайшее окружение Майковых и Гончарова, до последнего времени оставались неизвестными.

Почти не исследованы, кроме того, служебные и литературные контакты писателя в Департаменте внешней торговли Министерства финансов,¹ тогда как Департамент при министре финансов *литераторе* Е. Ф. Канкрине² (высоко ценившем умение писать «официальную прозу»³), при вице-директоре Департамента П. А. Вяземском, директоре Канцелярии А. М. Княжевиче, позднее Солоницыне, при служивших там же Н. В. Кукольнике, В. Г. Бенедиктове, А. П. Крюкове, Е. Ф. Корше представлял по-своему уникальное явление.

В первой главе на основе архивных и мемуарных материалов воссоздан феномен литературного дома Майковых (это не салон и не кружок). Главные персонажи домашнего мира Гончарова во второй половине 1830-х — начале 1840-х годов — старшие Майковы, Николай Аполлонович

¹ О служебной карьере Гончарова см.: *Муратов А. Б.* И. А. Гончаров в Министерстве финансов // И. А. Гончаров: (Новые материалы о жизни и творчестве писателя). Ульяновск, 1976. С. 37—57; *Лобкарева А. В.* Новые материалы о службе И. А. Гончарова в Департаменте внешней торговли // И. А. Гончаров: (Материалы междунар. конференции, посвящ. 180-летию со дня рождения И. А. Гончарова). Ульяновск, 1994. С. 291—296; *Романова А. В.* «Работы было немного...»: И. А. Гончаров — переводчик в Департаменте внешней торговли // Литературный факт. 2019. № 4 (14). С. 282—292.

² Егор Францевич Канкрин (1774—1845) — министр финансов в 1823—1844 гг. См. о нем: *Шепелёв Л. Е.* Е. Ф. Канкрин и товарно-промышленная политика финансового ведомства (1823—1844 гг.) // *Английская набережная. 4: ежегодник*. СПб., 2001. С. 145—226. Библиографические сведения о его беллетристике, путевых очерках и трактате по эстетике, написанных по-немецки и по причине «сильного писательского самолюбия» автора публиковавшихся анонимно, см.: *Лебедев В. А.* Граф Егор Францевич Канкрин. Очерк жизни и деятельности. СПб., 1896. С. 12—13. См. также посвященное Канкрину стихотворение В. Г. Бенедиктова «Он» (между 1845 и 1857; *Бенедиктов В. Г.* Стихотворения. Л., 1983. С. 435—437 («Б-ка поэта». Большая сер.)).

³ Остафьевский архив князей Вяземских. СПб., 1899. Т. 4. С. 302 (письмо А. И. Тургенева к П. А. Вяземскому от 1 нояб. 1844 г.).

и Евгения Петровна, их многочисленные родственники, как по линии Майковых, так и по линии Гусятниковых, и ближайшие друзья дома.

Исключительная роль в литературном доме Майковых принадлежала литератору, журналисту, переводчику Владимиру Андреевичу Солоницыну, другу дома, воспитателю и наставнику (до Гончарова и наряду с ним) Аполлона и Валериана Майковых, инициатору и редактору домашних рукописных изданий. Его судьбе посвящен специальный раздел первой главы.

Не менее значительны в ближайшем окружении Гончарова этой поры сокурсники по Петербургскому университету Аполлона, Валериана и несколько позднее Владимира Майковых — будущие литераторы С. С. Дудышкин, В. Ап. Солоницын,¹ племянник старшего Солоницына, А. В. Старчевский, Я. А. Щеткин,² И. И. Льховский.

В разделе, посвященном рукописным изданиям Майковых, журналу «Подснежник» и альманаху «Лунные ночи», уточнен состав авторов, при этом установлены ранее не названные имена, определены редакторские стратегии Солоницына, воссозданы индивидуальный творческий кругозор и художественные цели авторов *домашней* лирики и прозы. Судьбы малоизвестных литераторов из круга Майковых,

¹ Владимир Аполлонович Солоницын (1820—1865) в 1839—1843 гг. учился на юридическом факультете Петербургского университета одновременно с А. Н. Майковым, Вал. Н. Майковым, С. С. Дудышкиным, М. П. Заблоцким-Десятовским, А. В. Старчевским, дружбу с ними поддерживал и позднее; в домашней переписке Майковых и на страницах их домашних изданий он упоминается как Солик (иногда — Хрюша). О нем и его творчестве см.: *Гродецкая А. Г., Гаврилова Н. В.* Солоницын Владимир Аполлонович // *Русские писатели. 1800—1917. Т. 5. С. 773—774; также: 15, 526—527.*

² Яков Александрович Щеткин (1817/1818 — не ранее 1855) — сокурсник в 1838—1842 гг. Вал. Майкова по юридическому факультету Петербургского университета; малоизвестный поэт. См. о нем: *Балакин А. Ю.* Знакомый Гончарова поэт Яков Щеткин // *Балакин А. Ю.* Разыскания в области биографии и творчества И. А. Гончарова. М., 2018. С. 155—180.

разнообразные проявления в нем «бытового романтизма» (Л. Я. Гинзбург), как и «позитивизм» Солоницына, редактора рукописных изданий, представлены в работе как «текст жизни», во многом прообразующий персонажные модели и сюжетные ситуации в «Обыкновенной истории».

Помещенные в рукописных изданиях четыре стихотворения Гончарова, повести «Лихая болезнь» и «Счастливая ошибка» рассматриваются в специальных разделах 2-й главы прежде всего в контексте домашнего творчества круга Майковых, вне которого невозможна их адекватная интерпретация. Этот контекст до настоящего времени был изучен в минимальной степени: публикаторы ранних текстов писателя (Е. А. Ляцкий, А. П. Рыбасов, Б. М. Энгельгардт, А. Г. Цейтлин) впервые вводили их в научный оборот, исследование текстов носило предварительный характер, ближайший контекст реконструировался на основании недостаточных документальных данных. В позднейших работах ученых, занимавшихся ранней прозой Гончарова (О. А. Демиховская, Н. Г. Евстратов, С. С. Деркач, В. П. Сомов и др.), не проводилось текстологическое и историколитературное исследование майковских рукописных изданий. В настоящей работе такое исследование предпринято впервые. Для каждого из ранних произведений Гончарова определяется, помимо *домашнего*, и более широкий контекст — общеэпохальный, жанровый, стилевой.

В ранних гончаровских текстах оформляется ряд структурных элементов, которые и позднее останутся устойчивыми и специфичными для поэтики писателя, в частности, это принцип оппозитивности, генетически связанный с системой романтических оппозиций. Авторская интенция в ранних повестях не является антиромантической, как до недавнего времени было принято считать. Повести отразили ситуацию стилевой переходности и демонстрируют эффект столкновения *стилевого* и *нестилевого* слова. Ирония автора в этих текстах по отношению к жанрово-стилевым романтическим клише имеет не столько пародийный, сколько пародический характер, который сохранится в прозе писателя в качестве стилеобразующего элемента и позднее.

Анализ ранних текстов Гончарова создает основу для определения и описания ряда важнейших констант его поэтики.

Отношения Гончарова с семьей Майковых, не менявшиеся, кажется, своего характера на протяжении десятилетий, выявляют и иные константы — как творческие, так и психологические, и ценностно-бытийные. В восприятии и интерпретации писателя отношения эти сохраняли идиллическую тональность («укромный и много любимый уголок», «маленький кружок» и проч.). Дом Майковых — это и художественно-мемуарная конструкция в текстах Гончарова. Определяющими в ней являются темы и мотивы, которые могут быть отнесены к числу инвариантных в его прозе, для которой в целом актуальна идиллическая топика *дома* во всем многообразии ее компонентов. В более широком плане *идиллическое* входит в архитектуру всех трех романов Гончарова (мир провинции, локальный «мирок» Обломовки и Выборгской стороны, крымского коттеджа Штольцев, «идиллический человек» Обломов, Ликейские острова во «Фрегате “Паллада”», Марфинька в «Обрыве») и остается, вослед классическим тезисам М. М. Бахтина,¹ предметом обстоятельного научного анализа.²

¹ Ср.: «Изображение идиллии в Обломовке и затем идиллии на Выборгской стороне (с идиллической смертью Обломова) дано с полным реализмом. В то же время показана исключительная человечность идиллического человека Обломова и его “голубиная чистота”. В самой идиллии (особенно на Выборгской стороне) раскрываются все основные идиллические соседства — культ еды и питья, дети, половой акт, смерть и т. д. (реалистическая эмблематика). Подчеркнуто стремление Обломова к постоянству, неизменности обстановки, его боязнь перемещения, его отношение к времени» (Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 383).

² См., например, исследования М. В. Отрадина, А. А. Фаустова, Е. И. Ляпушкиной, П. Тиргена, Х. Роте, Й. Кляйна и др. по предметному указателю в изд.: И. А. Гончаров: Библиографич. указатель (1832–2011) / Сост. А. В. Романова. СПб., 2015.

ГЛАВА 1

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДОМ МАЙКОВЫХ

Я же с детства, как нервозный человек, не любил толпы, шума, новых лиц! Моей мечтой была не молчалинская, а горацанская умеренность, кусок независимого хлеба, перо и тесный кружок самых близких приятелей.

И. А. Гончаров.
Необыкновенная история.

Напомним несколько известных автомемуарных свидетельств писателя. В январском письме 1884 года к вел. кн. Константину Константиновичу Гончаров рассказывал о себе:

Я, с 14—15-летнего возраста, не подозревая в себе никакого таланта, *читал все, что попадалось под руку, и писал сам непрестанно.* <...> Потом я стал переводить массы — из *Гете*, например, только не стихами, за которые я никогда не брался, а многие его прозаические сочинения, из *Шиллера*, *Винкельмана* и др. И все это без всякой практической цели, а просто из *влечения писать*, учиться, заниматься, в смутной надежде, что выйдет что-нибудь. Кипами испи-санной бумаги я топил потом печки.

Все это *чтение и писание* выработало мне, однако, перо и сообщило, бессознательно, писательские приемы и практику. Чтение было моей школой, литературные кружки того времени сообщили мне практику, т. е. я присматривался

к взглядам, направлениям и т. д. Тут я только, а не в одиночном чтении и не на студенческой скамье, увидел — не без грусти — какое беспредельное и глубокое море — литература...¹

В этом исповедально-мемуарном письме любопытно признание, что за стихи его автор «никогда не брался». Этот факт опровергается четырьмя стихотворными текстами Гончарова в рукописных изданиях Майковых. Важно и признание определяющей роли в его творческом становлении «литературных кружков». В письме кружки представлены типичным для времени общекультурным явлением. Так же широко и обобщенно Гончаров будет вспоминать в мемуарах «В университете» студенческие кружки, от которых он был мировоззренчески и психологически далек. Упомянув Н. В. Станкевича, своего университетского соученика, наряду с Белинским и Герценом, К. С. Аксаковым, О. М. Бодянским, С. М. Строевым, Гончаров писал: «Не называю их товарищами, потому что не был с ними знаком. Я слышал только тогда, что они, составляя одну группу и занимая один угол в обширной аудитории, собирались друг у друга, читали, менялись мыслями — и едва ли не являлись в печати уже тогда» (1980; 7, 256).

К литературным кружкам Гончаров в процитированном письме к вел. кн. Константину Константиновичу относит и кружок Майковых, хотя во всех прочих автодокументальных признаниях расставлены иные акценты, упоминается *домашний круг*, как в Автобиографии 1858 года.

В Автобиографии 1867 года Гончаров сообщал, что, приехав в Петербург, «продолжал заниматься литературою, то есть читать и переводить, делать извлечения, преимущественно из немецких и английских писателей, для себя, в виде упражнений, пока без намерения печатать. Он сблизился с некоторыми домами, любившими литературу, и пробовал силы в домашних сборниках, составляемых из сочинений небольшого круга друзей» (1980; 7, 222).

¹ К. Р. Переписка. С. 34; курсив Гончарова.

В типологии кружковых явлений 1830—1840-х годов у Гончарова есть дефинитивные различия. Во второй Автобиографии речь идет не о кружках, но о «домах, любивших литературу».

КРУЖОК, САЛОН ИЛИ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДОМ

Дом Майковых,¹ по-московски открытый для многочисленных родных и друзей, стал одним из заметных явлений в литературно-художественной жизни столицы после переезда семьи из Москвы в Петербург в 1834 году. Творческий

¹ Указатель «Литературные и памятные места Ленинграда» (Л., 1968. С. 612) дает единственный адрес проживания Ап. Майкова в 1840-х гг. — ул. Б. Садовая, напротив Юсупова сада, в доме Адама (совр. адрес: Садовая, 51; дом сохранился). Более точные данные о петербургских адресах семьи установить возможно, однако в ряде случаев затруднительно определить точное время ее проживания по тому или иному адресу. Известен первый адрес семьи в Петербурге, из письма лета 1836 г.: «В конце Сергиевской улицы, близ Таврического сада, в доме г-жи Голоушевой» (РО РНБ. Ф. 452. Оп. 1. Ед. хр. 426. Л. 6 об.); Таврический сад Евг. Майкова в эти годы в переписке упоминает постоянно. В конце 1830-х — начале 1840-х Майковы жили в доме И. Х. Труссона на Ново-Исаакиевской ул. (см. подробнее в разделе о газете «Сплетня»); в конце января 1844 г. после возвращения из-за границы семья переедет на Галерную ул., д. 17 (см. в примеч. к письму В. А. Солоницына Гончарову от 6 марта 1844 г.; 15, 472—473). В 1850-х Н. А. и Е. П. Майкова жили на Екатерингофском пр., д. 1 (ныне: пр. Римского-Корсакова), в угловом доме, на пересечении с Садовой ул. (см.: Путеводитель. 60 000 адресов из Санкт-Петербурга, Царского Села, Петергофа, Гатчина и прочие. 1854. СПб., 1853. Ч. 2. С. 147). Этот адрес указан и на конверте письма Гончарова из Кейптауна к Н. А. Майкову и его семье от 17 (29) марта 1853 г. («На Большой Садовой улице, против Юсупова сада, в доме Полосухина, бывшем Адама». — 15, 144). Как сообщал Гончаров И. Ф. Горбунову 3 сент. 1855 г., «Майковы живут в том же доме и по той же лестнице, где живет Аполлон Ник<олаевич>, над ним, направо. Это в Большой Садовой, против так называемого Юсупова сада, в доме бывшем Адама, ныне Полосухина. Вход с Садовой, третья лестница от угла» (Временник Пушкинского дома. 1914. Пг., 1915. С. 106).

быт «фамилии талантов», по известному определению П. А. Плетнева, достаточно широко представлен в переписке и мемуарах современников. Богат и архивный фонд Майковых, с исключительной полнотой сохранивший семейные документы: многолетнюю переписку, рукописные издания «Подснежник» и «Лунные ночи», вплоть до материалов привычных в семье домашних развлечений и игр (как игра в «секретари», о которой речь ниже).

В литературе о Гончарове долгое время общепризнанным было определение, данное дому Майковых А. Г. Цейтлиным, — «барски-эстетский салон».¹ С тех пор как С. С. Деркач назвал семейно-дружеский круг Майковых *кружком*,² утвердилось и неизменно повторяется именно это определение.³ Заметим, что биографы Гончарова определение «кружок» использовали с осторожностью. Так, Е. А. Ляцкий, много внимания уделивший «майковскому периоду» в жизни Гончарова, давал его в кавычках: «...в конце 1830-х в доме складывается “майковский кружок”».⁴

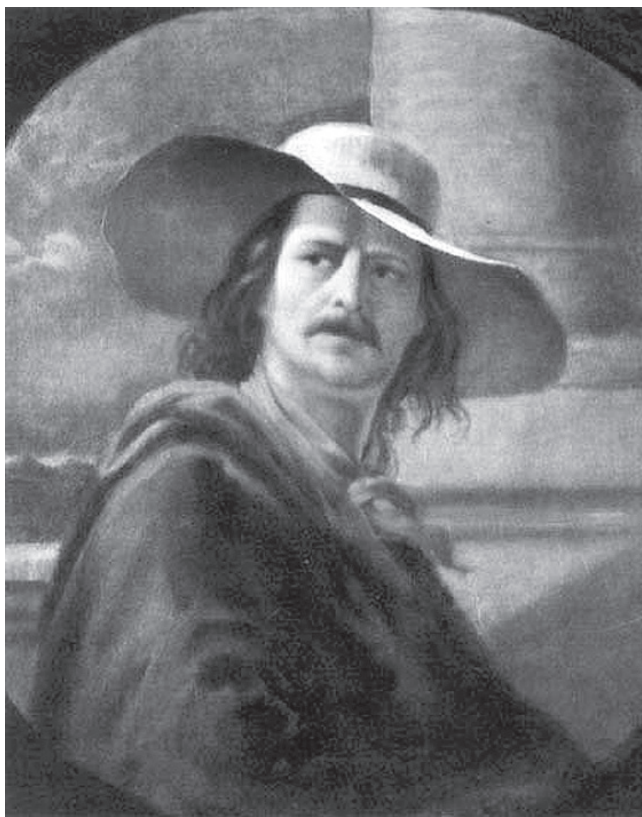
Домашний круг Майковых был семейно-дружеским, объединявшим прежде всего родителей и детей с многочисленными родственниками и друзьями как старших, так

¹ Цейтлин 1950. С. 30.

² Деркач С. С. И. А. Гончаров и кружок Майковых // Уч. зап. ЛГУ. 1971. № 355. Сер. филол. наук. Вып. 76. С. 18—38.

³ См., например: Седельникова О. В. Ф. М. Достоевский и кружок Майковых. Томск, 2006. Продолжают звучать и давно, казалось бы, пересмотренные мнения, как, например, во вступлении С. В. Друговой к публикации писем Гончарова к А. Н. Майкову, которая пишет: «Майковский салон играл значительную роль в литературной и светской жизни Петербурга 1840-х годов» (Письма Гончарова. А. Н. Майкову / Вступ. ст., публ. и комм. С. В. Друговой // ЛН Гончаров. С. 336). Здесь не вполне корректно представлены как само явление, так и его роль «в светской жизни Петербурга».

⁴ Ляцкий 1925. С. 34. В другой работе ученого говорилось о первых литературных опытах Гончарова, предпринятых «в семейном кругу художника Н. А. Майкова» (Ляцкий Е. А. О трудах А. А. Мазона по изучению Гончарова // Ляцкий Е. А. Гончаров: Жизнь, личность, творчество: Крит.-биогр. очерки. 3-е изд. Стохгольм, 1920. С. 368).



Н. А. Майков. Автопортрет, 1830-е гг.

и младших. В «кружке» не было кружковой идеологии и обязательного в жизни кружка идейного лидерства.¹ Не был дом Майковых и литературным салоном (хотя не раз

¹ Глубокое разочарование в социально-культурных и интеллектуальных итогах деятельности кружков 1840-х годов наряду с исследованием самого явления отразила, как известно, исповедь тургеневского уездного Гамлета («Гамлет Щигровского уезда», 1848), свидетельствовавшего: «...в кружке поклоняются пустому краснобаю, самолюбивому умнику, довременному старику, носят на руках стихотворца бездарного, но с “затаенными” мыслями; <...> О кружок! ты не кружок: ты заколдованный круг, в котором погиб не один по-



Е. П. Майкова. Портрет работы Н. А. Майкова,
1830-е гг.

так именовался, в том числе и мемуаристами), он привлекал посетителей несалонной, незтикетной, домашней непринужденностью, не петербургской — московской атмосферой родственной и дружеской близости.

Мемуарные и архивные источники позволяют воссоздать феномен литературного дома Майковых начиная с середины 1830-х и до начала 1850-х годов, когда повзрослевшие сыновья будут жить отдельно от родителей.

рядочный человек!» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. 2-е изд., испр. и доп. Соч.: В 12 т. М., 1979. Т. 3. С. 262—263).

В редких по единодушию воспоминаниях современников Николай Аполлонович и Евгения Петровна Майковы предстают воплощением тепла и душевной открытости. Такими их запомнили А. В. Старчевский, И. И. Панаев, Д. В. Григорович, А. Н. Плещеев, Ф. М. Достоевский, С. Д. Яновский, Е. А. Штакеншнейдер и многие другие.

Как вспоминал Гончаров в некрологе «Н. А. Майков», дом Майковых «кипел жизнью, людьми, приносившими сюда неистощимое содержание из сферы мысли, науки, искусств. Молодые ученые, музыканты, живописцы, многие литераторы из круга тридцатых и сороковых годов — все толпились в необширных, неблестящих, но уютных залах его квартиры, и все, вместе с хозяевами, составляли какую-то братскую семью или школу...».¹

Постоянный приток молодежи — друзей всех четырех сыновей, действительно не давал остыть «кипению жизни» в доме Майковых. В конце 1830-х — начале 1840-х на правах членов семьи здесь были приняты сокурсники Аполлона — будущие литераторы Степан Дудышкин и Альберт Старчевский, будущий статистик Михаил Заблоцкий-Десятовский,² и близость с ними сохранилась на десятилетия.

¹ Гончаров И. А. Николай Аполлонович Майков: Некролог // Голос. 1873. № 238. 29 авг. С. 2.

² Биографические сведения о Михаиле Парфеновиче (Парфеньевиче) Заблоцком-Десятовском (1818—1858), статистике, метрологе, археографе, были до последнего времени крайне ограниченными. Сокурсник в 1837—1841 гг. Аполлона Майкова и Степана Дудышкина по юридическому факультету Петербургского университета, в 1841—1856 гг. он служил последовательно: помощником столоначальника, столоначальником и драгоманом (переводчиком) в Азиатском департаменте Министерства иностранных дел, с 1856 г. — начальник отделения, позднее редактор хозяйственного департамента Министерства внутренних дел. Его историко-статистические исследования в 1850-е гг. печатались в «Журнале Министерства гос. имуществ», «Экономическом указателе», «Журнале Министерства народного просвещения», в «Отечественных записках», «Библиографических записках», «Чтениях общества истории и древностей российских». См. впервые собранные подробные сведения о нем: Раздорский А. И. Из истории изучения таможенных книг XVII в.

Старший брат Заблоцкого, Андрей Парфенович, известный экономист уже в пору студенчества Михаила, также стал одним из близких людей в семье Майковых.

«В этом кругу, — вспоминал Старчевский, — никогда не происходило ни пошлых разговоров, не сообщалось двусмысленных анекдотов, никто не осуждался, никто не осмеивался; а между тем всем было весело, привольно, занято, и постоянные посетители неохотно брались за шляпы в три часа ночи, чтобы отправиться восвояси».¹ И он же рассказывал, как был принят в семье Майковых Степан Дудышкин: «Дудышкин, прибывший из Витебска, где жили его родители, выглядел страшным провинциалом, совершенно еще необтесанным <...>. А. Н. Майков <...> возбудил к Дудышкину сочувствие всего своего семейства, и его стали пригревать и покровительствовать у Майковых. Сначала его пригласили бывать у них по воскресеньям и праздникам и старались его полировать. У стариков Майковых, родителей Ап. Ник., было довольно знакомых молодых людей, которые собирались к ним по воскресеньям к обеду или вечером; бывали и дамы. Все это был народ *comme il faut*, и это была для Дудышкина первая школа, в которой он брал уроки общежития, и он действительно стал цивилизоваться и скоро усвоивал себе все хорошее. Следует сказать здесь без преувеличения, что Дудышкин всем обязан семейству Майковых, добрых и образованных людей».²

Привычными посетителями дома стали и сокурсники Валериана Майкова: с конца тридцатых — начинающий поэт Яков Щеткин, позднее — П. М. Цейдлер, будущий педагог, и А. У. Порецкий, впоследствии публицист, близкий друг Достоевского. Редкая душевная привязанность соединила всю семью, включая и Гончарова, с И. И. Льховским, университетским товарищем третьего сына Майковых,

М. П. Заблоцким-Десятовским // Отечественные архивы. 2010. № 6. С. 18—22.

¹ Старчевский А. В. Один из забытых журналистов: (Из воспоминаний старого литератора) // Исторический вестник. 1886. № 2. Отд. III. С. 376.

² Там же. С. 360—361, 363—364.

Владимира, также причастным впоследствии к литературной деятельности.

С точки зрения фиксации особенностей салонно-кружковой жизни Петербурга заслуживают внимания воспоминания И. И. Панаева, бывавшего у Майковых с конца 1830-х годов. «В описываемое мною время, — вспоминал Панаев, — <...> были еще известные немногим литературные небольшие сходки любителей, еще, так сказать, *домашним образом* занимавшихся литературой. <...> В доме у Николая Аполлоновича Майкова, бросившего меч для кисти и палитры, сходились также еще тогда темные любители искусств и литературы, из которых иных ожидала светлая литературная известность. Тринадцати- или четырнадцатилетний сын Майкова Аполлон обнаруживал уже тогда значительный литературный талант. Из его стихотворений, из опытов брата его Валериана и из трудов друзей дома Майкова и любителей литературы, между прочим И. А. Гончарова, — составлялись целые книжки, которые отлично переписывались, переплетались и показывались гостям Майкова. И. А. Гончаров, без сомнения, много способствовал развитию эстетического вкуса в Аполлоне Майкове».¹

С середины 1840-х двери дома Майковых были открыты для лучших сил «Отечественных записок» и «Современника», где в это время сотрудничал Валериан Майков. Здесь бывали Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, А. Н. Плещеев, М. М. и Ф. М. Достоевские и многие другие. В письме к Е. П. Майковой от 14 мая 1848 года Достоевский признался в «сыновнем уважении», которое «всегда чувствовал» к ней.² К брату М. М. Достоевскому в последнем письме из Петропавловской крепости от 22 декабря 1849 года, написанном после вынесения приговора, он обращался с просьбой: «Скажи Майковым мой прощальный и последний привет. Скажи, что я их всех благодарю за их постоян-

¹ Панаев И. И. Литературные воспоминания. [Л.], 1950. С. 105—106; курсив мой. — А. Г.

² Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1985. Т. 28. Кн. 1. С. 146.



Аполлон Майков. Портрет работы Н. А. Майкова,
сер. 1830-х гг.

ное участие в моей судьбе. Скажи несколько слов, как можно более теплых, что тебе самому сердце скажет, за меня Евгении Петровне. Я ей желаю много счастья и с благодарным уважением всегда буду помнить о ней. Пожми руку Николаю Аполлонов<ичу> и Аполлону Майкову...».¹ Позднее, уже из ссылки, Достоевский писал Ап. Майкову: «Родителям Вашим скажите, что я знакомство и ласку их вспо-

¹ Там же. С. 163.



Н. А. Майков с женой Е. П. Майковой и сыновьями
Валерианом и Леонидом. Дагерротип, до 1847.

минал и вспоминаю с наслаждением».¹ В пору сближения с Валерианом бывал у Майковых и М. В. Петрашевский.²

О литературном доме Майковых второй половины 1840-х оставил воспоминания С. Д. Яновский, здесь, по его

¹ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 28. Кн. 1. С. 206; письмо из Семипалатинска от 18 янв. 1856 г.

² См.: Деркач С. С. И. А. Гончаров и кружок Майковых. С. 32.

словам, «каждое воскресенье, почти без пропуска, начиная с 7-ми часов вечера, сходилась та молодежь, в душу которой господь вложил уже известную долю таланта, сердце которой билось с самого рождения любовью к ближнему, к добру и правде, а ум всегда и везде искал света и света!.. <...> Тут читались иными подготовленные статьи, тут высказывалось об них мнение, тут излагались проекты и планы задуманных работ, и все это происходило до того серьезно, дружелюбно и без малейшего чувства зависти или недоброжелательства, что поистине можно сказать, что тут именно формировались и развивались те дорогие для России люди, которые написали для нее “Фрегат «Палладу»” и “Обломова”, “Записки из мертвого дома” и “Дневник писателя” и многое другое, что составляет не хлам и балласт, но драгоценную суть русской литературы».¹

В те же годы познакомился с Майковыми и Д. В. Григорович, вспоминая: «Раз в неделю, вечером, в небольшой, но изящно убранной гостиной Майковых можно было встретить тогдашних корифеев литературы; многие являлись с рукописями и читали свои произведения. Вечер кончался ужином, приправленным интересно одушевленной беседой».²

В письме к Ап. Майкову от 25 апреля 1888 года А. Н. Плещеев по прошествии более сорока лет со времени их знакомства признавался: «Перебирая иногда в своей памяти далекое прошлое, я с особенным удовольствием останавливаюсь на той поре, когда я, еще начинающий юноша, встретил в вашем семействе столько теплого участия и одобрения. — Какое это было блестящее время в литературе! Обычными посетителями и друзьями вашего дома были И. А. Гончаров и Ф. М. Достоевский, читавшие у вас свои произведения, которые доставили им впоследствии знаменитость. Вы сами читали нам свои первые поэмы и антологические стихотворения, так горячо приветствованные Бе-

¹ Ф. М. Достоевский: Статьи и материалы / Под ред. А. С. Долинина. Л.; М., 1924. Сб. 2. С. 383—384; из письма С. Д. Яновского к А. Г. Достоевской от 8 (20) янв. 1882 г.

² Григорович Д. В. Литературные воспоминания. М., 1987. С. 107.

линским и всеми друзьями истинной поэзии. — Вижу перед собой, как сейчас, глубоко симпатичный образ брата вашего Валерьяна Николаевича, в лице которого смерть лишила русское общество выдающегося талантливого критика. Много воды утекло с тех пор, — но сколько бы ни утекло ее еще, она не потопит этих светлых воспоминаний».¹

Во второй половине 1850-х годов в доме собираются члены университетского кружка младшего Майкова, Леонида, — будущие критики Д. И. Писарев и А. М. Скабичевский, будущий славист В. В. Макушев, будущий историк Е. Е. Замысловский, Ф. Ф. Ордин, впоследствии адвокат, и другие.²

По признанию Г. П. Данилевского, частого гостя Майковых в 1850-х и начале 1860-х годов, майковский «уголок с поэзией живописи и живописью поэзии, с пением и красотою сердец обитающих в нем» всегда казался ему «каким-то волшебством, каким-то ясным и успокаивающим исключением из общего нашей жизни».³ С благодарностью вспоминал о том, как в 1862 году Аполлон Майков ввел его, «бесприютного и никому не известного тамбовца», в «благословенный Родительский дом» и Н. П. Барсуков.⁴

Из кружка Леонида Майкова вышел едва ли не единственный среди мемуаристов недоброжелатель — А. М. Скабичевский, усмотревший в характере старших Майковых «бюрократизм», «крайнюю умеренность и аккуратность во всех суждениях и поступках», «эгоистическое себе на уме», гнездившееся под «наружным благодушием и мягкосерде-

¹ Литературный архив: Материалы по истории литературы и общественного движения. М.; Л., 1961. [Вып.] 6. С. 305; письмо написано в связи с 50-летием литературной деятельности А. Н. Майкова.

² См.: Скабичевский А. М. Письмо к Л. Н. Майкову / Публ. И. Г. Ямпольского // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1979 год. Л., 1981. С. 188—190.

³ РО ИРЛИ. Ф. 166. Оп. 4. № 42. Л. 1; письмо к Е. П. Майковой от 30 апр. 1853 г. См. также письма Майковой к Данилевскому 1862—1863 гг. — РО РНБ. Ф. 236. Оп. 1. № 95.

⁴ Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб., 1901. Т. 15. С. V.

чием»¹. Но тот же Скабичевский, противореча себе, свидетельствовал и об ином: «...семья Майковых производила на меня самое светлое и отрадное впечатление чего-то поистине идеального своим радушным гостеприимством, просвещенной гуманностью и проникновением всеми высшими и умственными, и нравственными интересами».² Саркастический отзыв о старших Майковых оставил А. В. Дружинин, записавший в Дневнике в феврале 1854 года впечатление о своем визите к А. А. Краевскому: «По обыкновению у Андрея Ал<ександровича> было весело <...>. Из новых были Аполлон Майков с отцом, старающимся походить на Ван Дика, и матерью, довольно стервозной по виду».³

Самые выразительные картины домашнего быта Майковых можно найти в письмах ближайшего друга дома — Владимира Андреевича Солоницына, безуспешно призывавшего к «порядку» и «спокойствию» чрезмерно гостелюбивое, на его взгляд, семейство. «Спокойствие возможно только тогда, — наставлял Солоницын Евгению Петровну, — когда вы заведете у себя известный порядок, о котором я вам уже несколько лет проповедую <...>. Ведь это только у нас на Руси, и то в одном клане, или, лучше сказать, не в одном клане, а в одном доме, если речь идет о петербургских домах, — именно в вашем доме, — водилось до сих пор жить нараспашку, растворя двери с утра до вечера, “для званных и незванных”, как говорит Фамусов».⁴ Чувствуя в Гончарове единомышленника, Солоницын и ему писал о том же: «...Евгения Петровна целый век жаловалась на посетителей и посетительниц, которые, забираясь к ней с девяти часов утра, мешают ей и думать, и заниматься хозяйством, и отдохнуть. Как же, после этого, было не вскрикнуть: “Бедные Майковы!”» (15, 259—260).

¹ Скабичевский А. М. Литературные воспоминания. М.; Л, 1928. С. 113.

² Там же. С. 169.

³ Дружинин А. В. Повести. Дневник. М., 1986. С. 277. («Лит. памятники»); запись от 14 февр. 1854 г.

⁴ Из переписки В. А. Солоницына и Е. П. Майковой 1843—1844 гг. / Подгот. текста и примеч. А. Г. Гродецкой // *Лица* 2001. С. 76.

Совершенно несалонным предстает дом Майковых в письмах Гончарова. Он сообщал, например, 14 декабря 1842 года Аполлону и Николаю Аполлоновичу в Италию:¹ «...у вас по-прежнему по воскресеньям собираются те же лица поболтать, покурить или помолчать глубокомысленно, и все веселы, только все жалеют о вашем отсутствии» (15, 50).

В письме с борта фрегата «Паллада» из Сингапурского пролива от 25—26 мая (6—7 июня) 1853 года Гончаров напоминал: «...сходитесь ли в известные часы и вспоминаете ли об отсутствующем приятеле? Он помнит вас <...> и 3/4 радости в возвращении полагает в надежде увидеть вас всех здоровыми, вместе, в том же уютомном и много любимом им уголке, в котором он так ласково был пригрет половину своей жизни» (15, 162).

Еще определеннее характер отношений внутри «маленького кружка» передает письмо Гончарова от 15 июля 1854 года из залива Хаджи: «Если меня не потревожит слишком холод, голод, цинга и особенно смерть, то я желал бы — писать. И знаете ли, что меня больше всего побуждает к этому? То, что вы так дружески благословили меня на труд, то, что мне стыдно бы было явиться с пустыми руками, не в публику, а к вам, в ваш маленький кружок, самый маленький то есть, — да вы знаете, кто его составляет. Из посторонних прибавьте сюда Бенедиктова и Льховского, если только они посторонние. К Вам я прежде всего пойду искать награды, а потом уж в публику или к Андрею Алекс<андровичу>. И это единственный знак дружбы, который только и могу дать за то, что 20 лет принадлежу, так сказать, к Вашему семейству. <...> Иногда позволяю себе пометать: будто я с толстой тетрадью вхожу к вам, и Николай Апол<лонович> обрадовался почти так же, как тогда, когда поймал леща» (15, 215—216).²

Николай Аполлонович и Аполлон Майковы были известны своей страстной увлеченностью рыбной ловлей (об

¹ Отец и сын Майковы уехали во Францию и Италию 19 августа 1842 г. Дата отъезда уточнена: 15, 268; в ряде исследований приводится другая, ошибочная дата.

² Андрей Александрович — А. А. Краевский, редактор «Отечественных записок».

этом речь пойдет в 5-й главе). Рыболовная тема стала одной из постоянных сюжетообразующих тем в письмах Гончарова, им адресованных.

В письме к Майковым от 20 июля (1 августа) 1860 года, работая над «Обрывом» и образом художника Райского, Гончаров признавался: «О Вас, друг мой Николай Аполлонович, думаю часто, потому что в иных главах моего романа приходилось говорить о живописи и артистах, и вы мне беспрестанно являлись на ум; всё не умею вообразить себе горячего, поглощенного искусством художника иначе, как в Вашем лице, — так и вижу Вашу мастерскую, Вас, Ваши гнусные, замасленные платья, вижу темноту и как Вы, закопавшись сами в розовый халат, сидите задумчиво перед какой-нибудь голой девочкой и... так и дышите на нее.¹ Теперь, говорят, Вы всё чините сети: слышь, прорвались от — рыбы. Я всё ишу Вам большой складной нож, с вилками, ложками, пилой и, если можно, с удочкой».²

«...ЕГО МНЕНИЯ ИМЕЛИ В НАШЕМ ДОМЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЫСОКОГО АВТОРИТЕТА»: ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ СОЛОНИЦЫН

Владимир Андреевич Солоницын (1804—1844) — литератор, журналист, переводчик, был при жизни и остался в истории русской литературы фигурой анонимной. Обоб-

¹ В некрологе «Н. А. Майков», назвав важнейшие официальные заказы художника (рописи в Измайловском и Исаакиевском соборах), Гончаров писал: «Исполняя как эти работы, так и множество других подобных для разных храмов и в Москве, и в Петербурге, Майков, в промежутках этих работ, всякую свободную минуту посвящал исполнению своих собственных любимых художнических задач — голов, фигур и тела женщин...» (Голос. 1873. № 238. 29 авг. С. 2). Н. А. Майков был известен любовью к изображению женских «головок» (в особенности «вакханок»); по свидетельству биографа А. Н. Майкова, «множество его головок и вакханок сделались украшением гостиных и картинных галерей частных лиц» (*Златковский М. Л. Аполлон Николаевич Майков: 1821—1897. Биограф. очерк.* 2-е изд., значит. доп. СПб., 1898. С. 10).

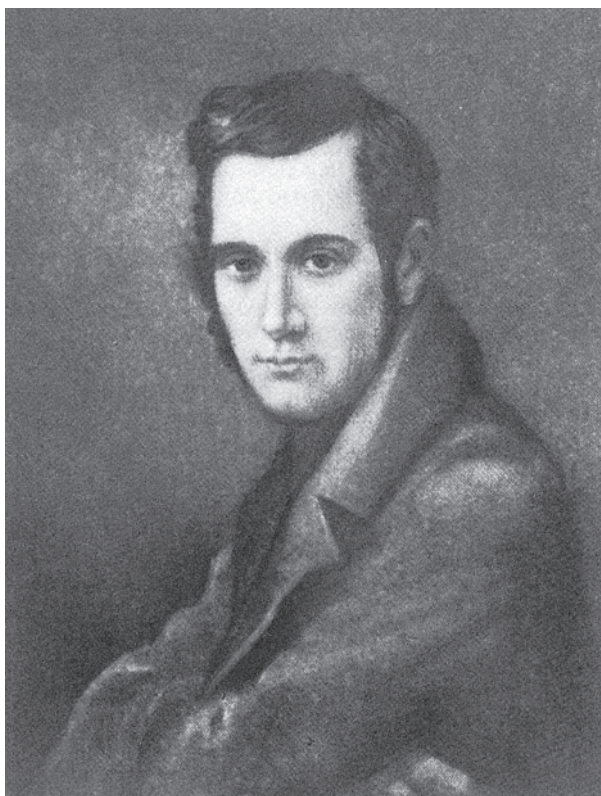
² *РО ИРЛИ. Ф. 166. Оп. 4. № 32. Л. 43.*

щая данные биографов Гончарова, Н. К. Пиксанов писал о нем: «В департаменте внешней торговли Гончаров служил под начальством В. А. Солоницына, дворянина по происхождению, финансиста-бюрократа по роду деятельности и вместе с тем — писателя. Являясь помощником Сенковского по редакции “Библиотеки для чтения”, Солоницын помещал там свои переводы и переделки иностранных романов и компилятивные статьи, писал и стихи, в “Москвитяине” в 1841 г. напечатал повесть “Царь — рука Божья”. <...> Солоницын руководил воспитанием Валериана и Аполлона Майковых, Гончаров с большим успехом преподавал им литературу и латинский язык».¹ И это фактически все, что до последнего времени было о Солоницыне известно.

Его не обошли вниманием биографы Аполлона Майкова, однако и в их трудах сведения о Солоницыне минимальны. М. Л. Златковский, упомянув о поступлении Ап. Майкова, «по мысли Солоницына», на юридический факультет Петербургского университета, пояснял: «В. А. Солоницын играл столь видную и влиятельную роль в судьбе будущего поэта, что на нем необходимо остановиться. Когда в 1834 году родители Аполлона Николаевича переехали на постоянное жительство в Петербург, Солоницын взял на себя попечение о воспитании старших сыновей <...>. Он был человек очень умный и прекрасно образованный, знал хорошо языки, следил за литературой и сам занимался ею».² «...Питомец Московского университета и тогдашний редактор О. И. Сенковского по изданию “Библиотеки для чтения”, — писал о Солоницыне Д. Д. Языков, — весьма образованный человек и любитель русской литературы, владел богатым собранием книг на русском, французском, немецком и английском языках; благодаря этой библиотеке и тщательному выбору произведений самим просвещенным владельцем, юный Аполлон Николаевич был ознакомлен со

¹ Пиксанов Н. К. Белинский в борьбе за Гончарова // Уч. зап. Ленингр. ун-та. 1941. № 76. Вып. 11. С. 59.

² Златковский М. Л. Аполлон Николаевич Майков: 1821—1897. С. 15.



В. А. Солоницын.
Портрет работы Н. А. Майкова, начало 1840-х гг.

всеми образцовыми сочинениями родной и иностранной литератур...».¹

Сам Аполлон Майков вспоминал, что поступил в университет, «к вечному <...> сожалению, не на филологический или математический, а на юридический. Это случилось по совету одного из друзей отца моего, которому мы

¹ Языков Д. Д. Жизнь и труды А. Н. Майкова. Материалы для истории его литературной деятельности. М., 1898. С. 7. См. также: <Семевский М. И.> Аполлон Николаевич Майков в 1836—1839. Рукописный альманах 1839 года // Русская старина. 1888. № 5. С. 531—534.

обязаны и уже более обширным знакомством с науками, и развитием вкуса и страстью к литературе, в чем немало содействовал ему и И. А. Гончаров, который тогда, кончив курс в Московском университете, приехал на службу в Петербург и давал уроки русской литературы и истории в знакомых домах».¹ И Майков, как видим, не назвал в тексте автобиографии «одного из друзей отца» и только в сноске под строкой уточнил: «В. А. Солоницына, который одно время был коредактором О. И. Сенковского в издании “Б<иблиотеки> для ч<тения>” и помещал в ней свои критические статьи и еще более переводы английских романистов».² Публикации Солоницына в «Библиотеке для чтения» (и в «Сыне Отечества», где он также активно сотрудничал) помещались по большей части без подписи имени.

Владимир Андреевич остался в благодарных и почти легендарных семейных преданиях, в бережно сохраненной в семейном архиве переписке.

Биографию друга дома и «литературного человека», точнее, «рассказ о его жизни», предполагал написать Леонид Николаевич Майков, историк литературы, академик, четвертый сын в семье Н. А. Майкова, младший в «фамилии талантов». Биография была им начата, но осталась незавершенной. А. Мазон по полученной от В. И. Саитова копии в 1914 году сохранившийся текст опубликовал.³ В 1830-е годы, как вспоминал Майков, когда «окончательно определилось художественное призвание» его отца-живописца, а старшие братья получали образование,

¹ Майков А. Н. Автобиографические сведения за 1821—1856 гг. с сопроводит. письмом И. С. Ремезову [1857—1858] // *РО РНБ*. Ф. 453. Оп. 1. № 1. Л. 2 об.

² Там же.

³ См.: *Mazon A. Un maître du roman russe, Ivan Gontcharov: 1812—1891. Paris, 1914. P. 422—424.* Не опубликованные Мазоном фрагменты биографии см.: «Труд всегда был его страстью»: (Л. Н. Майков о В. А. Солоницыне: неизвестные страницы воспоминаний) / Публ. А. Г. Гродецкий // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2016 год. СПб., 2017. С. 292—309.

Солоницын принимал живое и горячее участие во всех этих событиях нашей семейной жизни. Он любил и уважал моих родителей как людей редких по своим нравственным достоинствам. Он ценил талант моего отца и прекрасно понимал, как мало совместимы были с его увлекающеюся художественною натурой неизбежные заботы о материальном обеспечении семьи; в так называемых практических делах В. А. являлся для моего отца добрым и разумным советником; он принял участие в разделе и устройстве значительного, но крайне запутанного состояния, оставшегося после моего деда со стороны матери,¹ и если была спасена некоторая часть этого наследства и моя матушка получила из него свою долю, то, без сомнения, благодаря дельным

¹ Отец Е. П. Майковой, московский купец-золотопромышленник Петр Михайлович Гусятников (1752–1816), учившийся не только в Московском, но и в Геттингенском университете (см.: *Шевырев С. П.* История Имп. Московского университета, написанная к столетнему его юбилею. 1755–1855. М., 1855. С. 345), владел Преображенским медеплавильным заводом и золотыми приисками в Оренбургской губ. После его смерти дело о разделе наследства между вдовой, Натальей Ивановной Гусятниковой (1781–?), сыновьями — Михаилом (от первого брака), Владимиром, Петром, Дмитрием и дочерьми Евгенией (Майковой) и Юлией (в замуж. Кашкаровой) решалось долго и трудно, пока в 1838 году завод не был продан горнозаводчику М. В. Пашкову. И Гусятниковы, и Майковы остались владельцами золотоносных земель, сдававшихся ими в аренду (см.: *ГИМ.* Ф. 387 (Пашковых); *ГАОО.* Ф. 6. Оп. 4. № 7917, 9042; Оп. 5. № 11405, 11479; Ф. 95. Оп. 1. № 13; за эти сведения приношу глубокую благодарность С. Е. Сорокиной). См. о П. М. Гусятникове и его семье: *Найденев Н. А.* Материалы для истории московского купечества. М., 1887. Т. 5. С. 54; Т. 6. С. 53; 1888. Т. 7. С. 48. Ср. также сведения в письме А. Н. Майкова к О. Ф. Миллеру от 3 нояб. 1871 г.: «Я помню еще в детстве рассказы о моем деде, московском купце Гусятникове, отце моей матери. Это был старик, весьма образованный человек, одевался по-английски, знал несколько языков, но религиозный и горячий патриот <...>. Этот старик был из поколения, возросшего под влиянием Ломоносова: его сочинения попались ему, они заставили молодого купчика учиться, поехать в германский университет, потом в Англию» (*Майков А. Н.* Письма / Публ. И. Г. Ямпольского // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1978 год. Л., 1980. С. 178–179).

указаниям и усердным хлопотам В. А-ча. Из дружбы к моим родителям он принял на себя руководство образованием двух моих старших братьев, и под его наблюдением они были приготовлены дома к поступлению в Университет. Еще в пору их отрочества он угадал их дарования и старался приохотить их к литературным занятиям.

Есть особенная привлекательность в характерах, соединяющих чуткую нежность чувства с непреклонною твердостью воли. Таков был В. А. Солоницын. Одиноким холостяком, он сосредоточил на нашем семействе все привязанности своей любящей души, и, как человек умный, образованный и любивший труд до самозабвения, он придал своим дружеским отношениям характер деловитости: дружба его была поистине деятельная и потому полезная для тех, на кого она обращалась. Позволю себе прибавить, что со стороны нашего семейства привязанность его встречала полное сочувствие и доверие; его мнения имели в нашем доме значение высокого авторитета. Но авторитетность своего суждения он никогда не обращал в деспотизм; в этом в высшей степени скромном человеке вовсе не было желания господствовать, играть первую роль, и влияние его проявлялось чисто нравственною силой. Отношение между ним и нашим семейством всего вернее можно определить, сказав, что с обеих сторон существовало полное внутреннее согласие, основанное на взаимном нравственном уважении.

После всего сказанного понятно, почему в наших семейных преданиях В. А. С. является светлою и любезною личностью, к которой обращается благодарное воспоминание. Но мне кажется, что рассказ об его жизни, или по крайней мере о некоторых ее эпизодах, притом рассказ, основанный преимущественно на его собственных свидетельствах, может иметь более широкий интерес. В личности С. и в его писаниях выражается умственный и нравственный склад известного поколения, и с этой точки зрения знакомство с ним может представить небесполезные данные для истории нашего общества и его умственных движений. Кроме того, С. был человек литературный, и как ни мало известна

его деятельность на этом поприще, она прошла не совсем бесследно.¹

Стоит добавить, что, помимо «усердных хлопот» о семье Майковых, Солоницын воспитывал рано осиротевшего племянника Владимира, о котором уже говорилось выше, впоследствии поэта и переводчика. Помогал он, судя по известным документам, и учившемуся в Петербурге В. С. Кашкарову, племяннику Е. П. Майковой, сыну ее сестры Ю. П. Кашкаровой.²

Памятником «положительному» человеку, привязанному к семейству «мечтателей», стала «Обыкновенная история»: Солоницын был, по свидетельству А. В. Старчевского, одним из прототипов старшего Адуева. И его же, как считал Старчевский, посвятившего жизнь «усердным хлопотам» о чужих делах, Гончаров изобразил в образе Антона Ивановича. «Героем для повести Гончарова, — писал мемуарист, — послужил его покойный начальник Вл. Андр. Солоницын и Андр. Парф. Заблоцкий-Десятовский.<...> Из двух героев, положительных и черствых, притом не последних эгоистов, мечтавших только о том, как бы выйти в люди, составить капиталец и сделать хорошую партию, Ив. Ал. выкроил своего главного героя.<...> Антон Иванович — это тоже лицо, мне хорошо знакомое; для этого господина материалом послужил, во-первых, Вл. Андр. Солоницын, а во-вторых, действительный Антон Иванович, знакомый Дудышкина...».³

Если мысль о прототипичности Солоницына по отношению к старшему Адуеву не вызывает сомнений и знакомство с архивными материалами убеждает, насколько

¹ Mazon A. Un maître du roman russe, Ivan Gontcharov: 1812—1891. P. 422—423.

² Юлия Петровна Кашкарова (рожд. Гусятникова; 1807—?), сестра Е. П. Майковой; вдова подполковника С. И. Кашкарова (1796—1834); мать Владимира Сергеевича Кашкарова и Натальи Сергеевны Кашкаровой (1836—1858), позднее жены С. С. Дудышкина. Ю. П. Кашкарова жила в деревне Степановка под Пензой. См. о ней: 15, 501; ее письма к Солоницыну см.: *РО ИРЛИ*. Ф. 166. Оп. 5. № 70.

³ *Старчевский А. В.* Один из забытых журналистов. С. 378.

психологически верен гончаровский «снимок», то второе сближение представляется упрощенно-прямолинейным (Антон Иваныч у Гончарова — гротескно-обобщенный образ, близкий гоголевским¹) и продиктовано, судя по всему, личной неприязнью мемуариста к Солоницыну.

При всей противоречивой сложности мемуарного образа, созданного, с одной стороны, Леонидом Майковым, с другой — Старчевским, предположим, что действительно случаются характеры, сочетающие трезвый прагматизм с безграничной самоотверженностью и «чуткой нежностью чувства».

Солоницын родился в Москве,² учился в Московском университете, что сближало его с Майковыми, также москвичами. От отца он унаследовал деревеньку Захарово Владимирской губернии, Суздальского уезда в 16 душ. В 1821 году Солоницын окончил отделение нравственных и политических наук Московского университета (со степенью действительного студента).³ С июля 1829 года после службы в Департаменте Министерства юстиции Солоницын числится помощником столоначальника, с 1830 исправляет должность столоначальника в 3-м (Судном) отделении Департамента внешней торговли Министерства финансов, в 1832-м утвержден в этой должности. Тогда же «за отлич-

¹ Напомним: «Кто не знает Антона Иваныча? Это Вечный жид. Он существовал всегда и всюду, с самых древнейших времен, и не переставал никогда. <...> У нас, на Руси, он бывает разнообразен. <...> Нет человека из его знакомых, который бы у него отобедал, отужинал или выпил чашку чаю, но нет также человека, у которого бы он сам не делал этого по пятидесяти раз в год. <...> С виду он полный, потому что у него нет ни горя, ни забот, ни волнений, хотя он прикидывается, что весь век живет чужими горестями и заботами; но ведь известно, что чужие горести и заботы не сушат нас: это так заведено у людей» (1, 185).

² Здесь и ниже данные по: РГИА. Ф. 1343. Оп. 29. № 5530 (дело о дворянстве А. В. Солоницына, отца В. А. Солоницына); Ф. 19. Оп. 2. № 2013, 2014, 2015 (аттестаты, формулярные списки Солоницына разных лет).

³ См.: Речи, произнесенные в торжественном собрании Московского университета. Краткая история Московского университета с 6 июля 1820 года по 5 июля 1821 года. М., 1821. С. 10; паг. 2-я.

ные труды и усердие к службе» пожалован чином коллежского асессора. Однако создается впечатление, что молодой преуспевающий чиновник, аттестованный в исполнении «своей должности и всех возложенных на него поручений с отличным усердием, деятельностью и с полным успехом, всегда к совершенному удовольствию начальства»,¹ не столь уж дорожит «карьерой и фортуной». 1 мая 1835 года Солоницын подает прошение об увольнении от дел и просьбу о ссуде ввиду предпринимаемого им «далекого пути» (сначала в Москве, потом на Урале он занимается делом о наследстве Гусятниковых — см. выше) и возвращается к службе в Департаменте только в апреле 1836 года. При этом, несмотря на личное ходатайство перед директором Департамента Д. С. Языковым² А. Х. Бенкендорфа (он пишет Языкову дважды — 1 и 29 февраля 1836 года, подчеркивая желание «сделать угодное г-ну Майкову, который принимает в судьбе Солоницына живейшее участие»³), возвращается к службе в качестве исправляющего должность переводчика (по 1-му отделению) — одну из малозначащих департаментских должностей, в которой состояли, как правило, нечиновные молодые люди. Так, переводчиком Таможенного отделения того же Департамента с мая 1835 года служил Гончаров, годом ранее окончивший Московский университет.⁴ Однако в отличие от скромной служебной «фортуны» Гончарова, лишь спустя 20 лет, в 1855 году, продвинувшегося наконец по служебной лестнице (в результате исполнения секретарской миссии при Е. В. Путятине в экспедиции на «Палладе»⁵), положение «любившего труд

¹ РГИА. Ф. 19. Оп. 2. № 2015. Л. 6 об.

² Дмитрий Семенович Языков (1793—1856) — директор Департамента внешней торговли Министерства финансов в 1835—1849 гг., член Совета министра финансов в 1850—1853 гг.

³ РГИА. Ф. 19. Оп. 2. № 2015. Л. 1—2 об.

⁴ См.: *Летопись*. С. 19.

⁵ Высочайшим указом по гражданскому ведомству от 25 дек. 1855 г. Гончаров был награжден «вне правил» чином статского советника «за особые заслуги его по званию секретаря при генерал-адъютанте графе Путятине» (Там же. С. 55—56).

до самозабвения» Владимира Андреевича меняется очень скоро. К концу 1836 года он — помощник правителя канцелярии гр. А. П. Голенищева-Кутузова (с 1839 — надворный советник), в 1840-м — правитель канцелярии Департамента,¹ т. е. в чиновнической иерархии Министерства Солоницын занял очень высокую позицию. Канцелярия была ключевым подразделением Департамента внешней торговли, включавшем, помимо нее, четыре номерных отделения: 1-е Торговых внешних сношений, 2-е Таможенное, 3-е Судное и 4-е Счетное.

В 1843 году Солоницын очередной раз уходит от дел: подав в отставку, он вместе с Майковыми уезжает за границу² — уезжает на неопределенный срок с мыслью больше к службе не возвращаться. Он предполагал покинуть Россию надолго, работать в библиотеках Парижа и Лондона, посетить Швейцарию и Австрию, не только наблюдать неизвестную ему жизнь, но и собирать материал для очень широких, по всему судя, литературных замыслов. «Италия — страна чувственности — не может совершенно занять меня, — писал он Аполлону Майкову в Италию 28 апреля 1843 года. — <...> Мне нужна жизнь настоящая, действительная, кипучая, где бы я мог, отойдя к сторонке, смотреть и наблюдать современного человека. Задачею моего путешествия будет именно вопрос: как применяется западная европейская жизнь к русской голове, к русским плечам и к русскому брюху? И для этого, сев в дилижанс, я с той же минуты оставляю все русское».³

В известных письмах Солоницына сведения о его службе в Департаменте минимальны. Служебная информация наиболее обстоятельна в его письмах к Гончарову 1843—1844 годов (см.: 15, 248—261). Именно в них (и только

¹ См.: Месяцеслов и общий штат Российской Империи на 1837 год. СПб., 1836. Ч. 1. С. 794; Месяцеслов ... на 1841 год. СПб., 1840. Ч. 1. Приб. С. XXVIII.

² См. подробнее об этой поездке: *Гродецкая А. Г.* Чувствительные и холодный: (В. А. Солоницын и семья Майковых) // *Лица* 2001. С. 43—47.

³ Цит. по: Там же. С. 43—44.

в них) мы находим имена нескольких департаментских чиновников, с которыми Солоницын и Гончаров были связаны по службе. И именно с Гончаровым, найдя, видимо, в нем единомышленника, Солоницын делится соображениями об их продвижении по карьерной лестнице и общими размышлениями о российской бюрократии. Характерен античиновнический пафос Солоницына в отзыве об одном из сослуживцев: «Юферов отвратителен с своей нежностью к службе; но таковы условия успехов по бюрократии: многие были бы гораздо дальше своих нынешних мест, если бы вели себя, как этот... не скажу человек, а чиновник. Кланяйтесь, подличайте, смотрите на начальника, как на Иисуса Христа, пишите хоть вздор, лишь бы доставлять ему случай чаще подписывать свое имя, прикидывайтесь обремененным, убитым делами, и — счастье Ваше сделано. Юферов пойдет далеко!» (15, 254).¹ В письмах к Е. Ф. Коршу, также своему бывшему сослуживцу по Департаменту, Солоницын лишь однажды заметил: «Место, которое я теперь занимаю по службе, достаточно меня обеспечивает, и ежели я работаю сверх того для журналов, так это по склонности и ради избытков».²

Какое-то время Солоницын действительно был помощником О. И. Сенковского по редакции «Библиотеки для чтения», в качестве его соредактора он упомянут в ряде авторитетных трудов,³ однако точные сроки его «соредакторства» установить затруднительно. Когда в конце 1830-х Сенковский отошел от редактуры, занимаясь только «Критикой» и «Литературной летописью», основную работу,

¹ Николай Семенович Юферов (1804—1857) состоял с 1832 г. столоначальником в 1-м отделении (Торговых внешних сношений) Департамента внешней торговли; с 1844 г., т. е. сразу после отставки Солоницына в 1843 г., он занял его должность — правителя Канцелярии Департамента, на которой числился до 1852 г. (с 1849 в чине статского советника). С 1853 и до отставки в 1855 г. Юферов возглавлял 2-е (Таможенное) отделение Департамента.

² ОР РГБ. Ф. 465. К. 2. № 93. Л. 6; письмо от 6 июня <1841 г.>.

³ См., например: Лисовский Н. М. Библиография русской периодической печати: 1703—1900. Пг., 1915. С. 82.

как вспоминала его жена, он передал «человеку признанного достоинства, в усердии и деятельности которого он был совершенно уверен».¹ Имени «человека признанного достоинства» она, впрочем, не назвала. «...Сенковский остается ответственным редактором и будет писать “Литературную летопись”, — сообщал Солоницын Е. Ф. Коршу 2 августа 1841 года, — все прочее лежит на действующем редакторе: он выбирает статьи, заведывает сотрудниками, составляет книжку».² О самом Сенковском Солоницын («любивший труд до самозабвения») здесь же заметил: «...в нем много любви к науке и вообще к литературным трудам: но между тем он с некоторого времени решительно ничего не делает: читает иностранные журналы, спит — и только!».³ Показателен и другой его отзыв: «Никитенко, носящий на себе имя редактора “Сына отечества”, — человек, как мне теперь стало известно, пустой и ленивый: много говорит, может быть, отчасти и смыслит дело, но ровно ничего не делает...».⁴

Солоницын строит планы «взять на свой счет» и «Библиотеку для чтения», и «Сына Отечества», настойчиво склоняя Корша к переезду в Петербург и соредакторству, убеждая его бежать из Москвы «от толпы тунеядцев»: «В Москве вы невольно ленитесь вслед за другими по общему направлению тамошнего образа жизни. Здесь будет не то: здесь, вы знаете, все работают...».⁵ И в другом письме развивает ту же мысль: «...издание журнала для двух таких работающих молодцов, как мы с Вами, будет гораздо дешевле, нежели для всякого книгопродавца и для многих из литераторов».⁶ Не добившись от Корша согласия, Солоницын пишет Евг. Майковой, имея в виду всю семью своего московского корреспондента: «Корши жалки; но что ж с ними

¹ Осип Иванович Сенковский (Барон Брамбеус): Биографические записки его жены. СПб., 1858. С. 156—157; ср. также: С. 140.

² ОР РГБ. Ф. 465. Карт. 2. № 93. Л. 8 об.

³ Там же. Л. 4.

⁴ Там же. Л. 3 об.

⁵ Там же. Л. 5.

⁶ Там же. Л. 9; письмо от 2 августа 1841 г.

делать? как им помочь? Нет ни малейшей возможности. Ленивые и безрассудные бедняки всегда жалки; а делать с ними нечего».¹

Выразительна данная Солоницыным в письмах к Коршу характеристика столичных «литературных партий» — «грязной и гнусной» партии Булгарина и Греча; партии «Отечественных записок» («...старшина — Краевский, под ним Белинский <...>. Это самая забавная партия; но вы уже знаете ее дух: худо понятая немецкая философия, нахальное самохвальство, площадный тон ругательств на все неприходское»). «Современник» П. А. Плетнева — «журнал, составляемый из воздуха, <...> но для чего и для кого издается онный журнал, это решительно непонятно: Вы его не увидите ни в одном доме и ни в одной книжной лавке...». «Пантеон», «Литературная газета» и «Маяк» — «...все это такие голые, ничем не прикрытые спекуляции, и к тому же два первые так ничтожны, а последний до такой степени нелеп, что, ей-богу, сказать нечего».²

Внепартийный скептицизм, жесткая ирония и прагматизм, несомненно, сближали Солоницына с Сенковским.

В архиве Л. Н. Майкова в ОР ИРЛИ сохранились не учтенные до сих пор документы, относящиеся к обстоятельствам передачи Сенковским Солоницыну в сентябре 1841 года редакции журнала, вскоре после чего, однако, в декабре того же года, последовал разрыв отношений и отказ Солоницына от обязанностей редактора.³ Приведу из них некоторые выдержки.

¹ ОР ИРЛИ. Ф. 166. Оп. 5. № 73. Л. 38—38 об.; записка Солоницына к Евг. Майковой начала 1840-х.

² ОР РГБ. Ф. 465. Карт. 2. № 93. Л. 1—3 об. Фрагменты этого содержательного письма публиковались; см.: В. Г. Белинский и его корреспонденты. М., 1948. С. 102, 104; Кулешов В. И. «Отечественные записки» и литература 40-х годов XIX века. М., 1959. С. 46, 357—359.

³ См.: Условие (договор) между О. И. Сенковским и В. А. Солоницыным, П. Г. Волковым об издании журнала «Библиотека для чтения». 1841 // РО ИРЛИ. Ф. 166. Оп. 5. № 63. Платон Григорьевич Волков (ок. 1799/1800—1850) — поэт, журналист, критик. Поскольку часть большого архива Л. Н. Майкова долгое время оставалась не-

В 1-м пункте «Условия об издании журнала “Библиотека для чтения”», датированного 5 сентября 1841 года, значилось: «Сенковский передает редакцию “Библиотеки для чтения” В. А. Солоницыну, который употребит все свои старания, чтобы журнал выходил исправно, в сроки, означенные программю, чтобы его дух и направление были всегда сходны с предшествующими годами и чтобы он своей занимательностью, слогом и прочими достоинствами делал всегда честь изданию. Сенковский остается только ответственным редактором и сверх того обязан доставить литературному редактору собственных своих статей для первого отделения на пятнадцать листов и обделывать литературную летопись журнала, которая будет для него, по обыкновению, подготовляема».¹

Во 2-м пункте речь шла и о передаче «всей администрации, хозяйственной части журнала и денежного сбора с подписки». В 4-м пункте следовало: «Передаваемое Солоницыну и Волкову заведывание всею литературною и хозяйственною частью журнала начинается с первого декабря 1841 года и должно продолжаться два года, по первое декабря 1842 <так!>, с тем, что по истечении первого года та и другая сторона, если найдут это условие неудобным для себя, могут от него отказаться».²

Условия договора были вскоре Солоницыным нарушены. Причины его ссоры с Сенковским в подробностях изложены в одном из его неопубликованных писем к редактору «Библиотеки».³ Размолвка между ними не была окончательной, сотрудничества в журнале Солоницын не прекратил. Обиженный на Сенковского, он имел, вероятно, основания позднее признать: «Сенковский должен бы чувствовать, что у него никогда еще не бывало такого редактора, каким был я».⁴

описанной, эти документы стали доступными сравнительно недавно и требуют изучения.

¹ РО ИРЛИ. Ф. 166. Оп. 5. № 163. Л. 1.

² Там же. Л. 2—2 об.

³ См.: РО ИРЛИ. Ф. 166. Оп. 5. № 67.

⁴ РО ИРЛИ. Ф. 166. Оп. 4. № 36. Л. 8; письмо к Н. А. и А. Н. Майковым в Италию от 6 (18) янв. 1843 г.

Однако в середине 1850-х составители указателя к «Сыну отечества» и «Библиотеке для чтения», перечисляя ближайших сотрудников Сенковского, уже не вспомнили о его «усердном и деятельном» помощнике, имя Солоницына в указателе отсутствует.¹ Напомнил о Солоницыне как редакторе «Библиотеки» в своих воспоминаниях А. В. Старчевский (ставший редактором журнала в 1848 году). По его словам, Сенковский, «раз выпустив из рук перо, <...> не мог уже трудиться по-прежнему и должен был отдать “Библиотеку” в чужие руки, сперва В. А. Солоницына, потом Губера и, наконец, В. В. Дерикера, которые успели скоро уронить ее».²

Сотрудничать в «Библиотеке» Солоницын начал, скорее всего, в первый год издания журнала,³ но о его многотрудной и многообразной деятельности анонимного рецензента, фельетониста, переводчика (он владел английским, французским и немецким языками), компилятора и автора статей для «Смеси» можно лишь догадываться по ряду глухих упоминаний в письмах.

¹ См.: Указатель к статьям серьезного содержания, помещенным в русских журналах прежних лет / Изд. Н. Бернадаки и Ю. Богушевич. Вып. 1: Сын отечества: 1812—1852; Вып. 2: Библиотека для чтения: 1834—1854. СПб., 1858. В качестве редакторов «Библиотеки» здесь указаны Э. И. Губер, В. В. Дерикер, затем А. В. Старчевский (Вып. 1. С. XVII).

² *Старчевский А. В.* Воспоминания старого литератора: История «Библиотеки для чтения». 1848—1856 // Исторический вестник. 1891. № 8. Отд. III. С. 324.

³ Более чем вероятно, что ему принадлежит подписанная инициалами «В. С.» статья «Мнение известного английского журнала “Edinburgh Review” о нынешней французской словесности» (Библиотека для чтения. 1834. Т. 1. Отд. III. С. 52—78). Резко негативная оценка О. Бальзака, Э. Сю, В. Гюго выражала в данном случае не только позицию «Библиотеки» и Сенковского, но и самого Солоницына. В № 2 «Подснежника» за 1835 год (см. о журнале ниже) он поместит созвучную опубликованной в «Библиотеке» статью «Виктор Гюго» (*Подснежник 1835.* № 2. Смесь. Л. 77—78 об.; подпись «Р. П.», т. е. «Редактор “Подснежника”»). Резкие оценки творчества Э. Сю высказаны им и в письмах к Евг. Майковой (см.: Из переписки В. А. Солоницына и Е. П. Майковой 1843—1844 гг. С. 78—79 и след.).

Не заслужил признания Солоницын и как один из первых в России переводчиков Диккенса. Лишь тот же Сенковский, рецензируя в 1850-х годах очередное издание «Посмертных записок Пиквикского клуба», самого, по его словам, «неудобоваримого» из всех сочинений Диккенса, напомнил о забытой публикации в «Библиотеке для чтения» сокращенного перевода этого романа, «сделанного искусною рукою покойного В. А. Солоницына» и «очень понравившегося русским читателям».¹ Сенковский имел в виду анонимный перевод, помещенный в «Библиотеке для чтения» в 1840 году.² Ранее там же и также без подписи был опубликован и выполненный Солоницыным перевод «Николаса Никкльби».³

Что касается беллетристического наследия Солоницына, то оно исчерпывается двумя повестями: в 1840 году в «Биб-

¹ Библиотека для чтения. 1853. № 3. Отд. VI. С. 17.

² Диккенс Ч. Записки бывшего Пиквикского клуба, или Обстоятельное и достоверное изображение странствований, путешествий, приключений, опасностей и потешных действий членов учрежденного при оном ученого комитета, составленного по подлинным их донесениям (Библиотека для чтения. 1840. Т. 40, 41). Первый вольный перевод «Посмертных записок...» и первый известный перевод Диккенса в России — «Похождения Пиквика и друзей его» — был напечатан в «Сыне отечества» (1838. Ч. VI; переводчик неизвестен); см.: Чарльз Диккенс: Библиография русских переводов и критической литературы на русском языке: 1838—1960. М., 1962. С. 6, 7, 59, 294.

³ Диккенс Ч. Жизнь и приключения английского джентльмена мистера Николая Никльби, с правдивым и достоверным описанием успехов и неудач, возвышений и падений, словом, полного поприща жены, детей, родственников и всего вообще семейства означенного джентльмена (Библиотека для чтения. 1840. Т. 38, 39). Сведения об авторстве Солоницына содержит письмо сотрудничавшего в «Библиотеке» Иринарха Введенского, который в конце февр. 1841 г. сообщал своему соученику по Московской духовной академии П. С. Билярскому: «Единственные знатоки из его <Сенковского> сотрудников — Солоницын (он перевел Николая Никльби) и я. Несмотря что каждый раз говорю я Сенковскому, что прескверно знаю английский язык и на веру пропасть, он просто насильно мне навязывает, и я должен был перетащить кое-как две-три статьи <...> с этого языка» (Истрин В. М. Письма к академику Петру Спиридоновичу Билярскому. Одесса, 1906. С. 127; указано: Чарльз Диккенс: Библиография... С. 257).

лиотеке для чтения» (Т. 40) за подписью «С.» была опубликована повесть «Медовый месяц» и в 1841 в «Москвитянинах» (№ 7) — повесть «Царь — рука Божья. Быль времен Петра Великого», подписанная «Солоницын. 1838». Другие его публикации не выявлены.

Русская пресса не только не удостоила Солоницына некролога, но вообще не отреагировала на неожиданную смерть сорокалетнего литератора. Его имя мелькнуло в списке умерших в 1846 году, опубликованном в «Северной пчеле».¹ Даровав покойному два лишних года жизни, газета сообщила только о факте его смерти за границей. По сведениям А. В. Старчевского, Солоницын скончался по дороге в Россию, куда возвращался после года отсутствия, в вагоне на брюссельской железной дороге.² Произошло это 12 августа 1844 года.³

Ни обстоятельства, ни точное время знакомства Солоницына с семьей Майковых неизвестны. Но к 1824 году молодой канцелярский чиновник уже определенно был дружен с отставным майором, начинающим живописцем Николаем Майковым и его женой, также с поручиком артиллерии Валерианом Майковым⁴ и со старшим из братьев, также артиллеристом (в отставке) Александром Майковым.⁵ Как развивались эти отношения, за отсутствием сведений сказать трудно, но складывается впечатление, что со времени переезда Н. А. и Е. П. Майковых из Москвы в Пе-

¹ Северная пчела. 1847. № 105. 13 мая.

² См.: *Старчевский А. В.* Один из забытых журналистов. С. 374.

³ Дата смерти установлена по карандашной записи Евг. Майковой на последнем парижском письме Солоницына, адресованном ей и ее мужу, от 10 августа 1844 года: «Последнее. — Августа 12 не стало. Брюссель» (см.: Из переписки В. А. Солоницына и Е. П. Майковой 1843—1844 гг. С. 133).

⁴ Валериан Аполлонович Майков (1805—1837) — брат Н. А. Майкова. См. о нем: *Майковы. Родословная*. Л. 4; *Володина Н. В.* Майковы. СПб., 2003. С. 59, 89—90.

⁵ Александр Аполлонович Майков (1792—1886), брат Н. А. Майкова; см. о нем: *Майковы. Родословная*. Л. 3 об. Письма к нему Солоницына 1824—1825 гг. см.: *ОР РНБ*. Ф. 452. Оп. 1. № 441.

тербург жизнь Солоницына действительно принадлежала их семье.

Видимо, именно он в 1835 году рекомендовал Майковым в качестве домашнего учителя Гончарова, своего сослуживца по Департаменту внешней торговли. И если он «угадал дарования» Аполлона и Валериана Майковых, как писал Л. Н. Майков, то — признаем — им была угадана и та роль, которую сыграл литературный дом Майковых в творческой судьбе Гончарова.

Солоницын и Гончаров оставили о семье Майковых два ценных полудокументальных свидетельства — *домашние* шаржи в рукописном «Подснежнике» за 1838 год и альманахе «Лунные ночи» за 1839 год. Гончаровская «Лихая бо-лесть» неоднократно была предметом исследования, солоницынский же шарж «Так они наняли дачу!» был опубликован относительно недавно.¹ Семейство Зуровых в повести Гончарова, в котором легко угадываются Майковы, страдает общим «недугом» — любовью к загородным прогулкам, при этом Алексей Петрович Зуров одержим рыболовной страстью (Николай Аполлонович, как уже отмечалось, был заядлым удильщиком, а рыболовная тема — одной из «вечных тем» в семье; см. об этом ниже), а Мария Александровна Зурова — страстью к поэтическим пейзажам и романтическим переживаниям.

Домашняя повесть Гончарова в большей степени беллетризована, чем *домашний* очерк Солоницына, автор которого умело и изящно фотографичен. Тем дороже созданная им портретная зарисовка, полная дружелюбной, щадящей, «диккенсовской» иронии (и самоиронии), не без примеси, правда, характерного для автора морализма, у Гончарова отсутствующего, — зарисовка, в которой нанимающий дачу Павел Иванович (Николай Аполлонович) озабочен ловлей ершей, «чувствительная» Надежда Федоровна (Евгения Петровна) — вопросом, растут ли в роще «фиалки», а трое их рассеянных сыновей постоянно погружены в состояние

¹ Солоницын В. А. Так они наняли дачу! / Подгот. текста А. Г. Гродецкой // *Лица* 2001. С. 483—500. Текст см. в разделе «Приложение».

глубокой задумчивости. «Приятель семейства» Лука Тихонович (сам Солоницын), имеющий репутацию человека «делового» и «аккуратного», озабочен устройством практических дел своих непрактичных друзей.

Портрет по-диккенсовски благодушного «приятеля семейства» мог бы быть на этом завершен, не опубликуй Солоницын через год после «дачного» другой шарж — повесть «Медовый месяц», в которой семейство Майковых более чем узнаваемо, а герой-повествователь подчеркнуто автобиографичен: его зовут Владимиром Андреевичем и едет он из Петербурга в Оренбург. По дороге он навещает своего приятеля — моряка и путешественника Аполлона Вернова, который только что, пережив жестокую ностальгию, вернулся в Россию и после бурной романтической влюбленности обрел покой и счастье с женой в деревне. Но медовый месяц, точнее, его первый же день (и ночь — этот нюанс навязчиво акцентируется) нарушен вторжением чрезмерно «простых в обращении» родственников — семейства Задвинских, поспешивших поздравить молодых. В результате едва живые после пятинедельного испытания «родственной нежностью» молодожены вынуждены бежать не только из деревни, но и из России. Крайне бесцеремонное и вообще склонное к крайностям семейство Задвинских в этой повести наделено фамильными майковскими чертами: Федор Петрович одержим маниакальной страстью к рыбалке (и охоте — отчуждающая деталь), а Анна Васильевна — к чистосердечным «дружеским разговорам», в которых предстает «самой злополучной женщиной на свете». «Душа Анны Васильевны, — замечает повествователь, — была именно одна из тех чувствительных душ, которые сильно страдают и при неважных огорчениях».¹ Главная черта, определяющая «нравственное лицо» семейства Задвинских, — «необыкновенная нежность к родным и готовность служить им при всяком случае». «Трудно вообразить, — иронизирует Солоницын, — что это было, когда Федор Петрович и Анна Васильевна жили в Москве, в своем родном

¹ Библиотека для чтения. 1840. Т. 40. Отд. I. С. 40, 41.

городе, в центре всех ближних и дальних своих родственников. <...> Ежедневно, с утра до вечера, в доме их толпилось множество лиц обоего пола и всякого возраста», годы эти были «одним огромным подвигом на поприще любви к ближнему».¹ Избыток «родственной нежности» отличал и героев солоницынской «дачной» истории.

И еще одной, интимнейшей черты не пощадил Солоницын, резко шаржировав и ее. Евгения Петровна, судя по ее прозе и письмам, была религиозна и, вероятно, не без аффектации. Чтение матерью «урока из Библии» осталось дорогим воспоминанием для ее сына-поэта, включившего в поэму «Сны» (1856—1858) две сцены из собственного детства:

Когда собирались мы в кружок по вечерам
И мать из Библии урок читала нам,
Тяжелый сон меня одолевал при чтенье...
Но помню, раз она о первых днях творенья
Рассказывала нам по книге Бытия, —
Впервые изумлен, внимал прилежно я,
И после чтения, как братья шли уж в спальни,
Тихонько убежал я сада в угол дальний
И, взоры устремив на звездный свод небес,
Казалось, понял смысл прочитанных чудес.
С тех пор ума во мне господень перст коснулся,
И он от праздного бездействия очнулся.²

И ниже в тексте — еще одно детское воспоминание о чтении матерью Библии:

Как вижу — предо мной та Муза, что слетала
Ко мне в те дни, как мать нам Библию читала,
И та же у нее звучала песнь в устах,
И в этой песне всё, как в утренних лучах,

¹ Библиотека для чтения. 1840. Т. 40. Отд. I. С. 20—21, 22.

² Майков А. Н. Избранные произведения. Л., 1977. С. 763 («Б-ка поэта». Большая сер.).

Дышало свежестью — святые сердца грезы,
Молитвой тихою исторгнутые слезы,

И счастья, и добра высокий идеал...
И, слушая ее, я тихо зарыдал.¹

В «Медовом месяце» Анна Васильевна изображена сидящей вечерами «в огромном чепце с Библией в руках», с «монашеским выражением» на лице. «Ей в то время было не более тридцати пяти лет, — замечает автор, — но чепец и Библия придавали ей вид настоящей святоши...».²

Свой «дагерротип» Солоницын искусно ретушировал, поместив на нем не сыновей, а двух дочерей Задвинских — гигантского роста романтическую Полину и крошечную, толстую, «как глобус», прозаическую Надину, помогающих каждая по-своему любви и дружбы Верновых.

В этой повести, довольно неловко стилизованной «под Сенковского» — с нагромождением гипербола, вызывающе резких метафор, искусственных контрастов, с длинными цепочками синонимических перечислений и «брамбеусовской» функцией автора-повествователя, участника событий, все натянуто и карикатурно. Подлинна, пожалуй, только резкая критичность, почти нетерпимость автора к своим полудокументальным персонажам.

Приведем и еще один характеризующий Солоницына документ — одно из адресованных ему в Париж в 1844 году писем Евгении Майковой. В письме упомянут и Гончаров, причем упомянут как человек, Солоницыну психологически близкий.

Вообще, я хотела бы побеседовать с вами, — писала Евгения Петровна, — о вашем неутомимом преследовании слабостей человеческих; вы требуете от всех и каждого совершенства! Боже мой, разве это возможно, Владимир Андриич? Вы судите о людях по книгам, практическая жизнь, к которой вы почти не принадлежите, ускользает от вас совершенно; книга и человек — две вещи разные. Если чело-

¹ Там же. С. 780—781.

² Библиотека для чтения. 1840. Т. 40. Отд. I. С. 28.

век, которого вы любите или уважаете, сделает малейшую ошибку, иногда по молодости, по неопытности, по лености, свойственной многим характерам, вы сейчас переменяете об нем мнение, прерываете с ним всякое дружество и проч. Мне кажется, это до крайности несправедливо: побораните или посмейтесь над тем, кто делает глупости, или лучше всего — подайте ему дружеский совет не делать вперед дурачеств; но не преследуйте его как человека, потерявшего ваше доброе мнение, это слишком опрометчиво с вашей стороны и оскорбительно для тех, кто вас любит и уважает. Я заметила, что в Париже вы еще строже стали к недостаткам рода человеческого. Прекрасно, если бы все люди могли быть так совершенны, какими вы их хотите видеть, — но это мечта несбыточная, это поэзия, которую вы себе составили, находясь в том одиноком положении, в которое судьба вас поставила; вы мечтатель и Катон. <...> Вы хвалите Гончарова: но Гончаров всегда был таков, каким вы теперь его видите, Гончарову с лишком тридцать лет, он менее, может быть, рассеян других молодых людей, нас окружающих. Не говорю об Аполлоне, Валерьяне и Солике; все они имеют много недостатков — постараемся их исправить по возможности и порадуемся, что у них есть много хороших качеств, превышающих их недостатки.¹

Черты «друга дома» в биографическом очерке Леонида Майкова, безусловно, смягчило время и тепло семейных преданий. Как все максималисты, Солоницын был человеком неуживчивым и в общении трудным. Именно эти особенности его характера документированы в домашней прозе Гончарова. Иван Степанович Вереницын в «Лихой болести», «искренний друг Зуровых с самого детства», вне всякого сомнения, — Солоницын. «Он был обыкновенно задумчив и угрюм, — читаем у Гончарова, — редко принимал участие в общем разговоре, сидел всегда поодаль от прочих или молча ходил взад и вперед по комнате. Многие сердились за его нелюдимость, холодное обращение...» (1, 31). Обла-

¹ Цит. по: Из переписки В. А. Солоницына и Е. П. Майковой 1843—1844 гг. С. 92—93; письмо от 10 марта 1844 г.

дателем «угрюмого чела», «сурового взора» и «саркастической улыбки» представлен и безымянный, но легко узнаваемый персонаж — «питомец *дела и труда*» — в гончаровском «этюде» о Екатерининском институте <«Хорошо или дурно жить на свете?»> (1, 510).

В последнем случае использованная Гончаровым формула «питомец *дела и труда*» отсылает к посланию Ап. Майкова «В. А. С.....у» (1839). В тексте послания после описания «летнего кочевья» к северному морю и приобщения к быту «питомцев моря, рыбарей» следовали строки:

Люблю печальные места,
Приют свободных вдохновений!
Но звать ли вас под наши сени,
Питомца дела и труда,
В объятья сладостные лени?¹

Говоря о Солоницыне и его жизненных принципах, во многом определивших типологический ряд героев-*деятелей*, противостоящих в прозе Гончарова героям-*мечтателям*, есть смысл вспомнить не только старшего Адуева, но и Штольца с его убежденностью в онтологической ценности труда. «Когда-нибудь перестанешь же трудиться», — замечает в диалоге с ним во второй части романа Обломов, единственную цель деятельности видящий в том, чтобы «обеспечить себя навсегда и удалиться потом на покой, отдохнуть». «Никогда не перестану», — отвечает Штолец. «Тогда когда же жить? <...> Для чего же мучиться весь век?» — звучат классические обломовские вопросы. «Для самого труда, больше ни для чего. Труд — образ, содержание, стихия и цель жизни, по крайней мере моей» (4, 182) — провозглашает свою формулу жизни герой-антипод Обломова. «...Сама жизнь и труд есть цель жизни» (4, 392), — еще

¹ Майков А. Н. Соч.: В 2 т. М., 1984. Т. 2. С. 268 (опубл.: 1841). Цитатность гончаровской формулы, несмотря на присутствие в ней курсивов, что, как правило, сигнализирует о включении в текст «чужого» слова, в комментариях к этюду «<Хорошо или дурно жить на свете?»> в Полном собрании сочинений и писем Гончарова, к сожалению, не была отмечена (1, 810).

раз повторит Штольц, последний раз навещая Илью Ильича в Обломовке на Выборгской стороне.

О Солоницыне, «любившем труд до самозабвения», как отметил в его незавершенной биографии Леонид Майков, в черновых набросках к той же биографии имелось и еще одно выразительное свидетельство. Рассказав о его учебе в Московском университете, мемуарист заключал: «Во всяком случае несомненно, что, умный и даровитый [и замечательно трудол<юбивый>], он приобрел основательное образование и что обязан был им преимущ<ественно> своему замечательному трудолюбию. Труд всегда был его страстью».¹

Свое жизненное кредо Солоницын манифестировал и в строках «Эпилога», которым завершался альманах «Лунные ночи»:

*Труд уже сам по себе наслажденье, но он еще втрое
Слаще, когда мы трудились из дружбы, надеясь в награду
Видеть улыбку на дружных устах.*²

Здесь, вероятно, стоит напомнить и о страсти к труду О. И. Сенковского, выдающегося ученого-ориенталиста, одного из основоположников отечественного востоковедения и «изумительного», по словам современника, труженика. «Едва можно верить, — вспоминал А. В. Старчевский, — изумительной деятельности, какую обнаружил он при редактировании своего журнала. Самые усидчивые из тружеников не проводят столько времени за рабочим столом и столько бессонных ночей, сколько проводил их Сенковский <...> работа увлекала его, и он не отрывался от письменного стола <...>, пока не кончал заданного себе труда, и ложился лишь после совершенного утомления и даже изнеможения».³ И еще одно свидетельство — университетско-

¹ «Труд всегда был его страстью»: (Л. Н. Майков о В. А. Солоницыне: неизвестные страницы воспоминаний). С. 236–237.

² Курсив мой. — А. Г. См. текст «Эпилога» в разделе «Приложение».

³ Старчевский А. В. Воспоминания старого литератора. История «Библиотеки для чтения». 1848–1856. С. 316.

го воспитанника Сенковского, писавшего: «Редко природа одаряет так щедро, как одарила она Сенковского. Память его удерживала, казалось, все, что он когда-либо читал, видел или слышал; ум быстро вникал в сущность каждого предмета, за который он брался, и сразу обливал светом то, что было темно для других. При этом игривое воображение, неистощимое остроумие, любознательность без границ и способность к труду неутолимая».¹

Связанные с Солоницыным биографические и личностно-психологические подробности, имея самостоятельную историко-культурную ценность, вместе с тем проясняют и особенности моделирования характера в гончаровской прозе.

ДОМАШНЕЕ ТВОРЧЕСТВО: ЖУРНАЛ «ПОДСНЕЖНИК» (1835, 1836, 1838) И АЛЬМАНАХ «ЛУННЫЕ НОЧИ» (1839)

С именем Солоницына связана одна из ярких страниц в литературной биографии дома Майковых. В 1835 году (спустя год после выхода первого тома «Библиотеки для чтения») в домашнем кружке начинает выходить рукописный журнал «Подснежник», три выпуска которого — за 1835, 1836 и 1838 годы — сохранились в семейном архиве.² Солоницын был не только его учредителем, деятельным сотрудником, редактором, определявшим общее направление журнала, но и усердным «списателем» (так именовали труд переписчика в Древней Руси): его безукоризненно четким почерком от первого до последнего листа переписаны тексты в «Подснежнике» за 1835 и 1838 годы, а затем и в заменившем журнал в 1839 году альманахе «Лунные но-

¹ Григорьев В. В. Императорский С.-Петербургский университет в течение первых пятидесяти лет его существования. СПб., 1870. С. 75. См. также: Каверин В. А. Барон Брамбеус: История Осипа Сенковского, журналиста, редактора «Библиотеки для чтения». М., 1966.

² См.: Подснежник 1835, Подснежник 1836, Подснежник 1838. См. также о рукописных изданиях: 1, 613—616 (примеч. А. Г. Гродецкой).



Переплет журнала «Подснежник» за 1835 год
с тиснением «Е. М.», посвящением издания Е. П. Майковой

чи».¹ Рукописные издания Майковых не являются, таким образом, собраниями автографов, нет в них и автографов Гончарова, и этим, в частности, осложнялась проблема атрибуции его ранних произведений.

Обращение к рукописным изданиям Майковых предполагает решение ряда текстологических проблем, прежде всего — проблемы датировки выпусков «Подснежника» и вопроса о степени их сохранности в семейном архиве.

¹ См.: *Лунные ночи*.

Все три выпуска журнала имеют только архивную датировку,¹ подтверждаемую немногочисленными датами, представленными под посвящениями, редакционными и — в редких случаях — стихотворными текстами. В основном же и проза, и стихи в «Подснежнике» не датированы и, по все-му судя, писались непосредственно в год «издания» журнала. С датировкой выпусков «Подснежника» связан ряд укоренившихся в исследовательской литературе фактических ошибок и, как результат, документально не подтверждаемых интерпретаций. Так, первый выпуск журнала был ошибочно датирован 1836-м годом в ряде достаточно авторитетных биографических и историко-литературных работ.² А. П. Рыбасов, опубликовавший впервые в 1938 году четыре стихотворения Гончарова («Отрывок. Из письма к другу», «Тоска и радость», «Романс», «Утраченный покой»),³ датировал их 1835—1836 годами, отнеся к 1835 году №№ 1 и 2 «Подснежника» за 1835 год и, без достаточных оснований, к 1836 году — №№ 3 и 4 журнала за тот же год, в которых и были помещены последние три из названных стихотворений (ошибочно датированы 1835—1836 годами и в его монографии, и в ряде других исследовательских работ⁴), хотя ранее датировка корректировалась.⁵ Только с учетом времени создания стихотворений (год для начинающего автора — немалый срок при стремительно сменяв-

¹ Исключая «Прибавления» к №№ 2 и 3 «Подснежника» за 1836 год с указанием года на обложке.

² См.: <Семевский М. И.> Аполлон Николаевич Майков в 1836—1839: Рукописный альманах 1839 года // Русская старина. 1888. № 5. С. 531; Златковский М. Л. Аполлон Николаевич Майков: 1821—1897. С. 16; Языков Д. Д. Жизнь и труды Аполлона Николаевича Майкова. С. 9.

³ Гончаров И. А. Неизданные стихи / Публ. А. П. Рыбасова // Звезда. 1938. № 5. С. 243—245.

⁴ Рыбасов А. П. И. А. Гончаров. М., 1957. С. 36. Также: Летопись. С. 20—21; Демиховская О. А. Раннее творчество И. А. Гончарова // Материалы юбилейной Гончаровской конференции. Ульяновск, 1963. С. 65; Деркач С. С. И. А. Гончаров и кружок Майковых. С. 18.

⁵ См.: Цейтлин 1950. С. 33, 450. Здесь все четыре выпуска журнала безоговорочно датированы 1835-м годом.



Обложка 2-й тетради журнала «Подснежник» за 1835 год,
оформление Ап. Майкова



Обложка 3-й тетради журнала «Подснежник» за 1835 год,
оформление Ап. Майкова

ших друг друга в середине 1830-х литературных авторитетах) решается проблема зависимости ранних поэтических опытов Гончарова от творчества его современников, будь то Пушкин, Лермонтов или Бенедиктов.

«Подснежник» за 1835 год составили четыре самостоятельных пронумерованных (№ 1—4) и переплетенных вместе выпуска журнала. В редакционном обращении к читателям с датой «31 декабря 1835 года», предваряющем том (на цветной вклейке), он назван «первой тетрадью»:

Редакция «Подснежника» просит читателей принять благосклонно эту первую тетрадь ее журнала. По плану, который она предназначала себе, в «Подснежник» будут входить статьи не только литературные, но и относящиеся до наук и художеств; будут помещаемы рисунки, чертежи, карты. Редакция «Подснежника» надеется в этом случае на трудолюбие, познания и искусство своих «юных» сотрудников и, по мере их помощи, предоставляет себе впоследствии сделать многие улучшения как в сущности, так и в расположении своего журнала.¹

Солоницын недаром имел репутацию человека «положительного»: его позиция как редактора сводилась главным образом к изобличению *бытового* романтизма (как его определила Л. Я. Гинзбург) в его расхожих, ставших к середине 1830-х трафаретными стилевых формах. С «положительной» точки зрения, издание регулярного журнала должно было воспитать у его сотрудников навык «делания» литературы и отношения к творчеству не как к *feu sacré*, не в духе романтического мифа об избранности художника-творца, но как к ремеслу.

Стоит попутно отметить, что у Гончарова словосочетание «священный огонь» (*feu sacré*) служит устойчивой формулой поэтического вдохновения как в иронических, так и в безыроничных контекстах. Она включена в романтическую риторику Александра Адуева в «Обыкновенной истории». «...Будь Вестой этого священного огня, который горит в моей груди...», — говорит он Надиньке, имея в виду

¹ *Подснежник* 1835. Л. 2 (пагинация здесь и далее архивная).

Редакция Подснежника просит читателей принять благосклонно эту первую тетрадь ее журналов. По плану, который она предварительно составила не только литературный, но и относящийся до наук и художеств; будущие публикации рисунки, чертежи, карты. Редакция Подснежника надеется в этом случае на трудоспособность, познание и искусство своих, так сказать, сотрудников, и по мере их возможности, предоставлять себе всевозможные материалы жизни души и тела как в сущности, так и во разном смысле своего журнала.

31 Декабря 1835.

Вклейка перед титульным листом «Подснежника» за 1835 год с анонсом издания, написанным его редактором В. А. Солоницыным

собственное творчество (1, 267). Характерен и отзыв Гончарова о герое «Обрыва» художнике Райском в письме к Д. Н. Цертелеву от 16 сентября 1885 года: «...у него feu sacré есть — он в картине своей *видит свет и огонь, жизнь...*».¹

Программа редактора, как следует из обращения к читателям, была сугубо «деловой». В «сущности и расположении» материалов «Подснежник» был ориентирован на «толстые» журналы, прежде всего на «энциклопедическую» «Библиотеку для чтения», от которой и перенял дух эмпиризма, так возмущавший «энтузиастов» тридцатых годов. В журнале Сенковского, противника «туманных учений»,²

¹ Гончаров И. А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1952. Т. 8. С. 487 (Б-ка «Огонек»).

² Старчевский вспоминал о его «гонении на туманные учения, германскую философию» (Старчевский А. В. Воспоминания старого литератора. История «Библиотеки для чтения». 1848—1856. С. 319).

господствовал «культ деловой инициативы и точных практических знаний, понимаемых <...> эмпирически».¹ Об общем «духе» журнала Белинский в статье «Петербургская литература» (1845) писал: «Как в московских журналах царствовал энтузиазм и идеальность, так в “Библиотеке для чтения” явился дух положительности, иронии и насмешки <...>. Впрочем, это шуточное направление оказало свою пользу, как противодействие детскому и неосновательному идеализму и энтузиазму, который и при умеренности бывает смешон, а в крайностях просто невыносим. Крайности всегда излечиваются крайностями же».²

И еще одна оценка «Библиотеки» Белинским заслуживает внимания. Вспоминая в рецензии на второй выпуск «Новоселья» (1845) время создания «Библиотеки», он признал ее журналом, который «совершенно изменил литературные нравы и обычаи, объявив, что он желает от наших литераторов и писателей прежде всего *дейтельного* <...> содействия». И вновь критик отметил, что «ее шуточки, нередко острые и меткие, почти всегда забавные, немало способствовали охлаждению детски восторженного тона, который господствовал в нашей литературе и который не допускал шутки, но обо всяком вздоре любил говорить свысока, с видом глубокого убеждения».³ Стремление Сенковского «к положительным и опытным (реальным) знаниям» у читателей журнала находило поддержку, наука в журнале, как вспоминал современник, «стала впервые выражаться по-русски, но общепонятно, легко и изящно».⁴

Редактор «Подснежника» использовал и опыт популярных в 1830-е годы английских и французских ежекварталь-

¹ Гинзбург Л. Я. «Библиотека для чтения» в 1830-х годах. О. И. Сенковский // Очерки по истории русской журналистики и критики: [В 2 т.] Л., 1950. Т. 1: XVIII век и первая половина XIX века. С. 328.

² Белинский. Т. 7. С. 256.

³ Там же. Т. 8. С. 474—475.

⁴ Старчевский А. В. Воспоминания старого литератора. История «Библиотеки для чтения». 1848—1856. С. 319.

ников.¹ В каждый номер журнала входили поэзия и беллетристика, в том числе переводная. Юные сотрудники получили возможность упражняться как в изящной словесности, так и в переводе, поставляя в журнал беллетристику (предпочтение отдавалось французской «новой школе» — Ж. Жанену, В. Гюго, Жорж Санд и др.) и критические и познавательные статьи из западной периодики. Как и подобает «толстому» журналу, в «Подснежнике» имелся отдел «Смесь», а в № 4 за 1835 год «по требованию читателей» появился и отдел мод.

Домашний журнал вместе с тем нес на себе отпечаток культурной традиции 1820-х годов, эпохи интимно-домашней, «альманашной» и «альбомной» литературы, создававшейся в замкнутых кружках дилетантов, «любителей изящного». С этой традицией связаны разнообразные литературные игры (загадки, синонимы и омонимы, «секретари»), шуточные мистификации, нотные и художественные приложения. Традиции альманахов и домашних альбомов соответствовало и оформление «Подснежника»: многочисленные иллюстрации, заставки, виньетки, рамки, буквицы выполнены здесь Николаем Аполлоновичем и Аполлоном Майковыми, в «Лунных ночах» в качестве оформителя выступил и Солоницын (все рисунки подписаны).

К альманашной тяготела и сама литературная продукция «Подснежника». От выпуска к выпуску изящная словесность все заметнее теснила со страниц журнала все прочие материалы, разрушая предначертанный редактором план. Все короче становился отдел «Смесь», все труднее набиралось необходимое количество переводов. В «Подснеж-

¹ Ср., например, просьбу Пушкина о разрешении журнала в его письме к А. Х. Бенкендорфу от 31 дек. 1835 г.: «Я желал бы в следующем, 1836 году издать 4 тома статей чисто литературных (как-то повестей, стихотворений etc.), исторических, ученых, также критических разборов русской и иностранной словесности; наподобие английских трехмесячных *Reviews*» (*Пушкин А. С. Полн. собр. соч.* [М.; Л.], 1949. Т. 16. С. 69). Подробнее см.: Вацуро В. Э., Гиллельсон М. И. Сквозь «умственные плотины»: Из истории книги и прессы пушкинской поры. М., 1972. С. 216–219.

РОМАНСЪ.

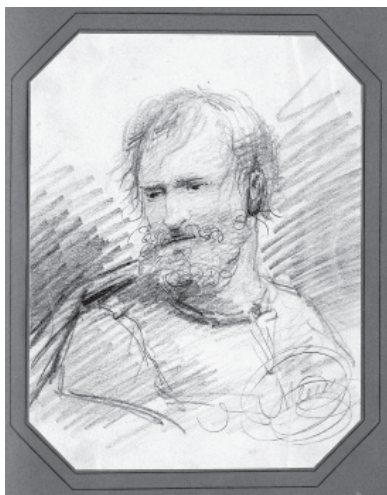
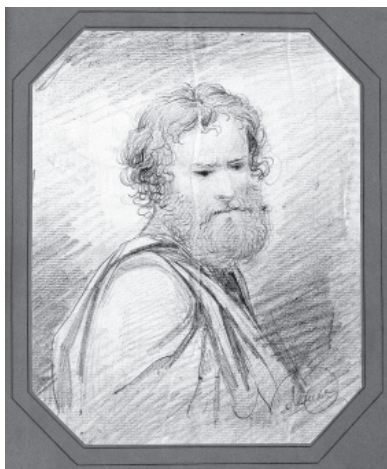
Забу́дь, прими́сь де́лми, све́тлую ду́шу да́вни.

Слова и музыка

Евгении Петровны Майковой.

Музыкальный фрагмент, состоящий из нотного сопровождения и вокальной партии. Ключевая подпись: два flats (B-flat, E-flat). Тактовый знак: 3/8. Лирика: За-бу́дь, при-ми́сь де-лми, све-ту́ю ду-шу да-вни. О-на у насъ бы-ла, О-на у насъ бы-ла су-

Из нотных приложений в «Подснежнике» за 1835 год.
Евг. Майкова. Романс



Графические работы Н. А. Майкова
в приложениях к «Подснежнику» за 1835 год

нике» за 1836 год, разделенном на четыре отдельных, но нумерованных выпуска (с самостоятельной пагинацией), раздел «Смесь» еще присутствует в каждом. «Подснежник» за 1838 год, не имеющий внутреннего деления (пагинация сплошная), завершается небольшим по объему разделом «Смесь». Этот последний том журнала, обозначенный как «Тетрадь XII», открывался обложкой, выполненной Ап. Майковым, с изображением надгробной урны на могиле издания и прощальным словом Солоницына:

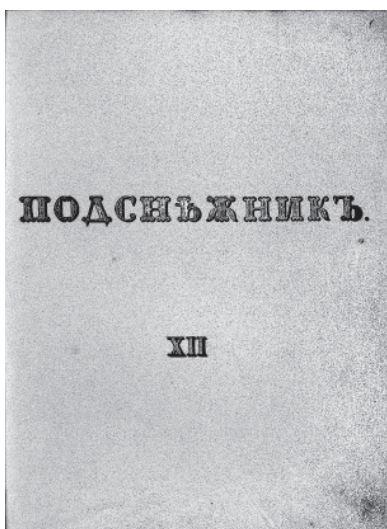
Редакция «Подснежника», представляя читателям последнюю тетрадь своего журнала, долгом считает изъяснить им чувствительнейшую благодарность за внимание, которого они удостоивали ее труды, а еще более за то снисхождение, с каким они смотрели на недостатки этого журнала и непростительную медленность в выпуске тетрадей. Редакция «Подснежника» льстит себя надеждою, что представленная ныне тетрадь загладит хоть несколько все прежние грехи, и заключая ею свое издание, с удовольствием видит, что цель, с которою был начат этот журнал, вполне достигнута.¹

«Лунные ночи» — уже типичный альманах, полностью утративший журнальные черты.

Если предположить, что последний том журнала («Тетрадь XII»), как и предшествующие два, условно объединял четыре рукописные «тетради», то решается вопрос об их общем числе — в сумме их получается 12. Можно таким образом заключить, что все «тетради» «Подснежника» в семейном архиве Майковых сохранились полностью.

Редакторский «утилитаризм» поддержки у сотрудников журнала не нашел. Юных (и не очень юных) «мечтателей» по вполне понятным причинам едва ли могли воодушевлять упражнения в переводе, составлении чертежей и карт, разыскания в «Revue de Paris», «L'Echo Britannique», «Revue Germanique» и прочих revues «полезной» информации для

¹ *Подснежник* 1838. Л. 2 (вклейка). На титуле последнего «Подснежника» посвящение: «Евгении Петровне. 2 апреля 1838, накануне Светлого праздника» — и надпись: «Тетрадь XII».



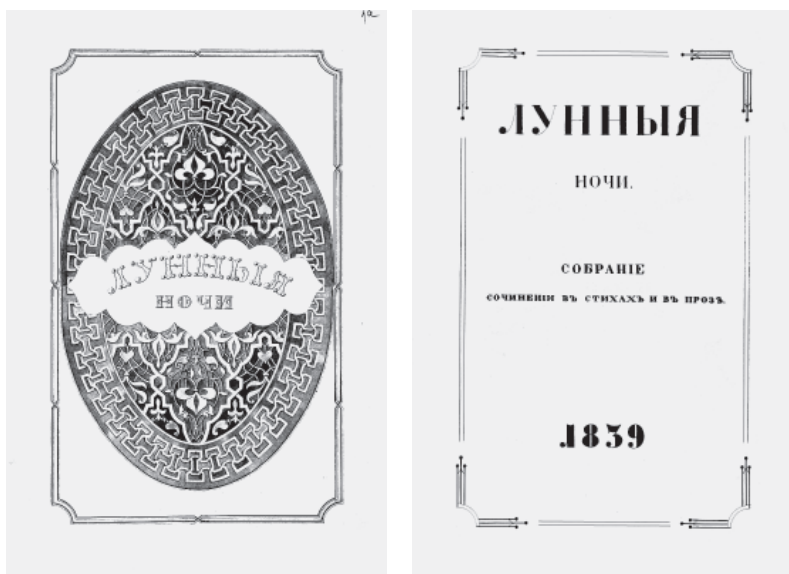
Титульный лист и обложка журнала «Подснежник»
за 1838 год, рисунок Ап. Майкова

«Смеси». В результате единственная карта и единственная схема («Генеалогическое древо Наполеона Бонапарта», приложение к статье «Родословная Наполеона») были помещены в «Подснежнике» за 1835 год,¹ причем исполнено «древо» было самим Солоницыным. Им же, скорее всего, были составлены для «Подснежника» за 1838 год «Карта России 1742 года» и «Чертеж родословной дома Романовых» — «самая полная, подробная и — смеем надеяться — верная (по крайней мере, со времен Михаила) родословная таблица дома Романовых».²

Эта ситуация нашла отражение в «Обыкновенной истории», где Адуев-дядя склоняет мечтателя-племянника, увлеченного сочинением сентиментальных элегий и ультра-романтических повестей (ср.: «В одной повести местом действия избрал он Америку; обстановка была роскошная; американская природа, горы, и среди всего этого изгнан-

¹ *Подснежник* 1835. № 2; вклейка между Л. 83 и 84.

² *Подснежник* 1838. Смес. Л. 195—196 об., 209—212.



Обложка и титульный лист альманаха «Лунные ночи»

ник, похитивший свою возлюбленную». — 1, 268) к написанию журнальных статей *о наземе и о картофельной патоке* (1, 229—230). Деятельность Солоницына-редактора заставляет не раз вспомнить о старшем Адуеве в «Обыкновенной истории», прототипом которого, как уже отмечалось, он не без оснований считался. Есть основания рассматривать его и в качестве вероятного прототипа редактора журнала, заказывавшего Александру Адуеву статьи о наземе.

«Деловым» предначертаниям редактора «Подснежника», в отличие от ситуации в романе Гончарова, сопротивлялись не только молодость и романтическая «мечтательность» сотрудников журнала, но и их несомненная литературная одаренность. Авторы «Подснежника» писали поразительно много (в каждом переплетенном томе более 400 страниц), писали легко, и мастерство юных сотрудников росло буквально на глазах.

Разумеется, только «эмпириком» Владимир Андреевич не был, и не без его участия «Подснежник» оказался во

власти игровой стихии — мистификаций, пародий и дружеских шаржей, необходимого домашнего пересмешичества. Солоницын вел партию «от редакции», сопровождая публикации информирующими, шутивными и нешутивными наставительными комментариями, ироническими репликами, причем с особой готовностью он реагировал на звучащее всегда серьезно, с пафосом главное женское «соло» журнала — Евгении Майковой. Что до упражнений в переводе, то и они, безусловно, наряду со многим другим, «вырабатывали перо» у его воспитанников. Убедленным сторонником действенности подобной «методы» до конца дней оставался Гончаров, в пору сотрудничества в «Подснежнике» переводивший «массы» и «кипами исписанной бумаги» топивший печки.

При своем начале журнал объединял главным образом ближайших родственников и друзей. Большинство произведений в журнале подписано. Немногие анонимные, как правило, позволяли угадать автора по весьма прозрачным намекам, что составляло одну из форм постоянных шутовых розыгрышей, характерных для отношений внутри домашнего кружка. Стихи и прозу в «первую тетрадь» пишут Евгения Петровна, 14-летний Аполлон, 12-летний Валериян Майковы, со стихами выступил и 9-летний Владимир. Солоницын-младший, Солик, племянник редактора, только пробуящий перо юный автор, опубликовал здесь басни и лирические стихотворения. Переводы с французского и французские же «варварские», «дьявольские», «фривольные» вальсы и мазурки с посвящениями китайскому императору, Мефистофелю и т. п. «прислал» в журнал прапорщик Измайловского полка Константин Майков,¹ младший

¹ Константин Аполлонович Майков (1811—1891) — прапорщик (1835), подпоручик (1836—1837), поручик (1838—1841), штабс-капитан (1842—1848), с 1849 г. — полковник л.-гв. Измайловского полка; в 1842—1848 гг. адъютант при Имп. Военной Академии. Холостяк и «вечный ветреник», как его назвал Гончаров в письме Майковым от 15 июля 1854 г. (15, 219), Константин Майков на протяжении десятилетий был одним из самых близких людей как старшим, так и младшим Майковым. Здесь и ниже сведения уточнены по адрес-

брат Николая Аполлоновича. Это основные сотрудники и всех последующих выпусков журнала.

Немногочисленные стихотворения в «первой тетради» принадлежали другому брату Н. А. Майкова, также измайловцу, Леониду,¹ его отцу Аполлону Александровичу² и невестке — Наталье Александровне Майковой.³ Ноты к романсам (на слова Евгении Майковой) были присланы в журнал из Москвы Клеопатрой Майковой.⁴ Кроме того, в «Подснежнике» за 1835 год помещает стихи И. Г. Карелин, известный поэт, уроженец Оренбурга, постоянный автор майковского журнала.⁵

календарям и родословной Майковых (см.: *Майковы. Родословная*. Л. 1—5).

¹ Леонид Аполлонович Майков (1812—1838) имел в 1835 г. чин прапорщика; участвовал, как и К. А. Майков, в польских событиях 1830—1831 гг., оба брата награждены медалью за взятие Варшавы.

² Аполлон Александрович Майков (1761—1838) — поэт, комедиограф; в 1810—1814 гг. управляющий Императорских московских театров, в 1821—1825 гг. — московских и петербургских театров. См. о нем: *Майковы. Родословная*. Л. 3; *Володина Н. В.* Майковы. С. 47—65.

³ Наталья Александровна Майкова (рожд. Измайлова, во втором браке Азаревич; 1809—1871) — дочь баснописца и издателя журнала «Благонамеренный» А. Е. Измайлова; была замужем за Вал. Ап. Майковым, младшим братом Н. А. Майкова (см. о нем выше, с. 45). О Н. А. Майковой (Азаревич) см. также ниже, с. 175, 239—240.

⁴ Клеопатра Аполлоновна Майкова (1800—1884) — сестра Н. А. Майкова.

⁵ Иван Григорьевич Карелин (ок. 1800—1848) в 1827—1830 гг. был управляющим на Преображенском медеплавильном заводе Гусятниковых (см. выше, с. 33), позднее — их уполномоченным в деле о семейном наследстве (ГАОО. Ф. 6. Оп. 5. Д. 11479; РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. № 1488). Стихотворения Карелина в печати появлялись дважды — в сб. «Венера» (М., 1831. Ч. 2) и в «Литературных прибавлениях к “Русскому инвалиду”» (1839. Ч. 2). Сведения о нем сообщены Б. Л. Бессоновым и Н. В. Гавриловой. Живя с середины 1830-х гг. в Петербурге, он часто бывал у Майковых. В трех выпусках «Подснежника» ему принадлежат 11 стихотворений, в «Лунных ночах» он уже не участвовал. В ряде исследований поэт И. Г. Карелин был ошибочно отождествлен с известным путешественником и естествоиспытателем Г. С. Карелиным (см.: *Деркач С. С.* И. А. Гончаров и кру-

MAZURQUE BARBARE,

*favorite de Pékin, tirée de l'opéra Diaboli-
li-Diabolliini, exécutée pour la première et la der-
nière fois au bal des Ostiaques, composée sous
l'influence de l'amour oriental, et dédiée à l'Em-
pereur de la Chine par son très humble serviteur*

Constantin de Markoff



Из нотных приложений в «Подснежнике» за 1835 год.
Константин Майков. Варварская мазурка

Из литераторов с именем в «Подснежнике» за 1835 год представлены П. П. Ершов, недавний студент, к этому времени уже успевший опубликовать «Конька-Горбунка» и стать сотрудником журнала Сенковского,¹ и А. П. Крюков.² Солоницын, близко знавший Крюкова по Департаменту внешней торговли, где тот служил с 1827 года, унаследовал бумаги умершего в 1833 году поэта и последовательно, из номера в номер помещал его стихи в «Подснежнике», опубликовав в общей сложности 18 стихотворений. Первое из них, «Отъезд» (1832), сопровождало следующее назидательное примечание:

Александр Павлович Крюков — молодой человек с весьма сильным талантом, рано похищенный смертью у русской литературы, в которой он мог бы занимать очень видное место. Его сочинения, в стихах и в прозе, рассеяны по разным журналам и альманахам; многие остались ненапечатанными. Редактор «Подснежника», быв с ним очень дружен, наследовал все его бумаги. Жизнь Крюкова может служить резким примером того, до чего страсти могут довести человека пылкого и чувствительного. Мы постараемся сообщить когда-нибудь нашим читателям его биогра-

жок Майковых // Учен. зап. ЛГУ. 1971. № 355. Сер. филол. наук. Вып. 76. С. 24; Краснощекова Е. А. 1) Примечания // Гончаров И. А. Собр. соч.: в 8 т. М., 1977. Т. 1. С. 517; 2) «Фрегат “Паллада”»: «Путешествие» как жанр (Н. М. Карамзин и И. А. Гончаров) // Русская литература. 1992. № 4. С. 13).

¹ См. его стихотворение «Сцена в лагере» в № 2 «Подснежника» за 1835 год (Л. 53 об.—55). По всей видимости, еще до своего отъезда в Тобольск летом 1836 г. Ершов поместит в «Подснежнике» за 1836 год два стихотворения — «Русский штык» и «Двадцать пятое декабря», которыми и завершится его участие в журнале.

² Александр Павлович Крюков (1803—1833) — прозаик, поэт. См. о нем: Вацуро В. Э. 1) Александр Крюков и его стихи // Прометей: Историко-биографический альманах. М., 1987. Т. 14. С. 252—263; 2) А. П. Крюков // Поэты 1820—1830-х годов. Л., 1972. Т. 1. С. 538—540 («Б-ка поэта». Большая сер.); 3) Крюков Александр Павлович // Русские писатели. 1800—1917: Биограф. словарь. М., 1994. Т. 3. С. 185—186.

фию и тогда же поместим несколько выписок из его любопытного дневника.¹

По предположению В. Э. Вацура, Солоницын был автором некролога Крюкова в «Северной пчеле», в котором за покойным признавался «талант необыкновенный»,² и он же опубликовал посмертно несколько его стихотворений в «Библиотеке для чтения» (1841. Т. 49; 1842. Т. 54). Сам факт введения в узкий родственно-дружеский круг произведений достаточно известного автора (стихи и проза Крюкова с середины 1820-х появлялись в «Сыне отечества», «Отечественных записках», «Вестнике Европы», «Северных цветах», «Литературной газете» и других изданиях) много говорит в пользу воспитательной «методы» Солоницына-редактора. Поэзия «небесталанного подражателя Пушкина», как отозвался о Крюкове В. К. Кюхельбекер,³ при традиционно романтической тематике, была по своим художественным достоинствам много выше усредненных, шаблонных стихотворных произведений сотрудников «первой тетради» рукописного журнала, не исключая начинающего Ап. Майкова, уже публиковавшегося вне домашнего круга,⁴

¹ *Подснежник 1835*. № 2. Л. 45. Обещанная публикация биографии поэта и дневниковых записей не состоялась.

² См.: Русские писатели. 1800—1917: Биогр. словарь. Т. 3. С. 186. «Любители отечественной словесности, — говорилось о Крюкове в некрологе, — помнят его статью, напечатанную под названием “Киргизский набег” в “Северных цветах” на 1830 год, помнят и многие прелестные его стихотворения, печатанные в некоторых поврежденных изданиях; сверх того, как чиновник он соединял в себе все нужные для сего качества и мог бы при своих способностях принести ощутительную пользу службе, — но ранняя смерть положила конец всему» (Северная пчела. 1833. № 41. 22 февр.; вместо подписи: «Сообщено от одного из сослуживцев покойного»).

³ Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979. С. 290. («Лит. памятники»).

⁴ Он дебютировал в печати стихотворением «Орел» (Библиотека для чтения. 1835. Т. 9; ценз. разр.: 27 февр. 1835 г.); см.: Баевский В. С. Майков Аполлон Николаевич // Русские писатели. 1800—1917: Биогр. словарь. М., 1994. Т. 3. С. 454.

и — тем более — далеко не оригинального в своих поэтических опытах Гончарова. Призванная служить ориентиром для юных сотрудников, поэзия Крюкова имела и свои оригинальные черты. Солоницыну несомненно импонировали ярко выраженные в ней иронические и сатирические мотивы. На страницах «Подснежника» нашлось место и для крюковской «Кокетки», иронически смещающей акцент в привычной для романтиков теме неприятия светского кокетства (стихотворение — о нежной любви героя к светской кокетке), и для шутливой элегии «Довольный» (здесь «перевернут» основной мотив «унылой» элегии).

И еще один сотрудник, ранее не упоминавшийся в числе авторов журнала, был привлечен Солоницыным к участию в издании. Это Евгений Федорович Корш, в 1834–1835 годах один из ближайших помощников Сенковского по «Библиотеке», где занимался как разного рода компиляциями, так и переводами, преимущественно с английского.¹ Имя Корша будет раскрыто только в «Подснежнике» за 1838 год, где появятся за полной подписью два его стихотворения.² Но, вероятно, именно он скрывался под маской Ефима Феоктистовича Куролопатина, сотрудника всех четырех выпусков журнала за 1835 год (это имя вынесено на обложку).³ Солоницын, как уже отмечалось, был хорошо знаком с Коршем, знал его семью, с самим же Евгением Федоровичем после его переезда в Москву в 1836 году состоял в деятельной переписке.

Среди сотрудников «первой тетради» необходимо упомянуть и двух переводчиц для «Смеси» — Наталию Шафон-

¹ Е. Ф. Корш активно сотрудничал и в «Сыне отечества» (анонимно).

² Перевод «Решительность и независимость, из Вордсворта» и «К чуме, в Одессу» — *Подснежник* 1838. Л. 65–67 об., 83–83 об.

³ Е. Ф. Куролопатин «прислал» в журнал ответ на предложенный редакцией вопрос: «О чем Адам и Ева разговаривали при первом свидании?» (*Подснежник* 1835. № 2. Прибавление. Л. 81–83 об.). Этот текст был безосновательно атрибутирован В. П. Сомовым Солоницыну попутно с атрибуцией Гончарову другого ответа на тот же вопрос (см. подробнее ниже, с. 207–208).

скую и Юнию Азарьеву, чье участие в издании 1835-м годом и ограничилось.¹

Самому редактору в первом выпуске журнала, возможно, принадлежало около десяти анонимных стихотворений, формально на редкость «правильных» и, в отличие от остальных поэтических произведений, тщательно датированных 1826—1834 годами.

Неясной остается история издания «Подснежника» за 1836 год. В этом выпуске нет и намек на художественное оформление, тексты переписаны разной рукой, неустойчивым почерком, с большим количеством пропусков, исправлений, подчисток и ошибок. Вероятно, журнал создавался юными сотрудниками без участия главного редактора. Рукотворной перепиской переписана только помещенная в «Прибавлениях» в конце тома анонимная повесть «Нимфодора Ивановна», ошибочно атрибутированная Гончарову О. А. Демиховской (подробнее см. ниже, с. 202—205). Какие-либо комментарии «от редакции» по поводу ее автора в данном случае отсутствуют, как и вообще отсутствуют в этом выпуске журнала редакторские реплики. В этом же томе опубликован и анонимный рассказ «Красный человек», попытка атрибуции которого Гончарову также имела место. И еще одну анонимную повесть находим здесь же — повесть «Привидение», которая вполне могла быть приписана Гончарову на тех же немногочисленных и малоубедительных основаниях, что и две названные выше. Однако попытки атрибуции в данном случае не предпринимались,

¹ Надо отметить, что два этих имени вынесены на обложку 2-й тетради журнала в 1835 г., включенные в оформительскую композицию Ап. Майкова: «Майковы, Шафонская, Азарьева, Куролопатин» (см. илл. на с. 56). С Наталией Филипповной и Андреем Афанасьевичем (1777—1843) Шафонскими в 1830-е годы Майковы были дружны домами, они неоднократно упоминаются в письмах Е. П. Майковой. Возможно, Азарьева — один из вариантов фамилии «фигурантки» Азаревич (Азаревичевой), гражданской жены Ап. Ал. Майкова, или одной из двух ее дочерей. О ней и ее детях см. ниже, с. 239—240. Эпизодически участвовали в домашних изданиях И. Армстронг и некто Владимир Пассевьев, возможно, родственник экономки Майковых, много лет жившей в семье, — М. Ф. Пассевьевой (Пасевьевой); см. о ней: 15, 519.

и едва ли к настоящему времени могут быть представлены убедительные свидетельства в пользу авторства кого-либо из сотрудников издания. Текст повести помещен нами в раздел «Приложения».

В 1836 году в журнале заметно снижается процент «родственной» поэзии, и именно в этом году на его страницах впервые появляется имя В. Г. Бенедиктова. Это еще один, и весьма преуспевающий, чиновник Департамента внешней торговли (о литературности департамента уже выше шла речь). В «Подснежнике» за 1836 год Бенедиктову принадлежат стихотворения «Бивак», «Улетевшим мечтам» и «Обновление». В 1838 году он поместит в «Подснежнике» четыре стихотворения и пять — в 1839-м в «Лунных ночах», подчинив своему мощному стихотворному ритму, «резкой метафоричности» (Л. Я. Гинзбург)¹ поэтическую лиру юных авторов (за исключением, пожалуй, вполне к этому времени сложившегося Аполлона Майкова). В 1836 году единственный раз в журнале участвует поэт Иван Бороздна со стихотворением «Она», посланиями «А. И. Б.» и «А. С. Ш.» и двумя сочинениями для нотных приложений («Романс» и «Не горюй, душа-девица...») на музыку Л. И. Бороздны, жены его брата Василия,² одной из душевных подруг Евгении Майковой. Дважды в этом году Аполлон Майков и младший Солоницын посвящают стихи В. И. Панаеву,³ однако, что сближало с журналом и семейством Майковых поэта-идиллика и директора канцелярии Министерства Императорского Двора, выяснить не удалось.

Новые лица в журнале в 1838-м году — П. П. Свиньин, женатый на сестре Н. А. Майкова Надежде Аполлоновне,⁴

¹ Гинзбург Л. Я. Пушкин и Бенедиктов // Гинзбург Л. Я. О старом и новом: Статьи и очерки. Л., 1982. С. 147.

² Любовь Ивановна Бороздна (рожд. Угрюмова или Угрюмова) была замужем за Василием Петровичем Бороздной (1793–1850-е), братом поэта И. П. Бороздны. С семьей В. П. Бороздны как Майковы, так и Гончаров поддерживали дружбу в 1840–1850-х гг.

³ Владимир Иванович Панаев (1792–1859) — поэт, мемуарист.

⁴ Павел Петрович Свиньин (1787–1839) — писатель, журналист и редактор, первый издатель журнала «Отечественные записки». Он

и В. А. Алябьев (брат знаменитого композитора, знакомого Майковых¹), обратившийся со стихотворным посланием к молодым сотрудникам «Подснежника».² И наконец, в 1839 году в «Лунных ночах» в уже сложившемся ансамбле звучит единственный новый голос — начинающего поэта, тогда же дебютировавшего в печати, сокурсника Вал. Майкова Якова Щеткина.³ Он и позднее будет участвовать в домашнем творчестве, в частности, в рукописной газете «Сплетня», выпускавшейся молодыми Майковыми и их ближайшими друзьями в 1842 году — уже без старшего Солоницына.

Литераторы «со стороны» мало влияли на характер майковского журнала, его активно пишущее ядро оставалось семейным и домашним. При этом домашних лириков (а лирика преобладала и в «Подснежнике», и в «Лунных ночах») отличала юношеская и дилетантская непосредственность,

публикует драматическую сцену (об А. Д. Меншикове) «Пирожник, вельможа и изгнанник» (*Подснежник* 1838. Л. 61—63 об.). Надежда Аполлоновна Свинына (рожд. Майкова; 1803—1857).

¹ См. о знакомстве: *Штейнпресс* Б. С. Страницы из жизни А. А. Алябьева. М., 1956. С. 135. Два романса (1842) на слова Ап. Майкова композитор посвятил Н. А. Майкову. Майковы были знакомы и с семьей Н. А. Шатилова, зятя А. А. Алябьева.

² Счастлив, кого крылатый Гений
Не оставляет сиротой
И не лишает вдохновний,
Богатых чувством, красотой!
Поэты юные, в вас пламень
Горит небесного огня.
Подайте ж руку! Я не камень,
И сердце пылко у меня.
Я отчужден не буду вами —
Игровой музой молодой:
Хотя далек от вас летами,

Но так же молод я душой. — *Подснежник* 1838. Л. 44—44 об. (упоминается Б. С. Штейнпрессом). О Василии Александровиче Алябеве (1784—1857) см.: *Ходж* Т. «Где ты, мой брат?». Поэт и чиновник Василий Алябьев // *Лица: Биогр. альманах*. М.; СПб., 1993. [Вып.] 2. С. 39—58.

³ См. о нем выше, с. 11.

благодаря чему не столь монотонно звучат в их исполнении ходовые элегические и романтические мотивы. Об одиночестве, разочаровании, непонятости, несовпадении мечты и «существенности», об обреченности души страданиям пишут и Аполлон Майков в самых ранних стихах 1835—1836 годов («Разочарованье», «Сирота» и др.), и Валериан («Счастливый несчастливца», «Надежда», «Обман», «Было время»), и младший Солоницын («Мечте», «Тайна счастья», «Я люблю», «Сонет»).

Как характерный пример стоит привести элегию «Разочарованье» Ап. Майкова:

Увы! Зачем разочарованье
Моих коснулось ныне дней?
Зачем прекрасные мечтанья
Истреблены в душе моей?

На месте их, в ней поселилась,
Как мрачный хаос, пустота,
И сердце с счастьем простилось,
И радость жизни отнята.

Но где же призрак тот небесный,
Манивший так к себе меня,
Тот фантастически-прелестный,
Которым так пленялся я?

Где он? — Исчез, как исчезает
Сей жизни нашей красота, —
И все, что сущность заменяет,
Все то лишь сон, все то мечта!¹

Исключительно императивно и безвариантно те же мотивы звучат у Евгении Майковой («Вопль несчастливца», «Нет места чувствам на земле...», «Тайна», «Когда с надеждой легкокрылой...» и др.). Одна из типичных ее элегий — «Обманчивость» в «Подснежнике» за 1838 год:

Душа доверчива весною;
За светлой гонится мечтой;

¹ *Подснежник* 1835. № 4. Л. 128 об. — 129.

СЧАСТЛИВЫЙ НЕСЧАСТЛИВЕЦЪ.



О боги! для того ль вы жизнь мою да-
ровали,
Чтобы я былъ изгнанникъ на земли,
Чтобы люди зли такъ жестоко обидали
Меня въ насмѣхеніяхъ души?
Увы! они меня затеи все презираютъ,
Что беднѣе сиротой живу жале ники я;
За то меня безвинно хорятъ,
Что крѣче алмазовъ у меня.
Но между ихъ жестокии сердцаши
Есть дѣла — рай души моей:
Она вчера предъ небесаши
Призналась мнѣ въ любви своей.
И съ того дѣвой — все мученье
Никтожеству боудеть для меня:
Всегда отградя чужимъ,
Во ея очахъ увижу я.

Валерьянъ Майковъ.



Стихотворение Вал. Майкова «Счастливый несчастливецъ»
в «Подснежнике» за 1835 год

Но ранней, утренней порою
Уже встречается с тоской.
Взгляните: звездочки блистают
И вдруг померкли в облаках;
Зефиры розу лобызают,
Она увяла — пыль и прах! <...>
Так это жребий наш: весною
Всех благ от жизни ожидать,
Любить всей пламенной душою
И вечно счастья не знать!¹

Автору на редкость продуктивному, Евгении Майковой принадлежит в «Подснежнике» и «Лунных ночах» более двух десятков самых разных стихотворений — от меланхолических романсов и элегий до гневных инвектив «мишурному» свету («Пустыня людная, где я с толпой блуждаю, / Но где душе моей приюта нет...»²). Количественно и эмоционально не уступает стихам и ее проза: Евгения Петровна — автор пяти «ультраромантических» повестей («Мария», «Сила души», «Что она такое?», «Листок из журнала», «Рассказ из частной жизни») и многочисленных «мелочей» — пасторальных картинок («Деревня»), сентенциозных «отрывков» («Терпение», «Дружба», «Отрывок из жизни мечтательной»), «мыслей» на французском («Pensées détachées») и на родном языке, кроме того — нескольких переводов с французского. К жанровому и стиливому клише у Евгении Петровны был особый вкус: трудно подобрать более полный и более пестрый репертуар сентиментально-чувствительных и бурно-романтических «общих мест», чем тот, который представлен ее стихами и прозой.

Одна из любимых тем Евгении Петровны — «ламартиновская», «деревенская», воспевающая «счастливых поселян», «пастушков», уединенную жизнь в тиши идиллического «уголка» в беседах с Богом и Матерью-природой.

¹ *Подснежник* 1838. Л. 7—7 об. В 1838 г. в томе, ей посвященном, каждое стихотворение Е. П. Майковой помещается на отдельном листе цветной бумаги в художественной рамке.

² Там же. Л. 84 об. («Что для меня свет?...»).

«Уголок» во всех случаях конкретен — либо это подмосковное имение Майковых Никольское, либо летняя дача под Ораниенбаумом, обыкновенно с конца 1830-х семьей нанимаемая.¹ Характерна, например, «Деревня. Отрывок из дневных записок Е. П. Майковой»:

О! как люблю я деревню!

Но почему же я люблю ее так нежно? — Не могу дать отчета. Я люблю в ней природу неискусственную, ту величественную природу, которая ниспала из рук Всемогущего! Я люблю солнце, луну, рощу, пригорок, извилистый ручеек, бледный ландыш и пышную розу, гнездушко малиновки, щебетание стрекозы, эфирную бабочку и все, все — что окружает меня в меланхолическом уединении...

Где найду я истинную поэзию, как не в сельском быту? Тут столько раздолья, наслажденья душе моей!.. Тут мечта моя облекается в новую жизнь, воображение освобождается от тяжких дум, как голубое небо от мрачных туч; оно забывает тщету земного, и душа — вся предается Богу, любви беспредельной.

Бегу, бегу в поле. Там встречу я поселян; но они не помешают мне дивиться красотам природы, наслаждаться ее дарами: они дети ее, они поймут мои чувства. — Я не замечаю в них той двусмысленной улыбки образованного жителя городов, того убийственного себялюбия, которое не позволяет горожанину признавать истин, превышающих силу его разума, истин, которые он старается опровергнуть, думая этим возвысить собственное достоинство.

Но оставим гордых! Я не знакома с их душою. Моя душа здесь, в деревне. В любимых цветах моих, в песни пернатых нахожу я ее созвучие. Так! не нужны мне люди. Дайте мне природу с ее цветами, когда дрожит на них алмазная слеза авроры, когда благоухание разливается по всей окрестности.

¹ Никольскому посвящены стихотворения Майковой 1833—1835 гг. «К моей деревушке», «К родине моей», «Моя деревня», «Все то же», «Там», сохранившиеся в ее альбоме «Часы досуга, или Мои бредни» (РО ИРЛИ. № 17398). О даче Майковых см.: Мельгунов Б. В. Майковы в Ораниенбауме // Балтийский луч. 1984. 27 нояб.

Я не могу видеть равнодушно полевые цветы; боюсь растоптать их ногами. Жадно люблюсь я ими, не смея, не решаясь сорвать ни одной фиалки. Это было бы лишить ее жизни преждевременно! И без того слишком краток век ее, особенно в нашей холодной, полуночной стране. Один миг — и поблекла моя фиалка, борей вырвал ее с корнем и мчит по полю свою добычу!

Но ежели мирская суета, неизбежные обязанности жизни призывают меня в стены города в то время, когда природа благоухает, ах! с каким грустным чувством разлучаюсь я с нею! Тогда, в утешение себе, с алчностью гастронома, пожирающего устрицы, рву я все попадающиеся мне цветы на прощальной долине и увожу их с собой в душный город. Здесь я украдкой смотрю на них, вспоминая свои сельские наслаждения, и дорожу поблекшими цветами моими более, нежели всеми предметами роскошной, суетной столицы, где одно золото одушевляет жизнь, где без золота нет жизни, где все покупается золотом, где природы не знают, истине не верят, в Бога — не веруют!¹

Судя по многочисленным эпиграфам в повестях Майковой (почти к каждой главе), ее кумирами были Шатобриан, Гете, Байрон, Гюго, мадам де Сталь, мадам Бернар, Марлинский, Полевой, Кукольник... Дважды в этот ряд попадает имя Пушкина, но и Пушкина, своеобразно воспринятого, — автора буквально, вне иронии, прочитанных онегинских строф: «Он верил, что душа родная / Соединиться с ним должна...», и «Но грустно думать, что напрасно / Была нам молодость дана...». О существовании культа Жуковского, «поэта-христианина», говорит анонимный прозаический отрывок «Поэт», принадлежащий, скорее всего, перу Майковой.² В не меньшей степени был почитаем ею и Бенедиктов, восторженно встречались «преумные и презабавные» фельетоны Сенковского, как и сочинения других авторов «Библиотеки», — повести А. П. Степанова, например, того самого, у которого, по словам Белинского, «нет ни рассказа,

¹ *Подснежник* 1835. № 1. Л. 26—27.

² Там же. № 4. Л. 129 об.—132 об.

ни слога, ни языка, а только одни скучные и вялые длинноты».¹

Поразительнее всего легко уживающийся с сентиментализмом «байронизм» Евгении Петровны, до такой степени бурный, что не вызывать иронической реакции он не мог. «Пылкая», «преданная увлекательному романтизму восторженных поэтов» Мария, героиня одноименной повести («...она упитывалась ядом чувствительности <...>. Она вся существовала в мечтании, творила себе миры по воле фантастического своего воображения <...> она желала чего-то нового, таинственного, безумного, невещественного»), встречает в «поэтических Альпах» не кого-нибудь, а Байрона. Завязывается роман. «Обожаемое чудовище» бесчеловечными терзаниями доводит Марию до гибели — Евгения Петровна любила мелодраму. «Лучше страдать и любить свое страдание, нежели обладать холодною душою и ничего не любить. Это состояние ужасно: оно мертвит все предметы в глазах наших».² Таков авторский манифест.

Первая часть повести в № 1 «Подснежника» за 1835 год обрывалась на фразах: «Кто я? — сказал незнакомец. — Я не скрываю имя мое. Ты видишь у ног своих — Байрона». Солоницын (под строкой) подхватывал: «Редакция “Подснежника” очень жалеет, что не может объявить имени той особы, которая доставила ей эту повесть. Особа эта, как видно, гораздо скромнее Байрона. Но мы полагаем, что читатели узнают ее по слогу и мыслям».³

Соответствующая редакторская реплика сопровождала и характерный для Евгении Петровны «Отрывок из жизни мечтательной»: «Нам запрещено объявить имя автора этой статьи. Скажите, было ли запрещение когда-нибудь так бесполезно?».⁴

Но никакая ирония, по-видимому, не охлаждала поэта «мечтательной» жизни, свое понимание «высокого и пре-

¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: [В 13 т.]. М., 1953. Т. 2. С. 576.

² Подснежник 1835. № 1. Л. 9, 9 об.; № 2. Л. 44. См. текст повести в разделе «Приложения».

³ Подснежник 1835. № 1. Л. 14.

⁴ Подснежник 1836. <№ 3>. Л. 71.

красного» Евгения Петровна отстаивала воинственно и непреклонно. Годами страданий покупается счастье «пламенной» Софии («Листок из журнала», 1835), одной из тех женщин, «которых не скоро можно постичь»; любовь «чистых душ» Лидии и Ипполита («Сила души», 1836) разрушает коварство светского волокиты Мишурского; «злополучная тайна» Маши Вельской, страдающей сомнамбулизмом («Что она такое?», 1838), препятствует ее счастью с Томским, чья «вулканическая душа» кипит страстью; обманута людьми и светом «мечтательная» Зинаида Р., не умеющая любить «умеренно, покойно, как любят сердца ограниченные» («Рассказ из частной жизни», 1839).

Романтическому кредо Евгения Петровна не изменит и позднее. В ее «бальзаковских» повестях «Женщина» и «Женщина в тридцать лет», опубликованных в 1850 году в «Библиотеке для чтения» (Т. 99, 101), по-прежнему будет страдать неразгаданное или коварно обманутое женское сердце и будет звучать дорогая автору мысль об избранности мечтателей в мире положительности и пошлости:

Эти люди составляют особенную касту в человечестве: они живут более внутреннею, нежели внешнею жизнью; у них свой образ мыслей, свои понятия о вещах. Всего этого нисколько не понимают люди положительные: они только умеют обвинять несчастных мечтателей, смеяться над ними, давать им на каждом шагу толчки и не чувствуют, как жестоко оскорбляют их самосознание, как уничают восторженные их чувства... Увы! эти бедные сердца скитаются как парии в мире вещественном и скоро делаются жертвами пошлой жизни... К такой касте людей принадлежат большею частью женщины, одаренные от природы большим запасом чувствительности и раздражимости; многие из них увлекаются идеализмом, составляют себе высокое понятие о людях и бывают совершенно несчастливы, когда неминуемое разочарование открывает им панораму действительности во всей наготе ее.¹

¹ Библиотека для чтения. 1850. Т. 99. Отд. I. С. 152.

В дело воспитания юных авторов Евгения Петровна внесла свой вклад. Не случайно канонизированные романтиками душевные страдания в критических статьях Валериана Майкова будут названы «женственными».¹ Что же касается Солоницына, то критиком романтического канона он выступил задолго до своего воспитанника. Разными средствами, главным образом пародийными, Солоницын добивался одной цели: предостеречь юных авторов от романтических «прикрас», от романтической позы, от эпигонства, которых нелегко было избежать в их возрасте, тем более в эпоху всеобщего увлечения «ложно-величавой» школой.

В домашнем кругу Майковых и в их рукописных изданиях ситуации, предвосхищающие проблематику романтического эпигонства в «Обыкновенной истории», проявились в многообразии и жизненной подлинности. Напомним широко известные наблюдения Ю. М. Лотмана: «Нам уже приходилось говорить о том, что романтическая модель поведения обладает особой активностью. Легко сводясь к упрощенным стереотипам, она активно воспринимается читателем как программа его собственного поведения. Если в реалистической ситуации искусство подражает жизни, то в романтической жизнь активно уподобляется искусству. Не случайно вертеры и демоны породили эпидемии подражания <...>. Для такого романтизма в варианте Грушницкого весьма типично, что поведение не вытекает из органических потребностей личности и не составляет с ней нераздельного целого, а “выбирается”, как роль или костюм, и как бы “надевается” на личность».²

Позиция Солоницына определеннее всего была заявлена в сатирическом, высмеивающем эпигонский романтизм «Сказании о великом поэте, который начал писать стихи и перестал писать стихи» (в «Лунных ночах»),³ а также

¹ См.: Майков В. Н. Критические опыты: (1845–1847). СПб., 1891. С. 394, 396.

² Лотман Ю. М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988. С. 321.

³ Текст опубликован: Солоницын В. А. Сказание о великом поэте, который начал писать стихи и перестал писать стихи / Публ. и комм. А. Ю. Балакина // *Лица* 2001. С. 501–519.

и в другой его пародийной вещи — «Похождениях рыцаря дон Родриго Родригеса-и-Химены и сподвижника его Михаила Тетдора» с подзаголовком: «Повесть времен XII столетия».¹ У этой немислимо затянутой, перегруженной «сенковщиной» повести, на первый взгляд, мало общего с фельетонно-острым «Сказанием...», если не считать свободного владения автором специфической (опять-таки в духе Сенковского) пародийной формой. Однако есть между ними и сходство. Предметом пародирования в обоих случаях служат жанры, к концу 1830-х утратившие злободневность: в «Сказании...» это романтическая (в частности, «восточная») поэма, в «Похождениях...» — романтический рыцарский роман (в частности, романы о Сиде). К чему, казалось бы, ополчаться на то, что уже сошло с литературной сцены? Между тем пародийная задача Солоницына по своему педантически выверена, хотя, быть может, отчасти и надуманна: в том и другом случае не только и не столько пародируются эпигонские приемы, сколько окарикурируется сам феномен эпигонства, так что равнение на «ветхие» жанры выглядит особенно смешно и нелепо.

«Сказание о великом поэте...» Солоницына опередило целый ряд произведений, пародирующих романтический тип поведения и претензию на поэтическую одаренность, — таких как «Без вести пропавший пиита» (1840) Н. А. Некрасова, «Приезжий из уезда, или Суматоха в столице» (1841) А. Ф. Вельтмана и др. Обратившись к теме «утраченных иллюзий», Солоницын почти на десятилетие опередил и автора «Обыкновенной истории», на которого, как полагал А. Мазон, его повесть «могла оказать некоторое влияние».²

Как на страницах «Подснежника», так и позднее, не оставляя роли учителя и наставника, Солоницын выступал за простоту и естественность, против выпренности и укра-

¹ *Подснежник* 1838. Л. 85—144.

² *Mazon A. Un maître du roman russe, Ivan Gontcharov: 1812—1891. P. 424—425.* Также см.: *Мельник В. И.* «Без вести пропавший пиита» в «Обыкновенной истории» И. А. Гончарова: К вопросу о типологических связях // *Карабиха: Историко-литературный сборник. Ярославль, 1993. Вып. 2. С. 139—145.*

шенности «слога и мысли». Бывшему сотруднику «Подснежника» его бывший редактор писал из Парижа 25 апреля 1844 года: «Все правила для писанья хороших романов, мне кажется, заключаются в том, что так как роман есть картина человеческой жизни, то в нем должна быть представлена жизнь как она есть, характеры должны быть не эксцентрические, приключения не чудесные, а главное, автор должен со всею возможною верностью представить развитие и факты простых и всем знакомых страстей, так чтобы роман его был понятен всякому и казался читателю как бы воспоминанием, поверкою или истолкованием его собственной жизни, его собственных чувств и мыслей» (15, 258). И продолжал: «Пишите же, почтеннейший Иван Александрович, просто, не вдаваясь ни в какие теоретические мечтания, пишите просто, под влиянием своего светлого ума, своего благородного сердца: уверяю Вас, что напишете вещь прекрасную» (15, 258–259).

Трезвый взгляд Солоницына, однако, и в простоте видел соблазн, точнее, предостерегал от крайностей и издержек «низкого» предмета и жанра, в частности и от иронического снижения «высокого». Пародийную «Решительность и независимость» Вордсворта (в переводе Е. Ф. Корша) редактор «Подснежника» предварил таким игровым и вместе морализующим комментарием:

Это стихотворение доставлено нам при следующем письме: «Господин редактор, — позвольте напомнить Вашим читателям, что Вордсворт большой чудака. Он хочет поэзии без фразеологии поэтической, хочет поэзии предмета, поэзии чувств и дум, им возбуждаемых, отменяя всякую красоту выражений, как белила и румяна. Мысль хороша, но не должно увлекаться ею. Бесприличие, конечно, имеет ту выгоду, что избавило бы нас от толпы стихотворцев, которых весь дар — в низании фраз; но не слишком ли хитро тускнить золото только для того, чтоб не сочли его позолотой? Такая лукавая простота хуже воровства. Не введи нас во искушение фразами, но избави и от лукавого просторечия».¹

¹ *Подснежник 1838. Л. 65.*

Будучи помощником Сенковского по «Библиотеке», Солоницын не мог не быть и его единомышленником. Неприятие опошленных романтических понятий, преследование «бранящих толпу» «русских Байронов», требование «естественности и простоты» слога соответствовали программным положениям эстетической «теории» его патрона.¹ Другое дело, что «теория» Сенковского, и прежде всего декларируемая им языковая простота, парадоксальным образом противоречила его же художественной практике — усложненности, вычурности фразы, экзотичности и эксцентричности сюжетов, в чем он и был постоянно изобличаем современниками.² Те же противоречия свойственны и Солоницыну, в своей фельетонной прозе копирующему, подчас излишне механистично, «хватскую» манеру Брамбеуса, главным образом, в «Медовом месяце» и рыцарских «Похождениях...».

Солоницын как будто воздержался от участия в известном преследовании Сенковским местоимений «сей» и «оный» (в майковских журналах эта «кампания» не оставила следов, исключая беглый намек в «Счастливой ошибке» Гончарова — см. ниже, с. 162—164), а кто только в эти годы не обыгрывал «криминальные» местоимения! Но нелюбовь редактора «Библиотеки» к «славянщине» Солоницын определенно разделял. «Сделай милость, — писал он Аполлону Майкову в Италию 28 апреля 1843 года, — избегай славянских оборотов и слов. Они иногда прекрасны, но не всегда: с ними надо обходиться, как с горчицею, которая очень приятно щекочет вкус в маленьких дозах, а если переложить, так обдерет рот. Напротив, у тебя беспрестанно *длань*, *власы*, *выя* и прочая. Это не хорошо. Ты пишешь не для про-

¹ См., например, один из манифестов Сенковского — «Обвинительные пункты против Барона Брамбеуса» (Библиотека для чтения. 1839. Т. 33. Лит. летопись. С. 44—46).

² См. подробнее: Зильбер В. <Каверин В. А.> Сенковский (Барон Брамбеус) // Русская проза: Сборник статей. Л., 1926. С. 179—188; Морозов В. Д. О. И. Сенковский и его «Библиотека для чтения» // Художественное творчество и литературный процесс. Томск, 1979. Вып. 2. С. 17—38; и др.

шлого века и даже не для одного настоящего: твои стихи должны пережить нас и наших детей и внуков; а когда будут жить наши правнуки, тогда эти формы совершенно истлеют, потому что от них и теперь уж воняет тухлятиной».¹

Домашнее зеркало «Подснежника» отразило многие реалии общелитературной ситуации рубежа 1830—1840-х годов, в том числе и характерную коллизию переходного времени — конфликт *чувствительных и холодных, идеалистов и людей положительных, мечтателей и эмпириков*. На страницах журнала это противостояние, обусловленное поллярными, но равно авторитетными для юных авторов позициями «старших» — Евгении Майковой и Солоницына — очевидно. Добросовестные попытки юных примирить «лед и пламень», стихи (пламенные) и прозу (сатирическую и пародийную) невольно создавали эффект двойственности. Это заметил в своем единственном выступлении на страницах журнала Н. А. Майков, указав на «двух настоящих литературных хамелеонов, А. Н. М* и В. Н. М*, которые, по прихоти своего разнообразного таланта, то представляют нам пламенные поэтические картины, то преследуют нас своею строгою и поучительною критикою».²

Элегики и мечтатели действительно бойко писали сатирическую прозу: Аполлон Майков в 1835 году опубликовал в «Подснежнике» сразу четыре живых и остроумных фельетона («Охота за повестями и анекдотами», «Дамы крысиного рода», «Сцены бальной атмосферы» и «Путешествие на Луну»). Два фельетона опубликовал Валериан Майков («Часовое дружество» и «Записки повадчика провинциальной уголовной палаты»). При этом черты эпигонства — та же гротескность в духе Сенковского наряду с у него же заимствованными стилистическими фигурами — присутствуют у обоих «хамелеонов», а сам Барон Брамбеус упоминается и в «Дамах крысиного рода», и в «Путешествии на Луну» — ученически восхищенной реплике Майкова на его «Фантастические путешествия». В дальнейшем фелье-

¹ РО ИРЛИ. Ф. 166. Оп. 5. № 68. Л. 1—1 об.

² *Подснежник* 1835. № 1. Л. 30 об.—31.



Рисунки Н. А. Майкова в «Подснежнике» за 1838 год

тонная проза юных авторов, заняв в «Подснежнике» и «Лунных ночах» значительное место, будет неизменно отзываться остроумием известного образца. Аполлон Майков напишет изящно стилизованные повести: «Рождение XIX столетия» (1838), где автору во сне являются ожившие и заговорившие фигуры и тропы риторики и пиитики, и «Покорение страны Семи пагод европейцами» (1839) — рассказ о гибели браминского монастыря, а затем и всей вос-

точной цивилизации от рыболовной эпидемии, начавшейся с «бедственной страсти» одного из монахов.¹ Валериан создаст сатирическую повесть «Жизнь и наука» (1839) с подзаголовком: «Бессмертное произведение» — о характерных философских крайностях, субъективном идеализме и физиологизме.

Через искушение фельетонной прозой Сенковского прошел и начинающий Гончаров, что редко отмечают исследователи его раннего творчества.

Но вернемся к редактору журнала. Еще одна красноречивая деталь к его портрету — доверенные страницам «Подснежника» исследования и документы (вероятно, из его личной коллекции), свидетельства серьезных исторических и археографических интересов Солоницына, сблизивших его позднее, в 1843 году в Париже с А. И. Тургеневым.² Он «публикует», к примеру, в 1835 году «без всяких отступлений от подлинника» отрывок из записок графа Ф. В. Ростопчина («Кончина императрицы Екатерины Второй»), официальное издание которых, «по разным причинам», как осторожно намекает Солоницын, едва ли скоро состоится. Показательны и анонимные (судя по всему, редакторские) материалы в «Смеси» в 1838 году: статьи-исследования «Административное разделение России во времена императрицы Елизаветы Петровны» и «Первые календари в России».

Наконец, в формуляре человека «положительного» и «аккуратного» необходимо сделать еще несколько записей. Солоницын не был чужд пафоса, патриотического и монархического по преимуществу, с резко иной раз звучащими охранительными интонациями. Достаточно знакомства с его повестью «Царь — рука Божья», проникнутой идеей провиденциальности монаршей воли и власти (не случайно она попала в «Москвитянин»), чтобы в этом убедиться. Во славу тех же идей явились в домашнем журнале и панегирическое родословие Романовых, где полубогом

¹ Текст повести см. в разделе «Приложения».

² См. об этом: Гродецкая А. Г. Чувствительные и холодный: (В. А. Солоницын и семья Майковых) // *Лица* 2001. С. 63.

назван Петр, и дискредитирующая французскую «державу» наполеоновская генеалогия (см. выше). В чем Солоницын безусловно следовал охранительным идеям, так это в своей критической публицистике — тенденциозных статьях о французской литературе, французской квазинравственности и религиозности (см. анонимную статью «Ум и совесть» в «Смеси» в «Подснежнике» за 1838 год) и о французской революции (см. там же статью «Еще воспоминания о временах терроризма»; весь коллаж для «Смеси» в 1838 году, по всей видимости, был составлен редактором «Подснежника» единолично).¹

Утвердившееся представление о Солоницыне как прогрессисте и либерале-западнике² (не результат ли это обратной проекции на прототип образа Петра Адуева?) не вполне соответствует действительности. Семью Майковых отличал пылкий «русизм», горячий патриотический и монархический настрой — драгоценная семейная составляющая духовной биографии Аполлона Майкова, по собственным его признаниям,³ и Владимир Андреевич в этом семействе Майковых не уступал, что не мешало ему не погерценовски, конечно, но по-своему трезво и жестко судить о России и русских.

С поощрения редактора, надо думать, и страницы «Подснежника» одушевил *домашний* русский, московский (последнее тоже важно) патриотический энтузиазм. Особенно выразителен он в славящем императора «Гимне», коллек-

¹ *Подснежник* 1838. Л. 195—203 об.

² См., например: Пиксанов Н. К. Белинский в борьбе за Гончарова. С. 59, 63; Мельник В. И., Мельник Т. В. И. А. Гончаров в контексте европейской литературы. Ульяновск, 1995. С. 5.

³ См. в его известном письме к П. А. Висковатову (*Златковский М. Л.* Аполлон Николаевич Майков: 1821—1897. Биогр. очерк. С. 43; то же: Ф. М. Достоевский: Статьи и материалы. Пг., 1922. С. 270). Ср. также уже цитированное письмо Майкова к О. Ф. Миллеру от 3 нояб. 1871 г. с изложением семейного предания о том, как покидал Москву в 1812 г. его дед П. М. Гусятников, «горячий патриот» (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1978 год. Л., 1980. С. 178—179).

тивном сочинении младшего Солоницына, Аполлона и Вальериана Майковых:

...Примерный истины блюститель,
Блаженства нашего творец,
Он кроткий, Ангел наш Хранитель,
Наш друг, защитник и отец.
Мы с Ним узнали счастье рая,
В Нем Петр Великий ожил вновь...
О! сохрани ж нам Николая!
Он наша радость и любовь!¹

В «Гимне» уже почти узнаваем будущий автор небезызвестной «Коляски» (1854). Всесловное, массовое «обожание» императора Николая Павловича² — характерная черта времени, тем более в семье живописца, чью мастерскую император посещал лично.³ Гончарова это увлечение, стоит отметить, не коснулось.

Наконец, «суровый» Владимир Андреевич бывал и чувствителен, и сентиментален. Таков он в бесконечно длинных торжественно-грустных гекзаметрах «Эпилога», завершающего «Лунные ночи» и подводящего итог его домашней редакторской и воспитательной деятельности:

Труд мой окончен! — Бросаю перо, утомленное тихой,
Долгой работой, — и молча — один — как ревнивец, люблюсь
Вами, листки для меня драгоценные! — Много вам мыслей
Отдал я, много на вас положил я досуга златого:
Утренни зори не раз находили меня уже бодро,

¹ *Подснежник* 1835. № 3. Л. 90 об.

² Об «обожании» императора см., например: *Каменская М. Ф.* Воспоминания. М., 1991. С. 165—166; *Соллогуб В. А.* Повести. Воспоминания. Л., 1988. С. 419; и др.; ср. также в «Отце Сергии» Толстого.

³ Об участии Николая I в судьбе Н. А. Майкова см.: *Гайнцева Э. Г.* Николай Аполлонович Майков и его воспоминания. С. 145—146. Подробный рассказ о визите императора в мастерскую художника (который, возможно, был не единственным) содержится в письме от 6 апр. 1836 г. его отца Ап. Ал. Майкова в Москву — старшему сыну Ал. Ап. Майкову (*РО РНБ*. Ф. 452. № 423. Л. 20—21 об.).

Ложе оставив, сидящего; солнце вечернее также,
Пышный свой путь направляя в Балтийские волны, вседневно
Видело, как неусыпно тружусь я над вами; а ночью —
Ночью опять все про вас же я думал, очей не смыкая.

«Эпилог» обращен прежде всего к Евгении Петровне и рисует ее «доброй старушкой и бабушкой», показывающей внукам альманах, созданный трудами «старинного друга», не дожившего до семейной презентации:

Странный

Был человек: как захочет, бывало, и твердо решится
Что-нибудь сделать, так ежели дело то прямо зависит
Только от сил и трудов его, — сделает! Трудно ль, легко ли, —
Все пустяки! одолеет, дойдет, на своем уж поставит!
Вот, например, хоть бы эта красивая книжка: смотрите
Милые дети, какими узорами эти странички
Он изукрасил, каких он наделал затейных каемок,
Надпись над каждой статьей написал, как печатную, чисто,
Буквы заглавные вывел, фигур вокруг каждой особых
Нарисовал...¹

После 1839 года «домашние» литераторы выходят на страницы открытой печати. И Солоницын этому активно содействует. В «Библиотеке для чтения» в пору его соредакторства публикуются Аполлон Майков (регулярно), Яков Щеткин, Солоницын-младший.² Е. П. Майкова выносит на суд читателей «Библиотеки» стихотворения «Поэт», «Две жизни», «Тайна».³ Кроме того, в «Сыне отечества» печата-

¹ *Лунные ночи*. Л. 178—178 об. Дата под текстом: 4 июля 1839 г. — день рождения Солоницына. Полный текст «Эпилога» см. в разделе «Приложения».

² В. Ап. Солоницыну принадлежат 9 стихотворений, опубликованных под криптотимом «С.» в «Библиотеке для чтения» в 1841—1843 гг.; атрибуцию см.: *Кийко Е. И.* Об авторе стихотворений, ошибочно приписывавшихся Салтыкову-Щедрину // Вопросы изучения русской литературы XI—XX веков. М.; Л., 1958. С. 313—315.

³ Библиотека для чтения. 1841. Т. 48. № 9; Т. 49. № 11; 1842. Т. 50; подпись: «Е. М....ва».

ется ее ответ на послание Бенедиктова «К женщине» — «От женщины В. Г. Бенедиктову».¹

Какие-то «компиляции и переводы» с помощью того же Солоницына мог опубликовать в «Библиотеке» в начале 1840-х далеко не самый юный, но самый неуверенный в своем литературном призвании сотрудник «Подснежника» и «Лунных ночей» — Иван Александрович Гончаров. В черновой редакции мемуаров «В университете», вспоминая послеуниверситетские годы, он писал: «Тогда я почувствовал смутное влечение к перу, много переводил, больше для себя, без всякой цели. Но иногда случалось, очень редко, через одного знакомого сотрудника “Библ<иотеки> для чт<ения>” (под редакцией Сенковского) напечатать несколько компиляций и переводов».² Напомним, что об опубликованных без подписи «статьях различного содержания» Гончаров сообщал и в Автобиографии 1858 года. Эти анонимные публикации до сих пор остаются неизвестными.

¹ Сын отечества. 1840. № 5. Кн. 1. С. 5—10; подпись: «Е. М.» Первоначально два отрывка из бенедиктовского послания и ответ Майковой появились в «Лунных ночах» (*Лунные ночи*. Л. 98 об.—101).

² *РО РНБ*. Ф. 209. № 4. Л. 23 об.; в печатный текст «Воспоминаний» не вошло.

ГЛАВА 2

«ДОМАШНИЕ» СТИХИ И ПРОЗА ГОНЧАРОВА

При отсутствии писем Гончарова университетской и послеуниверситетской поры (первое из сохранившихся, как уже говорилось, относится к началу октября 1842 года), при малочисленности позднейших автодокументальных свидетельств, по немногим дошедшим до нас ранним произведениям достаточно трудно составить целостное представление о начальном этапе его творчества. Немногое «вычитывается» и из трех опубликованных Гончаровым Автобиографий. До сих пор, в частности, нет однозначного ответа на вопрос, действительно ли, как утверждал Г. Н. Потанин, «Гончаров в юности был такой же восторженный мечтатель, как все мы, юноши тридцатых и сороковых годов»,¹ и, следовательно, в какой степени автобиографичен

¹ Ср.: «Что касается мировоззрения и взгляда на жизнь, то положительно можно сказать, что Гончаров в юности был такой же восторженный мечтатель, как все мы, юноши тридцатых и сороковых годов, да иначе и быть не могло. Время было такое — эпоха самого крайнего романтизма в Европе и в нашей молодежи. Сам трезвый Белинский, говорят, по приезде в Москву, сначала писал самые восторженные статьи. Громадное влияние Карамзина, Жуковского, Пушкина, который был тогда в зените славы, — все это, конечно, сильно действовало на нашу молодежь, а тут еще направление философии, идеалы Шиллера, обожание сумасброда Гофмана, и доходили мы до того, что зачитывались и восторгались Марлинским. И Гончаров, конечно, как все мы, юноши того времени, восторженно читал Марлинского или выписывал себе лучшие места, как я: «Багряные облака, точно огненные думы, толпятся вокруг чела твоего, неприступный утес св. Елены... Экватор опирается на твои рамены, сизые

созданный им в «Обыкновенной истории» образ провинциального «мечтателя».

В качестве свидетельств пережитого Гончаровым романтического периода в научной и биографической литературе обычно рассматриваются переведенный им отрывок из романа «Атар-Гюль» Э. Сю, представителя французских «неистовых», и традиционные по условно-романтической тематике и фразеологии ранние стихотворения. Однако редактор «Телескопа» Н. И. Надеждин, поместивший в 1832 году на страницах своего журнала гончаровский перевод, был, как хорошо известно, противником русских и европейских романтиков (его называли «московским классиком»)¹ и публиковал «неистовых» (В. Гюго, А. Дюма, Э. Сю и др.) с целью их дискредитации. Стихи же сам Гончаров расценивал впоследствии лишь как дань традиции и моде и следствие естественной в юности потребности самовыражения.²

волны океана, как столетия, расшибаются о твои стопы, и сердце твое — гроб Наполеона, заклеянный таинственным иероглифом рока!» Вот чем восторгались мы в то время» (*Потанин Г. Н.* Воспоминания об И. А. Гончарове // *И. А. Гончаров в воспоминаниях современников* / Вступ. ст. А. Д. Алексеева; подгот. текста и примеч. А. Д. Алексеева и О. А. Демиховской. Л., 1969. С. 30—31). Сведениям Потанина, как известно, нельзя доверять; о степени достоверности его воспоминаний см.: *Трофимов Ж. А.* «Воспоминания» Гавриила Потанина // *Трофимов Ж. А.* Наш Гончаров: Поиски. Находки. Исследования. Ульяновск, 2007. С. 181—188.

¹ См.: *Замотин И. И.* Романтизм двадцать годов XIX столетия в русской литературе. Варшава, 1903. Т. 1. С. 329—342; *Манн Ю. В.* 1) Факультеты Надеждина // *Надеждин Н. И.* Литературная критика. Эстетика. М., 1972. С. 15—27; 2) *Поэтика русского романтизма.* М., 1976. С. 113.

² «Писание стихов было тогда дипломом на интеллигенцию», — признавался писатель в статье «Лучше поздно, чем никогда» (1980; 8, 110). И в письме к вел. кн. Константину Константиновичу от января 1884 года обобщал: «Юность и прежде, с старых времен, и теперь начинает стихами, а потом, когда определится род таланта, кончает часто прозой, и нередко не художественными произведениями, а критикой, публицистикой или чем-нибудь еще» (Цит. по: *К. Р. Переписка.* СПб., 1999. С. 89).

В опыте гончаровского поколения — у Белинского, Герцена, Огарева, Тургенева, Некрасова, Панаева и многих других — преодоление собственного юношеского романтизма составляло необходимый и далеко не безболезненный этап. Творческая эволюция Гончарова как «человека тридцатых годов» не вполне укладывается в общую для поколения схему. Авторская ирония по отношению к героям-романтикам в повестях «Лихая болезнь» и «Счастливая ошибка», отделенных от стихотворений всего тремя-четырьмя годами, ироническое использование в них важнейших идейно-стилевых элементов романтического канона говорят о том, что идеализмом и мечтательностью автор повестей был «заражен» куда менее своих современников. Во всяком случае, его «отрезвление» произошло раньше и безболезненнее, чем у многих из них. «Как художник, — отмечает Е. А. Краснощекова, — Гончаров самоопределился раньше, чем многие его современники. К примеру, когда были написаны очерки “Иван Савич Поджабрин” (1842) с их очевидными приметами натурализма 40-х годов <...>, Тургенев еще писал романтические стихотворения, а Некрасов сочинял развлекательные рассказы, повести и водевили».¹

Эстетическую установку Гончарова в его ранних повестях, по сложившейся в научной литературе традиции, принято расценивать как антиромантическую. Однако интерпретации ранних произведений Гончарова должна сопутствовать особая исследовательская осторожность. Не стоит забывать, что это неопубликованные произведения, известные только в рукописях (и не в автографах, а в копиях). Можно только предполагать, каким был бы их окончательный текст, прошедший этапы предпечатной доработки, те этапы, на которых у Гончарова, как и у большинства авторов, первоначальный замысел в значительной степени трансформировался. Следует учитывать и то, что начинающий автор был в немалой степени зависим от *домашнего*

¹ Краснощекова Е. А. Иван Александрович Гончаров: Мир творчества. СПб., 1997. С. 28.

контекста и от «издательской» политики рукописных журналов, в которых «публиковались» его произведения. Особой ответственности требует оценка авторской интенции в ранних повестях — во всей субъектно-модальной сложности этого понятия — по отношению к романтизму на его переходном этапе.

Заслуживает внимания в связи с этим позиция М. Я. Вайскопфа, предложившего учитывать концепцию В. Немояну, изложенную в его книге «Укрощение романтизма»,¹ где вся европейская литература 1820—1840-х годов, включая русскую, охватывается термином «бидермайер». В передаче М. Вайскопфа концепция В. Немояну представлена так: «Эта словесность рассматривается как набор компромиссов, направленных на некоторое “приручение”, одомашнивание раннего, или “высокого”, романтизма. Пафос смягчен здесь разговорно-доверительным тоном (пресловутая “болтливость” бидермайера), скитальчество — домашним уютом и теплом родного края, мелодраматическое напряжение — сатирой и самоиронией, бунт против разума и религиозная экзальтация — инерцией Просвещения, а горделивый индивидуализм — неосентименталистскими идиллиями, социально-филантропической дидактикой и ласковым вниманием к реалиям будничной жизни».² В массовой литературе этого времени, подчеркивает исследователь, собственно «романтических» нарративов не слишком много, преобладают скорее «булгаринщина» и «сенковщина», что и позволяет признать концепцию бидермайера вполне адекватной.

Проблема романтизма, ранее других «преодоленного» Гончаровым, далеко не однозначна. Писатель относил себя к последователям «идеального, ничем не сокрушимого направления», к категории «неизлечимых романтиков» («Если я романтик, то уже неизлечимый романтик, идеалист»), признаваясь: «...я принадлежу к числу тех натур, которые

¹ Nemoianu V. The Taming of Romanticism: European Literature and the Age of Biedermeier. Harvard UP, 1984.

² Вайскопф М. Влюбленный демиург: Метафизика и эротика русского романтизма. М., 2012. С. 8—9.

никогда и ни с чем не примирятся: разве идеал, то есть олицетворение его, возможно?» (1980; 8, 287).¹ По мысли Гончарова, высказанной в письме к И. И. Льховскому, если у человека «хоть немного преобладает воображение над философией, то является неутолимое стремление к идеалам, которое и ведет к абсолютизму, потом отчаянию, зане между действительностью и идеалом лежит <...> бездна, через которую еще не найден мост, да едва и построится когда» (1980; 8, 252—253).² И еще одно признание Гончарова в письме к С. А. Никитенко, особенно часто цитируемое, заслуживает напоминания: «С той минуты, когда я начал писать для печати (мне уже было за 30 лет и были опыты), у меня был один артистический идеал: это — изображение честной, доброй, симпатичной натуры, в высшей степени идеалиста, всю жизнь борющегося, ищущего правды <...> и, наконец, окончательно охлаждающегося и впадающего в апатию и бессилие...» (1980; 8, 318).³

Романтическое *двоемирие* выступает у Гончарова как органическая черта сознания и как культурная формула, не подчиненная, как видим, ни временным, ни возрастным, ни стилевым воздействиям. Романтическая оппозиция *идеала—действительности* сохраняет актуальность для всех трех его романов, формируя тип мировосприятия центральных персонажей. «Большие романы Гончарова, — отмечает эту закономерность В. А. Котельников, — это романы о *русском идеалисте*. Он всегда главный и, в сущности, единственный настоящий герой писателя».⁴ Задачу изображения «в высшей степени идеалиста» как «сверхзамысел» писателя, реализованный им в различных сюжетных вариантах, рассматривает в своей монографии и Е. А. Краснощекова.⁵ И даже в ничтожном Иване Савиче Поджабрине, герое раннего гончаровского очерка, как убедительно про-

¹ Из письма к С. А. Никитенко от 8 (20) июня 1860 г.

² Из письма к И. И. Льховскому от 5 (17) нояб. 1858 г.

³ Из письма к С. А. Никитенко от 21 авг. (2 сент.) 1866 г.

⁴ Котельников В. А. Иван Александрович Гончаров. М., 1993. С. 67.

⁵ Краснощекова Е. А. Иван Александрович Гончаров: Мир творчества. С. 14—17 и след.

демонстрировал М. В. Отрадин, «проявился “извечный” человеческий романтизм».¹ Самая радикальная концепция органичного для Гончарова романтизма принадлежит Б. М. Энгельгардту, писавшему: «Образ Гончарова как спокойного, уравновешенного бюрократа, представителя умеренности и аккуратности, разрушается до основания. Вместо него встает образ полубезумного, мятущегося, тоскующего, глубоко чуждого окружающему романтика, всю свою жизнь мечтавшего о “таинственных далях”. Мнительный и болезненно чувствительный, он прятал этот свой лик от всех окружающих под маской иронии и флегмы...».² Тяготя по природе своего творческого дара к широчайшим обобщениям, Гончаров делает героя-романтика, «в высшей степени идеалиста», в полном смысле слова *обыкновенным*,³ т. е. подлинно универсальным, общечеловеческим типом. Не раз, кроме того, отмечалось, что тексты Гончарова не свободны от романтической фразеологии.⁴

¹ Отрадин М. В. Первый «идеалист» Гончарова «Иван Савич Поджабрин» // Отрадин М. В. «На пороге как бы двойного бытия...»: О творчестве И. А. Гончарова и его современников. СПб., 2012. С. 5–25.

² «Путешествие вокруг света И. Обломова»: Главы из неизданной монографии Б. М. Энгельгардта / Вступ. ст. и публ. Т. И. Орнатской // *ЛН Гончаров*. С. 16.

³ О поэтике «обыкновенного» у Гончарова см.: Недзвецкий В. А. И. А. Гончаров — романист и художник. М., 1992. С. 5–12; Фаустов А. А. Обыкновенная, слишком обыкновенная история // Савинков С. В., Фаустов А. А. Аспекты русской литературной характеристики. М., 2010. С. 246–257; и др.

⁴ См.: Краснощекова Е. А. Гончаров и русский романтизм 20–30-х годов // Известия АН СССР. Отд. лит. и яз. 1975. Т. 34. № 4. С. 304–316; Тихомиров В. Н. 1) Традиции романтизма в творчестве Тургенева и Гончарова // Учен. зап. Курск. гос. пед. ин-та. 1968. Вып. 51. С. 72–86; 2) «Небывалый приток фантазии»: О романтической лексике в романе Гончарова «Обрыв» // Русская речь. 1975. № 3. С. 34–39; 3) И. А. Гончаров: Литературный портрет. Киев, 1991. С. 82 и след.; Карташова И. В. 1) О роли романтического элемента в романах Гончарова «Обыкновенная история» и «Обломов» // Уч. зап. Казанского ун-та. 1972. Т. 129. Кн. 7. С. 113–131; 2) И. А. Гончаров // Русский романтизм: Учебное пособие. М., 1974. С. 268–276; Манн Ю. В. Поэтика русского романтизма. С. 281–283; и др.

Ранние произведения — убедительный пример постоянства Гончарова-художника как в тематике, так и в композиционно-нарративных приемах. В 1830-е годы, можно сказать, формируется типология центральных персонажей его прозы, определяется и круг проблем, занимавших писателя на последующих этапах творчества, и ряд характерных особенностей гончаровской поэтики. Именно в ранней прозе возникает представление о двух «господствующих» типах мироощущения — *поэтическом* и *прозаическом*; оформляется ключевой в творчестве писателя образ *жизни—сна*, важнейшая в структуре произведений зрелого Гончарова оппозиция *беспокойства—покоя*. А это также, возвращаясь к сказанному выше, одна из ключевых романтических оппозиций. Опорные романтические категории и «простейшие оппозиции», как их определил Ю. В. Манн,¹ сохраняются в качестве структурных элементов в большинстве гончаровских текстов. Они, разумеется, проходят сложный процесс трансформации, в одних случаях сохраняя, в других существенно обновляя исходные смыслы и функции. В «Лихой болезни», например, антитетичность *беспокойства* и *покоя* намеренно усилена, оба состояния поданы в комически утрированных крайностях. Стремление к изображению крайних, полярных позиций в контрастных структурах сохранится в прозе Гончарова и позднее, что вполне очевидно прежде всего в персонажных парах, каковы дядя и племянник Адуевы, Обломов и Штольц, Вера и Марфинька и др. И сам принцип *оппозитивности*² останется в его прозе одним из опорных конструктивно-смысловых прин-

¹ Манн Ю. В. Поэтика русского романтизма. С. 19.

² См. о системе оппозиций в прозе Гончарова: Ehre M. *Oblomov and his Creator: The Life and Art of Ivan Goncharov*. Princeton (New Jersey), 1973. P. 195—219; Табориская Е. М. Анализ оппозиций как средство изучения авторского сознания: (На материале романа И. А. Гончарова «Обломов») // Проблема автора в худож. литературе. Ижевск, 1974. Вып. 1. С. 101—117; Постнов О. Г. Эстетика И. А. Гончарова. Новосибирск, 1997. С. 113 и след.; и др. См. также главу «Основные разновидности образных сцеплений», в которой речь идет о принципах контраста и подобия: Недзвецкий В. А. Роман И. А. Гончарова «Обломов»: Путеводитель по тексту. М., 2010. С. 61—154.

ципов — вплоть до оппозиции *образ—идея* в поздних критических статьях. Именно во взаимоотражении компонентов оппозиций будут уточняться их смысловые оттенки: в разных контекстах *покой* может быть понят и как цельность, самодостаточность, самотождественность (покой Обломова, согласно известной дневниковой записи М. М. Пришвина, «таит в себе запрос на высшую ценность»¹), и как бездеятельность, ограниченность, мертвенность; *беспокойство* может предстать в широком смысловом спектре, от энтузиазма и творческого воодушевления до суетности и дробности, отсутствия цельности.

Естественной авторской стратегией при использовании структурных оппозиций становится дистанцирование от каждой из «сторон», находящихся в отношениях оппозитивности. Автор как будто наблюдает процесс взаимодискредитации и взаимодополнения противостоящих «сторон». В прозе Гончарова 1830-х годов формируется специфическая «позиция неприсоединения» автора-повествователя, чья трезвая объективность не предполагает не только аффектации или сатирико-обличительного пафоса, но и отчетливо выраженного авторского сочувствия персонажам. Принцип оппозитивности способствует «чрезмерной объективации» подобной позиции, что не раз отмечалось в литературе о Гончарове, которая может оборачиваться уклончивостью и релятивизмом.² Анализ ранних текстов создает, таким образом, основу для определения и описания ряда важнейших констант поэтики писателя.

Ранняя проза не менее цитатна, чем гончаровские романы: тексты изобилуют ссылками на прочитанного еще в детские годы Тассо, реминисценциями из Карамзина, Жуковского, Крылова, Пушкина, Грибоедова, Гоголя. Не только

¹ Пришвин М. М. Дневники. 1920—1922. М., 1995. С. 166 (запись от 15 апреля 1921 г.). См. также: Котельников В. А. «Покой» в религиозно-философских и художественных контекстах // Русская литература. 1994. № 1. С. 30—32.

² См.: Бухаркин П. Е. «Образ мира, в слове явленный»: (Стилистические проблемы «Обломова») // От Пушкина до Белого: Проблемы русского реализма XIX — начала XX века: Межвуз. сб. СПб., 1992. С. 133.

неизменные для Гончарова литературные авторитеты составляют в данном случае цитатный фонд (авторитетность, впрочем, не препятствует тому, чтобы великие предшественники и современники цитировались в комическом или ироническом контексте). Начиная автор на страницах домашних изданий выступает как вполне равноправный, искушенный в обстоятельствах литературно-критических баталий 1830-х годов полемист. В его ранних произведениях немало иронических выпадов в духе критики и публицистики «толстых» журналов этой поры, метящих в Н. А. Полевого, Ф. В. Булгарина, А. А. Орлова, О. И. Сенковского и других.¹ Адресно направленная литературная полемика останется особенностью ранних произведений. В более поздних текстах полемически окрашенная литературная злободневность утратит актуальность, главной творческой задачей писателя станет создание универсальных характерологических моделей — как путь к познанию природы человека, ее бытийных основ.

СТИХИ ГОНЧАРОВА В «ПОДСНЕЖНИКЕ» И ЭЛЕГИИ АЛЕКСАНДРА АДУЕВА В «ОБЫКНОВЕННОЙ ИСТОРИИ»

Лиризм был совсем чужд Гончарову; не знаю, может быть, в юности он и писал стихи, как Адуев младший, но, в таком случае, вероятно, у него был и благодетельный дядюшка, Адуев старший, который своевременно уничтожал эту поэзию.

Ин. Анненский.

Гончаров и его Обломов.²

Ни в одном из автобиографических свидетельств Гончаров не счел возможным упомянуть о своих ранних поэ-

¹ См. подробнее: 1, 640—644, 652—656 (примеч. А. Г. Гродецкой).

² *Анненский И. А.* Гончаров и его Обломов // *Анненский И. А.* Книги отражений. М., 1979. С. 252—253 («Лит. памятники»).

тических опытах. Более того, в письме к вел. князю Константину Константиновичу от января 1884 года, уже цитированном, утверждал, что за стихи «никогда не брался». Между тем давно установлено, что первой его «публикацией» на страницах рукописного «Подснежника» за 1835 год были четыре поэтических текста: «Отрывок. Из письма к другу», «Тоска и радость», «Романс» и «Утраченный покой». Авторство Гончарова не вызывает сомнений: среди сотрудников журнала никто, кроме него, не мог подписать свои сочинения инициалом «Г.», а именно так — «Г.....» (т. е. «Гончаровъ») под первым и «Г.» под тремя остальными, подписаны четыре стихотворения, что и послужило для А. П. Рыбасова главным аргументом при их атрибуции и публикации.¹

Стихотворения Гончарова — важнейшее свидетельство его творческой самоидентификации на раннем этапе, позволяющее судить о степени зависимости начинающего автора от господствовавших в то время стилевых норм. Откровенно подражательные, его стихи следуют тематическим, образным, фразеологическим шаблонам массовой поэзии 1820—1830-х годов, а декламационностью и некоторой архаичностью лексических и синтаксических форм напоминают и более ранние образцы. В целом стихотворения Гончарова не ориентированы на конкретные тексты конкретных авторов (исключая, может быть, стихотворение «Утраченный покой») и в этом сопоставимы и с ранними опытами Некрасова в сборнике «Мечты и звуки» (1840), подражательность которых «сводилась к воспроизведению общих, типовых форм массовой журнальной поэзии»,² и с юношескими стихами Фета в «Лирическом пантеоне» (1840) — «сборнике перепевов прочитанных стихов», с преобладанием «темы “холодного разочарования”».³

¹ Гончаров И. А. Неизданные стихи / Публ. А. П. Рыбасова // Звезда. 1938. № 5. С. 243—245. Ср.: 1, 21—25, 626—630 (подгот. текста и примеч. А. Г. Гродецкой).

² Вацуро В. Э. Примечания // Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Л., 1981. Т. 1. С. 644.

³ Бухштаб Б. Русские поэты. Л., 1970. С. 78; ср.: Бухштаб Б. Я. А. А. Фет: Очерк жизни и творчества. 2-е изд. Л., 1990. С. 19.

Не находит подтверждения сложившееся в научной литературе мнение о подражании Гончарова Бенедиктову.¹ Первый сборник Бенедиктова вышел в свет в 1835 году,² ему предшествовала единственная публикация в 1832-м — стихотворение «К сослуживцу».³ До 1835 года Бенедиктов как поэт практически не был известен. В «Подснежнике» за 1835 год его стихи отсутствуют, появляясь на страницах майковского журнала лишь в следующем, 1836 году. Едва ли поэзия Бенедиктова могла оказать на Гончарова столь стремительное воздействие.

Феномен исключительного успеха Бенедиктова, возникший после публикации его первого сборника, когда о нем восторженно отзывались В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, Ф. И. Тютчев, Я. П. Полонский, И. С. Тургенев, Н. А. Некрасов, Ап. Григорьев, А. А. Фет, детально исследован Л. Я. Гинзбург.⁴ Создатель и разработчик стиля *вульгарного романтизма* (Тургенев, который сам «упивался этими стихотворениями»,⁵ позднее назовет этот стиль «ложно-вели-

¹ См.: Бродская В. Б. Наблюдения над языком и стилем ранних произведений И. А. Гончарова // Вопросы славянск. языкознания. Львов, 1949. Кн. 2. С. 141—144; Цейтлин 1950. С. 34; Setchkarev Vs. Ivan Goncharov: His Life and his Works. Wurzburg, 1974. P. 16.

² Стихотворения Владимира Бенедиктова. СПб., 1835 (ценз. разрешение — 4 июля).

³ Литературные прибавления к «Русскому инвалиду». 1832. № 5. 16 янв. С. 39; подпись: В. Б—в.

⁴ См.: Гинзбург Л. Я. О лирике. 2-е изд., доп. Л., 1974. С. 107—126; также: Гинзбург Л. Я. Пушкин и Бенедиктов // Гинзбург Л. Я. О старом и новом: Статьи и очерки. Л., 1982. С. 109—152.

⁵ В «Воспоминаниях о Белинском» Тургенев писал: «Стихотворения Бенедиктова появились в 1836 году маленькой книжечкой с неизбежной виньеткой на заглавном листе — как теперь ее вижу — и привели в восхищение всё общество, всех литераторов, критиков, всю молодежь. И я, не хуже других, упивался этими стихотворениями, знал многие наизусть, восторгался “Утесом”, “Горами” и даже “Матильдой на жеребце”, гордившейся “усестом красивым и плотным”. <...> Прошло несколько времени — и я уже не читал Бенедиктова. Кому же не известно теперь, что мнения, высказанные тогда Белинским, мнения, казавшиеся дерзкой новизною, стали всеми принятым, общим местом — “a truism”, как выражаются англичане?

Ах, скоро ли вернется
Развученка весна?

*

Тогда мы будем в поле
Цвётоткалами играть,
И в беззаботной доле
Как бабочки порхать,

*

Плести из розъ венокки,
И маленькы дарить.
О милые цвётотки,
Какъ много вамъ не любить!

*

Вы божьи создания,
Краса Его полей;
Не вы из окованья
Моихъ счастливыхъ дней!

Волода.

ОТРЫВОКЪ

изъ письма къ другу.

*

Не утѣшай меня, мой другъ!
Не утѣшай моей печалью!
Ты самъ изводишь свой недугъ
Въ тотъ же часъ, когда ее выгнали.
Ты знаешь, горько и сильно
Тогда бываетъ утѣшенье,

Стихотворение Гончарова
«Отрывок. Из письма к другу», первый лист

чавой» школой), Бенедиктов овладел «эффектными темами романтической поэзии», «приподнятой романтической фразеологией», соединив с ней «галантерейный язык», «просторечие чиновничьей гостиной и приемной».¹ Белинский во второй статье о Бенедиктове, написанной в 1842 году в связи с новым изданием его первого сборника, когда стал ясен «сезонный» (Л. Я. Гинзбург) характер его успеха, так определил сферу влияния его поэзии: «...поэзия г. Бенедиктова не поэзия природы, или истории, или народа, — а поэзия средних кружков бюрократического народонаселения Петербурга. Она вполне выразила их, с их любовью и любезностью, с их балами и светскостью, с их чувствами и понятиями, — словом, со всеми их особенностями, и выразила простодушно-восторженно, без всякой иронии, без всякой скрытой мысли...».²

Подражать Бенедиктову Гончаров в своих четырех стихотворениях не мог просто в силу хронологических несовпадений. Влияние Бенедиктова не подтверждается и на стилистическом уровне. Эффектные метафоры, резкие парадоксы Бенедиктова, как и разнообразные динамичные метрико-ритмические модели его стихов, не имеют аналогий у Гончарова. Близка, и то лишь отчасти, общеромантическая лексика и фразеология.

Явными эпигонами Бенедиктова в «домашних» изданиях Майковых выступили юные поэты — Владимир Солоницын (младший) и в еще большей степени Яков Щеткин, однако и в их стихах подражательные элементы появляются далеко не сразу. Влияние Бенедиктова очевидно, например, в стихотворении Солоницына «Просьба моря» в «Подснежнике» за 1838 год³ и стихотворениях Щеткина «Разва-

Под *этот* приговор подписалось потомство, как и под многие другие, произнесенные тем же судьей» (*Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. 2-е изд., испр. и доп. Соч.: В 12 т. М., 1983. Т. 11. С. 22). В 1836 г. «Стихотворения» Бенедиктова вышли вторым изданием.

¹ Гинзбург Л. Я. О лирике. С. 115.

² Белинский. Т. 5. С. 349—350.

³ Подснежник 1838. Л. 175 об.—176.

лины», «К древнему мечу», «Душа», «Орел» в 1839 году в «Лунных ночах».¹ В качестве иллюстрации откровенного эпигонства можно привести заключительные строки стихотворения Щеткина «Душа»: «Полон света, полон славы, / Блеща дивной красотой, / Купол неба величавый / Опрокинут над землей».² Начинаящий поэт повторяет известный бенедиктовский образ из стихотворения «Облака» (1835), сохраняя и метрико-ритмический рисунок оригинала; ср.: «Снова ясно, вся блистая, / Знаменуя вешний пир, / Чаша неба голубая / Опрокинута на мир».³

Неубедительно и высказывавшееся в специальной литературе мнение о зависимости ранних стихотворных опытов Гончарова от поэзии Лермонтова.⁴ Основанное главным образом на том, что на первом курсе словесного отделения Московского университета Гончаров учился вместе с Лермонтовым, мнение о его влиянии на Гончарова вступает в противоречие с фактами. Гончаров, по собственному признанию, не только не знал Лермонтова как поэта, но и не был с ним в университетские годы знаком. В воспоминаниях «В университете» он отметил: «Между прочим, — тут был и Лермонтов, впоследствии знаменитый поэт, тогда смуглый, одутловатый юноша, с чертами лица как будто восточного происхождения, с черными выразительными глазами. Он казался мне апатичным, говорил мало и сидел всегда в ленивой позе, полулежа, опершись на локоть. Он не долго пробыл в университете. С первого курса он вышел и уехал в Петербург. Я не успел познакомиться с ним» (1980; 7, 236). Лишь немногие близкие друзья поэта, как

¹ *Лунные ночи*. Л. 34—35 об., 59 об.—60, 75—75 об., 101 об.—102.

² Там же. Л. 75 об.

³ *Бенедиктов В. Г. Стихотворения*. С. 69.

⁴ См.: *Пиксанов Н. К. Белинский в борьбе за Гончарова*. С. 60; *Демиховская О. А. Раннее творчество И. А. Гончарова* // *Материалы юбилейной Гончаровской конференции*. Ульяновск, 1963. С. 66; *Udolph L. Goncarovs Anfänge* // *Ivan A. Gončarov. Leben, Werk und Wirkung: Beiträge der I Internationalen Gončarov-Konferenz*. Bamberg, 8.—10. Oktober 1991 / Hg. von P. Thiergen. Köln; Weimar; Wien, 1994. S. 159.

РОМАНСЪ.



Весны пора прекрасная мимуса,
Исчезъ навьюкъ волшебный мигъ любви;
Она въ груди могильный снакъ уткнула
И тайноженья не пробожситъ въ крови.

На алтарь ея осиротѣло
Давно другой купидъ воздвигнувъ я.
Молитъ ещѣ — но, съ сердцемъ охладѣвшимъ,
Не скраситъ онъ путь грустный бытия.

Плещавія бездущныя металки
Не дадутъ мнѣ радости былой!
Такъ осень пожелтѣвшими листами
Не дадутъ цвѣтѣвъ весны златой.

Какъ съ юныхъ цвѣтъ грубѣея вокругъ спорилъ
И заискивалъ ихъ смерти страшный смѣхъ,
Такъ и пора прекрасная мимуса,
Такъ и возврата ей, цвѣтъ! чуждъ негъ.

§.

ЗАГАДКА.

Написана А. А. Майковъ.

Впередъ не двигайся и встать не обращай;
Богатство свѣтло встань изъ щедрого ручья;
Но гдѣ его беру и члѣнъ питаюсъ,
Доисъ не могу постигъ члѣнъ смертныя никакой.

известно, имели представление о его юношеской лирике и поэмах. Первое серьезное выступление Лермонтова в печати — поэма «Хаджи Абрек» — относится к 1835 году.

По мнению О. А. Демиховской, влияние Лермонтова «особенно чувствуется» в стихотворении Гончарова «Отрывок. Из письма к другу», в частности, в «поэтическом параллелизме стихийности бури и душевных волнений».¹ Исследовательница процитировала Гончарова:

Попробуй в страшный бури час
Борьбу стихий унять словами
И заглушить громовый глас
Своими робкими устами;
Скажи волнам недвижно лечь,
Когда их буйный ветер роеет;
Когда пучина дико воет,
Вели водам смиренно течь.
Безумно будет то веленье!
Так и душевного волненья
Не укротишь порывов вдруг! (1, 21).

В качестве ближайшей параллели ему был предложен набросок юношеской поэмы Лермонтова «Исповедь» (1830—1831):

Когда над бездною морской
Свирепой бури слышен вой
И гром гремит по небесам,
Вели не трогаться волнам
И сердцу бурному вели
Не слушать голоса любви!..²

Однако лермонтовский набросок был впервые опубликован в «Отечественных записках» только в 1859 году, в списках 1830-х годов он неизвестен.³ Факт знакомства с ним

¹ Демиховская О. А. Раннее творчество И. А. Гончарова. С. 66.

² Там же.

³ См.: Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С. 202; Описание рукописей и изобразительных материалов Пушкинского Дома. М., 1953. Вып. 2: М. Ю. Лермонтов. С. 20.

Гончарова практически исключен, а параллелизм *бури в сердце и бури в природе* является одной из общеромантических поэтических формул, восходящих к поэзии Байрона¹ и широко использовавшихся до Лермонтова.

Мнение о подражании Гончарова Бенедиктову и Лермонтову утвердилось в научной литературе главным образом вследствие ошибочной датировки его ранних стихотворений не 1835-м, а 1835—1836 годами (см. выше, с. 55).

Более естественно, учитывая многочисленные свидетельства Гончарова о его юношеском «поклонении» Пушкину, искать в его ранних стихах отголоски этого увлечения. Возможно, пушкинскими рифмами подсказаны рифмы *печали/венчали* и *порукой/мукой* в стихотворении «Отрывок» («Не утешай меня, мой друг! / Не унимай моей печали! / Ты сам изведаль свой недуг / В тот час, когда ее венчали...»; «Есть чувств возвышенных чета: / Они бессмертья нам порукой, / И жизнь без них была бы мукой...» — 1, 20—21). Следовать Пушкину Гончаров мог и в стихотворении «Тоска и радость», изображая внезапную смену лирической эмоции:

Зато случается порой
Иной в нас демон поселится:
То радость пламенной струей
Без зова в душу протеснится;
И затрепещет сладко грудь.
Помянем легкими мечтами
Прошедшего забытый путь;
Вдали ж, пред светлыми очами,
Мелькнет надежд блестящий рой.
И очарует нас собой

¹ См.: *Жирмунский В. М.* Байрон и Пушкин. Пушкин и западные литературы. Л., 1978. С. 152—153. Ср. также: «Широкое распространение в русской поэме приобрел излюбленный байроновский параллелизм: душевные переживания центрального персонажа — буря в природе. Только буря (а также родственные ей явления) способны служить достаточным эквивалентом душевных волнений персонажа в моменты отчуждения» (*Манн Ю. В.* Поэтика русского романтизма. С. 105).

Ряд чудных, сладостных видений;
А в настоящем окружит
Толпа веселых сновидений;
И как всё ярко заблестит!
И как тогда весь мир прекрасен,
Как жизни путь и тих, и ясен! (1, 23).¹

Как отметил в свое время А. П. Рыбасов: «В стихах Гончарова нетрудно заметить и подражание пушкинской интонации. Несмотря на внешнюю их “гремучесть”, стихи не лишены искренности».²

Вместе с тем пушкинские «вкрапления» не являются определяющими в стилистике ранних гончаровских поэтических опытов. Стихотворение «Романс» представляет собой типичный образец «унылой» элегии в ее романсной жанровой форме, широко распространенной в поэзии 1820—1830-х годов. «Утраченный покой» подражает популярному у русских романтиков стихотворению Шиллера «Resignation» (1784), которому тематически близки отдельные мотивы его не менее популярных «Идеалов» (1795).

Стихи Гончарова принадлежат бытовой элегической традиции,³ как и большая часть стихов в майковских рукописных журналах. На типовых элегических мотивах быстротечности времени, бренности земных благ, одиночества, утраты иллюзий построены помещенные в «Подснежнике»

¹ Сравним у Пушкина в стихотворении «К ней» (1817): «Но вдруг, как молнии стрела, / Зажглась в увявшем сердце младость, / Душа проснулась, ожила, / Узнала вновь любви надежду, скорбь и радость. / Всё снова расцвело! Я жизнью трепетал...».

² Рыбасов А. П. И. А. Гончаров. М., 1957. С. 35. Влияние Пушкина в немалой степени отразилось и на лирике юных поэтов домашних изданий. Пушкинскому «Певцу» («Слыхали ль вы за роцей глас ночной...», 1816) подражал, например, младший Солоницын в сонете «Весеннее чувство»:

Слыхали ль вы, за роцей отдаленной
Певца любви и неги — соловья,
Когда он пел, природой вдохновленный,
И песнь его журчала, как струя? (Лунные ночи. Л. 168).

³ См. подробнее: Вацуро В. Э. Лирика пушкинской поры: «Элегическая школа». СПб., 1994.

за 1835 год анонимные «Элегия» и «Позднее раскаяние», также «Разочарование» Евг. Майковой, «Разочарованье» Ап. Майкова (см. этот текст выше, с. 76) и другие. «Элегическая поэтика — поэтика узнавания. И традиционность, принципиальная повторяемость являются одним из сильнейших ее поэтических средств».¹ Ситуация разочарования, формировавшаяся как в русле элегической традиции, так и под влиянием творчества Байрона («Все герои Байрона разочарованы, и поэт дает подробное описание их душевного состояния...»²), уже во второй половине 1820-х годов стала общим местом, превратилась в *готовую* поэтическую формулу и позднее неоднократно пародировалась.

На общем фоне индивидуальной особенностью стихов Гончарова стоит признать то, что было отмечено еще их первым публикатором: в них «не абсолютизируется разочарование, конфликт между человеком и жизнью».³ Это мнение разделял и Н. И. Пруцков, писавший о стихотворении «Тоска и радость»: «Выраженные в нем разочарование, тоска и сомнения не ведут к безысходному конфликту с миром, не возводятся в абсолютный принцип восприятия действительности, а сменяются оптимистическим прославлением красоты жизни, земных радостей».⁴ Состояние тоски и радости у молодого Гончарова, таким образом, даны в относительном равновесии, предстают эмоционально взаимодополняющими, сбалансированными. И не сохранится ли этот изначально лишенный «безысходной конфликтности» баланс в его позднейшем прозаическом творчестве?

Все четыре стихотворения Гончарова (еще раз отметим это) относятся к 1835 году. В первом из них («Отрывок. Из письма к другу») типичными для поэтического стиля времени были как *эпистолярность*, так и *отрывочность*. Можно привести в качестве примера классическое «Невыразимое» (1819) Жуковского с подзаголовком «*Отрывок*», «квинтэс-

¹ Гинзбург Л. Я. О лирике. С. 29.

² Жирмунский В. М. Байрон и Пушкин. Пушкин и западные литературы. С. 154.

³ Звезда. 1938. № 5. С. 246; ср.: Рыбасов А. П. И. А. Гончаров. С. 35.

⁴ Пруцков Н. И. Мастерство Гончарова-романиста. М.; Л., 1962. С. 5.

сенцию» его романтической философии.¹ В соответствии с канонами романтической эстетики отрывки и неоконченные произведения служили формой выражения непосредственности чувства. Над литературой, «заваленной *отрывками*», иронизировал, например, Н. Полевой: «Наша русская литература донныне состоит из *отрывков*; по крайней мере, главное содержание оной составляют отрывки литературы французской, немецкой, английской и проч., и проч. Сочинения новых наших поэтов (не говоря о *немногих* исключениях) суть сборники отрывков из Байрона, Гёте, Ламартина, Делавиня, Шиллера и проч. Мы любим журналы и альманахи не потому ли, что это *сборники отрывков*. Наконец, без всяких фигур, наша словесность завалена *отрывками* из поэм, комедий, опер, трагедий, драм, которые вполне не существуют и никогда не будут существовать».²

И отрывочность, и незавершенность, как и ряд других формализовавшихся в массовой литературе приемов, очень скоро начали восприниматься как трафаретные и неоднократно пародировались. Пародии такого рода сохраняли актуальность до начала 1840-х годов.

Пародистом собственных ранних стихотворений стал и Гончаров, включив их в текст «Обыкновенной истории». Причиной пародирования был как очевидный дилетантизм стихотворений (лексические неловкости, строфическая аморфность, монотонность ритма, бедные рифмы), так и, главным образом, их вторичность, тривиальность тематики, следовательно, недостаток личностного лирического начала. Свои ранние романтические сочинения пародировали Панаев, Некрасов, сходно с Гончаровым — Тургенев в «Дворянском гнезде», приписавший собственное юношеское стихотворение «К А. Н. Х.» поэту-дилетанту Паншину.

Факт самопародирования Гончарова в «Обыкновенной истории» достаточно давно установлен и неоднократно

¹ См.: Манн Ю. В. Выразимо ли невыразимое? // Манн Ю. В. Динамика русского романтизма. М., 1995. С. 20—30.

² Русская стихотворная пародия (XVIII — начало XX в.). Л., 1960. С. 322, 738 («Б-ка поэта». Большая сер.).

описан.¹ В текст романа (ч. 1, гл. 2) в качестве примеров поэтического творчества младшего Адуева попали стихотворения «Тоска и радость» и «Романс», став объектом уничтожающей иронии Адуева-дяди. Прочитав в стихах племянника строку: «Гляжу на небо: там луна...», старший Адуев выносит приговор: «Луна непременно: без нее никак нельзя! *Если у тебя тут есть мечта и дева — ты погиб...*» (1, 224).

О природе диалогов дяди и племянника А. В. Чичерин писал: «Диалоги дядюшки и племянника в “Обыкновенной истории” интонационно выразительны и компактны, хотя художественно они элементарны. Романтическое ротозейство и сухой практицизм несколько плакатны. <...> Два контрастных состава лексики, два разных голоса, две мелодии, идущие друг другу наперекор. В реплике дяди даже что-то вроде преждевременной писаревщины».²

Критическую реакцию Петра Ивановича на поэтические банальности в стихах племянника следует признать исключительно актуальной и точной. Преследование расхожих поэтизмов (*луна, мечта, дева*) в критике 1840-х годов стало также своего рода «общим местом». Некрасов, например, в рецензии «“Были и небылицы” Ивана Балакирева» (1843) замечал: «...были бы слова да *рифмы*, а *предмета* как не найти, начиная с *луны* и *девы* до могилы и завядшего цветка...».³ Белинский в рецензии на второй выпуск «Новоселья» (1845) отметил заслугу «Библиотеки для чтения» именно в том, что в своем противостоянии расхожему «энтузиазму» она «воздвигла гонение на стихи с девою и луною».⁴ Вал. Майков рецензию «Стихотворения А. Плещеева» (1846) начал фразой: «Стихи к деве и луне кончились навсегда».⁵ Те же поэтические клише воспроизвел и Ап. Гри-

¹ См.: Цейтлин 1950. С. 35—37; Рыбасов А. П. И. А. Гончаров. С. 36; и др.

² Чичерин А. В. Очерки по истории русского литературного стиля: Повествовательная проза и лирика. М., 1977. С. 163.

³ Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем. Т. 11. Кн. 1. С. 74.

⁴ Белинский. Т. 8. С. 475.

⁵ Майков В. Н. Литературная критика. Л., 1985. С. 272.

горьев, вспоминая в «Моих литературных и нравственных скитальчествах» (1862–1864) о «литературных стремлениях» 1830-х годов: «Праздношатательство, эпикурейство, весьма притом дешевые, луна, мечта, дева <...>, проповедуемые в поэзии <...> всякими виршеплетами в бесчисленных альманахах...».¹ Появлялись в печати и многочисленные стихотворные пародии под заглавиями «К луне», «Поэт», «Мечта», «К деве», «Тоска» и проч.²

Стихотворение «Тоска и радость» вошло в текст «Обыкновенной истории» с незначительными изменениями, акцентировавшими изначально присутствовавшие в тексте поэтические трафареты. Например, после строк: «В эфире звезды, притаясь, / Дрожат в изменчивом сиянье / И — будто дружно согласясь, / Хранят коварное молчанье» (1, 22), в стихотворении, которое читает Адуев-дядя, появилась вставка:

Так в мире всё грозит бедой,
Всё зло нам дико предвещает,
Беспечно будто бы качает
Нас в нем обманчивый покой;
И грусти той назва...нья нет... <...>
Она пройдет, умчит и след,
Как перелетный ветер степей
С песков сдувает след зверей (1, 225).

Характерны в этой вставке эпигонские повторы пушкинских строк и рифм. Сравним: «Под мостики, в беседки... нет! / Княжна ушла, пропал и след!» («Руслан и Людмила», песнь III); «Проснулся я: подруги нет! / Ищу, зову — пропал и след» («Цыганы»); «Закрыты ставни, окна мелом / Забелены. Хозяйки нет. / А где, бог весть. Пропал и след» («Евгений Онегин», гл. шестая, строфа XXXII).

Стихотворение «Романс» (первые семь строк) включено в текст «Обыкновенной истории» без изменений. В этом случае Гончаров, не меняя текста, просто повторил пародий-

¹ Григорьев А. Воспоминания. М., 1988. С. 59 («Лит. памятники»).

² См.: Русская стихотворная пародия (XVIII — начало XX в.). С. 370–375.

ный прием Пушкина, изобразившего в «Евгении Онегине» (гл. шестая, строфа XXIII) романтика Ленского задремавшим над своими стихами («На модном слове *идеал* / Тихонько Ленский задремал...»)¹ Петр Иванович застаёт племянника также заснувшим над листом бумаги:

Он взял бумагу и прочитал следующее:

Весны пора прекрасная минула,
Исчез навек волшебный миг любви,
Она в груди могильным сном уснула
И пламенем не пробежит в крови!
На алтаре ее осиротелом
Давно другой кумир воздвигнул я.
Молюсь ему... но...

— И сам уснул! Молись, милый, не ленись! — сказал вслух Петр Иванович. — Свои же стихи, да как уходили тебя! Зачем другого приговора? сам изрек себе (1, 340).

Рассматривая пародийные приемы Гончарова, стоит еще раз вернуться к домашнему контексту, а именно — к повести Солоницына «Сказание о великом поэте, который начал писать стихи и перестал писать стихи...», помещенной в 1839 году в рукописном альманахе «Лунные ночи»² (об этой небольшой повести уже говорилось выше, с. 84).

«Был великий поэт», — этой фразой начинается «Сказание...» (501). В нем пародийно сконцентрированы поданные с профессиональной искусственностью журналиста и редактора³ основные элементы романтического мифа об избран-

¹ См. об этом: Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. 2-е изд. Л., 1983. С. 302.

² См.: Солоницын В. А. Сказание о великом поэте, который начал писать стихи и перестал писать стихи / Публ. и комм. А. Ю. Балакина // *Лица* 2001. С. 501—519. Далее ссылки на эту публикацию даются в тексте с указанием страницы.

³ Повесть отличает дотошное знание массовой романтической литературы рубежа 1820—1830-х гг. — поэзии, беллетристики, критики, упоминаемой или цитируемой в тексте. Это О. И. Сенковский, В. Г. Бенедиктов, Н. И. Надеждин, А. Ф. Вельтман, И. И. Козлов, А. И. Подолинский, Е. Ф. Розен, Г. В. Гераков, Д. П. Ознобишин и многие другие.

ности поэта-творца. Юный герой «Сказания...», родившийся и учившийся в Казани, уверовал в собственное величие, написав единственную поэтическую строчку «в восточном вкусе»: «Зюлейка! ты — жемчужина Востока!». После чего его «мысли кипели, слагались в стихотворения, и почти каждый день являлся отрывок из новой поэмы в самом восточно-романтическом вкусе» (504). Подбирая в качестве материала для творческих опусов «великого поэта» поэтические трафареты, Солоницын подробно, детально иллюстрирует популярность «восточной» тематики в массовой романтической поэзии рубежа 1820—1830-х годов. Объектом иронии становится у него и превратившееся в романтическое клише представление о сверхчувственном, божественном внушении, под воздействием которого «безотчетно» совершается акт творчества. Занятый созданием поэтических *отрывков* (этот мотив также пародируется в «Сказании...»), великий поэт перестает посещать лекции в университете. «И на что ему? В Казанском университете учат математике, философии, правам; а в стихах разве пишут о правах и математике? В них говорится о любви, о мечте, о деде, об одиночестве и величии поэта» (Там же). Солоницын обыгрывает тот же набор расхожих поэтизмов, которые позднее возникнут у Гончарова в «Обыкновенной истории».

Исполненный сознания собственной избранности, презирая толпу («...толпа! ты не знаешь страданий поэта!»), великий поэт приезжает в Москву, где живет его бабушка. В присутствии собравшихся московских гостей должно быть прочитано его стихотворение, начинающееся характерными строками: «Туда! туда!.. Восторг и вдохновенье! / Туда! туда!.. любовь, смерть и мечта!» (510). Солоницын и здесь использует романтический трафарет — популярные у русских романтиков строки из песни Миньоны («Dahin, dahin...») в романе Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера».

Наконец стихи великого поэта, запинаясь, путая слова, не понимая их смысла и сопровождая собственными комментариями, читает вслух бабушка. «Великий поэт давно уже выходил из себя от бешенства: каждое слово его сти-

хотворения, разорванное, истерзанное в устах доброй бабушки, каким-то оглушительным воплем отдавалось в самой глубине души его <...> Вдруг он закричал, выбежал из комнаты, из дому и упал на снег. Его перенесли на постелю и напоили теплою мятою. К вечеру ему стало легче, но... жребий свершился! он перестал сочинять стихи. Памятником его поэтической жизни осталось только стихотворение, окалеченное бабушкою: прочие погибли в пламени камина» (513).

Согласимся, пародийная ситуация у Солоницына достаточно оригинальна. В финале «Сказания...» достигнуто желаемое, как позднее и в романе Гончарова: юный герой лишается необоснованных иллюзий относительно своего поэтического дарования и больше стихов не пишет, а написанные — отправляет в камин. У А. Мазона были основания полагать, что повесть Солоницына «могла оказать некоторое влияние» на автора «Обыкновенной истории».¹

К ТИПОЛОГИИ ОППОЗИЦИЙ: БЕСПОКОЙСТВО—ПОКОЙ В «ЛИХОЙ БОЛЕСТИ»

Как уже отмечалось, опорные романтические категории и *простейшие оппозиции* сохраняются в качестве структурных элементов в большинстве гончаровских текстов. Смысловую структуру «Лихой болезни» определяет «простейшая» оппозиция *беспокойства—покоя* с варьирующимися содержательными эквивалентами для каждого из ее членов: *идеализм, энтузиазм, поэтичность, мечтательность, восторженность*, но при этом и *суетность, легкомыслие, безответственность* и, сверх того, *болезненность* вплоть до *маниакальности* — для первого и *тяжесть* (качество, зафиксированное в тексте), *неподвижность, ограниченность, прозаичность* и, как и в первом случае, *болезнь* — для вто-

¹ Mazon A. Un maître du roman russe, Ivan Gontcharov: 1812—1891. Paris, 1914. P. 424—425.

рого.¹ «Болезнь» семейства Зуровых, главных героев ранней повести, представляет собой комически сниженный, травестированный эквивалент романтического *Sehnsucht*, томления по небывалому, «к далекому стремления», если воспользоваться строкой из широко известного, популярного у русских романтиков поэтического «отрывка» В. А. Жуковского «Невыразимое» (1819). *Даль*, в том числе и даль прошлого, — одна из важнейших категорий в философской эстетике романтизма,² стремление *вдаль* — состояние «неутолимое и неодолимое», доступное «истинно поэтическим душам».³

Позднее Гончаров для передачи этого повторяющегося в его текстах мотива изберет классическую «готовую» формулу романтического томления «*Dahin, dahin...*». Гетевская формула дважды прозвучит во «Фрегате “Паллада”» (2, 83, 627). Смутное «стремление куда-то вдаль, туда...» (4, 65) время от времени будет томить Обломова, унаследовавшего это мечтательное томление от Александра Адуева. Выразительно и «порывание» на Волгу художника Райского в первой части «Обрыва»: «Волга с побережьем, дремлющая, блаженная тишь, где не живут, а растут люди и тихо вянут, где ни бурных страстей с тонкими, ядовитыми наслаждениями, ни мучительных вопросов, никакого движения мысли, воли <...> *dahin, dahin!*» (7, 125). *Dahin* героя в последнем случае объединяет стилевые и смысловые противоположности — идеальный, мечтательный ландшафт («дремлющая, блаженная тишь») и ландшафт антиидеальный («где не живут, а растут люди и тихо вянут»), создавая характерный в целом для гончаровской прозы эффект иронической смысловой переакцентировки, в результате которой сближается семантика не просто противоположных, но ценностно взаимоисключающих понятий. «Двуакцентному» гончаровскому нарративу, его «двуголосому» слову в свое

¹ О мотиве болезни в ранней повести см.: Фаустов А. А. «И всяк зевает, да живет...»: (К симптоматике гончаровской «Лихой болезни») // Русская литература. 2003. № 2. С. 80–93.

² См.: Манн Ю. В. Поэтика русского романтизма. С. 25–26 и след.

³ Манн Ю. В. Динамика русского романтизма. С. 26.

время много внимания уделил В. М. Маркович,¹ и тот же принцип двуакцентности, или двойственности, но уже на сюжетном уровне, рассматривал В. И. Тюпа, писавший об «Обломове»: «В романе И. А. Гончарова <...> совмещены взаимоисключающие ценностные интенции. По этой причине нескончаемый спор о том, “плох” или “хорош” герой романа — этот сонный ленивец с *голубиной душой*, в каких бы категориях и с каких бы позиций он ни велся, не разрешим в принципе, ибо весь романский мир, как и его герой, не совпадает с самим собой, предстает в двойном ракурсе видения. Такова эстетическая “оптика” данного художественного целого».²

В конструктивных приемах «Лихой болезни» есть все основания видеть «увертюру» к обозначенным выше опорным художественным принципам гончаровской прозы.

Повесть, впервые опубликованная Б. М. Энгельгардтом в 1936 году по тексту «Подснежника» за 1838 год,³ была при публикации атрибутирована Гончарову главным образом на основании подписи «И. А.». Под этими же инициалами Гончаров упоминался в переписке Майковых. В пользу авторства Гончарова, по мнению Энгельгардта, говорило и содержание повести — «шутливое пристрастие семьи Майковых к различным загородным прогулкам и другим parties de plaisir, в частности увлечение самого Николая Аполлоновича рыбной ловлей. Эти невинные пристрастия всегда служили излюбленной мишенью для добродушных насме-

¹ Маркович В. М. Схема и дискуссия в романах натуральной школы: (Герцен и Гончаров) // Маркович В. М. И. С. Тургенев и русский реалистический роман XIX века: (30—50-е годы). Л., 1982. С. 90—95.

² Тюпа В. И. «Обломов» И. А. Гончарова // Тюпа В. И. Анализ художественного текста. М., 2006. С. 137 (курсив автора). Мысль о двоящихся смыслах в «Обломове» («все в романе двоится») легла в основу и других статей того же автора, см.: Тюпа В. И. 1) Увертюра к роману (поэтика начальных страниц «Обломова») // Русская литература XIX—XX вв.: Поэтика мотива и аспекты литературного анализа. Новосибирск, 2004. С. 212—219; 2) Соляные повторы в романе Гончарова «Обломов» // Критика и семиотика. 2010. Вып. 14. С. 113—117.

³ Гончаров И. А. Лихая болезнь: (Неопубликованная повесть) / Послел. Б. М. Энгельгардта // Звезда. 1936. № 1. С. 202—234.

Емось въ огни страстей мятежныхъ,
Сгоряють и тѣмномъ носить дѣтѣ,
Изъишють рывы потюховъ смездныхъ,
И стикъ внезапно перелыбъ.

Отакъ! это жеретъ намъ: весною
Всѣмъ въ благу отъ жизни ожидать,
И вобить всей пламенной душою,
И вогно счастья не знатъ!

Евгения Майкова.

ЛИХАЯ БОЛЕСТЬ.

Въ декабрѣ 1830 года, когда Ломоносовъ находился еще въ Москвѣ, но уже окончательно уклонившись, издъ въѣхъ соотъ патидеа. тѣхъ въ патидеа въ самую непродолжительную вѣр- тѣи. иишѣе жизни.

Фамиля доктора о дѣствіахъ коперы въ Москвѣ, до- тора Христиана Ломоносова, Москва; страница 61.

Естествомъ и въ, иишѣе государи, или по край- нѣйшѣмъ асвѣданіи мѣ, о странной болѣзни, которая нѣкогда бѣла одержима въ Британіи и Фран- ции, и которой нѣтъ названія и другаго призора въ иишѣе медицинѣ; именно: въ нѣхъ послѣ- словъ какое-то непостижимое стремленіе итти на гору св. Минаши (кажется, въ Нормандіи). Мѣстѣмъ отказавшѣе родителѣмъ старались удержатъ ихъ: наибольшее сопротивленіе ихъ болѣзнен- нымъ желаніямъ влекло за собою печальныя сдѣлкія — жизнь дѣтей медленнѣе угасала. Удивительно?

Повесть Гончарова «Лихая болѣсть»
в «Подснежнике» за 1838 год, первый лист

шек Гончарова, и многие шуточные замечания его позднейших писем представляют в развернутом виде остроты этой повести. Наконец, и в самом языке, в ситуациях этой вещи, в некоторой искусственности и неуклюжести комических положений, наряду с мягким и тонким юмором, легко признать будущего автора «Обломова», с одной стороны, и очерка «Иван Савич Поджабрин» — с другой».¹ К доказательствам Энгельгардта А. Г. Цейтлин добавил еще одно — «неоднократное повторение писателем образа “лихой болезни”». Так, в журнальной редакции «Обыкновенной истории» (ч. 2, гл. 5) Костяков замечал о цене адуевского билета в концерт: «Экая лихая болезнь! За 15 рублей можно жеребенка купить!».² Во «Фрегате “Паллада”» в пространным описании российских Обломовок (т. 1, гл. 1) упоминаются «мужички, которые то ноги отморозили, ездивши по дрова, то обгорели, суша хлеб в овине, кого в дугу согнуло от какой-то лихой болезни, так что спины не разогнет...» (2, 65). В письме к Е. А. и С. А. Никитенко от 16 (28) августа 1860 года, рассуждая об игре сил «от рождающегося чувства любви», о «припадках жизненной лихорадки», Гончаров писал: «А наши бабушки, и даже матушки, не знали этого, называли *vaqueur* экзальтацией, терялись, думая, что это какая-нибудь лихая болезнь, мечтали, глядели на луну, плакали и тем отделялись, а иные даже свихивались с ума» (1980; 8, 305).³ К трем случаям, указанным Цейтлиным, следует добавить еще два. В «очерках» «Иван Савич Поджабрин» Авдей сетует по поводу хозяйских неудач: «Экая лихая болезнь, прости Господи, знатная барыня! Знатно же она вас поддела!» (1, 144). Сестре А. А. Кирмаловой Гончаров писал 21 сентября 1861 года: «С наступлением осени начинаю испытывать те же лихие болезни, как и прежде...».⁴

¹ Гончаров И. А. Лихая болезнь: (Неопубликованная повесть). С. 232.

² Современник. 1847. № 4. Отд. I. С. 347; отмечено: Цейтлин 1950. С. 38.

³ Там же.

⁴ Суперанский М. Ф. Ив. Ал. Гончаров и новые материалы для его биографии // Вестник Европы. 1908. № 12. С. 423.

«Лихой болезнью» в просторечии называлась эпилепсия. Семантика гончаровского иносказания, как видно из приведенных примеров, непостоянна. Но постоянно стремление писателя возвращаться к однажды найденным формуле, образу, мотиву, многократно варьируя их в различных контекстах. Подобная интратекстуальная соотнесенность, автореферентность,¹ или внутренняя автореференциальность,² упрощенная, как правило, до формульных и мотивных повторов, является одной из устойчивых закономерностей, одной из констант в художественной практике Гончарова.

Вполне вероятно, что название повести было выбрано не без влияния популярной у читателя и критики нраво-описательной повести М. П. Погодина «Черная немочь» (1829). В основе ее конфликта — страсть юного героя к знанию, воспринятая косной купеческой средой как опасная болезнь, что и приводит в итоге к драматической развязке («черная немочь» в просторечии — как эпилепсия, так и лихорадка, проказа, паралич). Любопытную реминисценцию погодинской повести находим в «Тарантасе» (1845) В. А. Соллогуба, герой которого признается: «Подобно многим нашим молодым людям, я чего-то хотел, чем-то был недоволен; я жаждал какой-то невозможной деятельности; словом, чувствовал себя бесполезным, лишним и укорял других в своем ничтожестве. Такою черной немочью страдают у нас многие».³ В этой коллизии можно видеть поздний вариант романтического отчуждения и вместе с тем — от-

¹ Об автореферентности (и авторефлексивности) сопряженных между собой текстов одного автора и системе лексико-семантических межтекстовых повторов (интратекстуальность) см.: *Смирнов И. П.* Порождение интертекста. Элементы интертекстуального анализа с примерами из творчества Б. Л. Пастернака. СПб., 2012. С. 8—9 и след.

² Об автореференциальности как органической составляющей литературы: *Жаккар Ж.-Ф.* Литература как таковая. От Набокова к Пушкину: Избранные работы о русской словесности. М., 2011. С. 11 и след.

³ *Соллогуб В. А.* Повести. Воспоминания. Л., 1988. С. 223.

даленную параллель беспокойному *энтузиазму* героев гончаровской «Лихой болести».

Авторское определение «повесть <...> домашнего содержания», относящаяся к «частным случаям или лицам», которое известно по уже цитированной черновой редакции Автобиографии 1858 года, лишь отчасти применимо к «Лихой болести». Она шире домашних рамок по масштабу генерализации, универсализации: энтузиасты Зуровы и их антипод Тяжеленко не столько «частные лица», сколько «творческие типы», которым суждена долгая жизнь в прозе Гончарова. «Творческий тип» — определение, данное Гончаровым феномену литературных архетипов в статье «Лучше поздно, чем никогда»: «К этому загадочному, пока еще не разъясненному, но любопытному явлению в области творчества можно отнести и духовное, наследственное сродство, какое замечается между творческими типами художников, начиная с гомеровских, эзоповских, потом сервантесовского героя, шекспировских, мольеровских, гетевских и прочих и прочих, до типов нашего Пушкина, Грибоедова и Гоголя включительно. Этот мир творческих типов имеет как будто свою особую жизнь, свою историю, свою географию и этнографию, и когда-нибудь, вероятно, сделается предметом любопытных историко-философских критических исследований» (1980; 8, 139). Принцип *оппозитивности*, реализованный в сюжете ранней повести, также, как уже говорилось, останется одним из важнейших конструктивных принципов в прозе писателя.

Домашний характер повести определяется узнаваемостью прототипов ее главных героев. «Доброе, милое, образованное семейство Зуровых» — это семейство Майковых; «танцы, музыка, а чаще всего чтение, разговоры о литературе и искусствах» — их *домашняя* повседневность. Алексей Петрович Зуров — это Николай Аполлонович Майков, избраженный Гончаровым очень живо, с многочисленными странностями и увлечениями, главное из которых — «преданность рыбной ловле». Этой «болезнью» был «заражен» и сам Николай Аполлонович, и его старший сын Аполлон, и друзья семьи, она была предметом постоянных шуток

(в том числе и Гончарова), благодаря ей возникла традиция домашней (и недомашней) шуточной и серьезной «рыболовной» поэзии и прозы, стилизованной в жанре идиллии (о чем подробнее ниже). Марья Александровна — это Евгения Петровна, с ее культом чувствительности, сентиментально-романтическими порывами к загородной природе, отразившимися в ее стихах и прозе на страницах «Подснежника» и еще отчетливее — в письмах. В «задумчивой, мечтательной» Фекле, в отличие от Зуровых счастливо сочетающей любовь к загородным пейзажам с житейской практичностью, изображена племянница Евгении Петровны Юния Гусятникова, впоследствии близкий друг Гончарова и многолетний адресат его писем. На прототип Феклы указывает подчеркнутое равнодушие к ней повествователя.¹

Несколько сложнее обстоит дело с еще одним персонажем повести — Иваном Степановичем Вереницыным. Не

¹ Гончаров еще в Москве, до приезда в 1835 г. в Петербург был знаком с Юнией Дмитриевной Гусятниковой (в замуж. Ефремова), племянницей Е. П. Майковой. Начало своего длительного увлечения Юниной, впоследствии не раз шуточно обыгранного в письмах, Гончаров датировал 1833 годом (см. его письмо к Н. А. Майкову и его семье от 20 нояб. (2 дек.) 1852 г. — 15, 110), обстоятельства этого знакомства до сих пор остаются неизвестными. См. публикацию писем к ней Гончарова: Из переписки Гончарова: (Письма его к М. А. и Е. А. Языковым, И. Ф. Горбунову, Ю. Д. Ефремовой, А. В. Дружинину и А. В. Плетневой) / Публ. Б. Модзалевского // Временник Пушкинского дома. 1914. Пг., 1915. С. 94—130; Тридцать четыре письма Гончарова к Ю. Д. Ефремовой (1849—1874) / С предисл. и примеч. Б. Модзалевского // Невский альманах. Пг., 1917. Вып. 2. С. 8—43; также о Ю. Д. Ефремовой см.: 15, 498. Реальна в «Лихой болести», скорее всего, и восьмидесятилетняя разбитая параличом бабушка — это уже упоминавшаяся выше, жившая в семье Майковых мать Евг. Майковой — Наталья Ивановна Гусятникова. О бабушке Гончаров вспомнит и в письме к А. П. и Ю. Д. Ефремовым от 22 июля 1847 г., посвященном смерти Валериана Майкова: «...а вот она здравствует себе да похлопывает глазами: непостижимо!» (15, 68). Остались неустановленными прототипы «старого заслуженного профессора», занимавшегося исследованием «разных сортов нюхального табаку и влияния его на богатство народов», и его восторженной племянницы Зинаиды.

сталимъ мы въ обратный путь; въ горни и груди моя
будто огонь; сверка всего этого должно было погера-
мъно вѣсти данъ. Сколько бы чужковъ имѣлъ я пра-
во высказать тогда! но выходящий не было мнѣ силъ
до, и я затаялъ дышѣ на дно души.

Сѣла ли крестоносцы въ бѣлѣнныя восторжливъ дѣви-
дны свѣтой градъ, какъ мы свое пристанище; но ра-
дость наша нарушила въ особенныя приключенія
приближалъ къ селу, мы слышали крикъ знакомыхъ
голосовъ: „Помогите! помогите!“. Ужасенъ стали и
видѣли, что бабушка и Мамеенко, сидя на травѣ,
съ отчаяніемъ отталкиваютъ отъ трехъ охот-
ничьихъ собакъ, которыя, прѣвѣлая и играя, целыми
прунъ оттащивать со старухи головной уборъ, а въ Ма-
меевски карточѣ, и продолжали съ визгомъ бѣжать



и разбѣгався около нихъ. — Въ одно время съ нами,
изъ перестѣжки показались охотники и отогнали
собакъ.

учитывая прозрачного намека на фамилию Солоницына, публикатор повести Б. М. Энгельгардт (позднее С. С. Деркач и Е. А. Краснощекова) отождествили этого героя с известным путешественником Г. С. Карелиным, ошибочно считавшимся, как уже отмечалось, участником майковского домашнего кружка, тогда как участвовал в рукописных изданиях малоизвестный поэт Иван Карелин.¹ На самом деле Вереницын в «Лихой болести» — несомненно, старший Солоницын, на что указывает и его «приверженность» семье Зуровых (он их «искренний друг с самого детства»), и ряд шаржированных, однако психологически достоверных черт (одинокий образ жизни, необщительность), подтверждаемых эпистолярными и мемуарными источниками. Документально подтверждается и страсть Солоницына к путешествиям, акцентированная в рассказе о Вереницыне и ставшая основанием для предпочтения ему в качестве прототипа Г. С. Карелина. Одно из его ранних писем содержало такое признание: «...с самого младенчества у меня лежит на сердце путешествие, с самого младенчества мне хочется быть везде, все видеть, и чем более увеличиваются мои годы, тем более увеличивается сие желание <...> первое правило моих поступков доселе было всегда: ловить настоящее...».² И в письме к Гончарову из Рима от 3 (15) сентября 1843 года Солоницын признавался: «...я остаюсь по-прежнему при той мысли, что путешествие — великое дело» (15, 248). За недостатком биографических данных о Солоницыне невозможно точно определить время его путешествия по России и поездки в Оренбургский край, о которой идет речь в повести (см.: 1, 39), но, судя по всему, имелись в виду реальные события.

В образе Тяжеленко есть очевидные черты авторской самопародии. В семейном кругу Майковых Гончаров носил постоянную маску ленивца, под этой маской он выступает

¹ См.: Звезда. 1936. № 1. С. 233. О поэте Иване Карелине и его ошибочной идентификации см. выше, с. 68.

² *РО РНБ*. Ф. 452. Оп. 1. № 441. Л. 7; письмо к Ал. Ап. Майкову от 21 янв. 1825 г.

и в письмах начала 1840-х,¹ и в рукописной газете, издававшейся Майковыми в 1842 году, где он представлял то «остров Покоя», то «город Сибарис» (см. ниже), и в этюде «<Хорошо или дурно жить на свете?>» (ср.: «Прихожу сюда и я, мирный труженик на поприще лени, приобретший себе на нем громкую известность...» — 1, 510). Утрированность в образе Тяжеленко не противоречит его автопародийной природе, по отношению к себе Гончаров мог быть и бывал, как хорошо известно, резко ироничен. Вместе с тем Тяжеленко — персонаж не только более гротескный, чем Зуровы, но и более сложно литературно организованный и заданный. Гиперболизм в описании его внешности («...у него величественно холмилось и процветало нарочито большое брюхо; вообще всё тело падало складками, как у носорога...» — 1, 32), гомерического чревоугодия близок и гоголевскому, и «брамбеусовскому», гоголевские ассоциации вызывает и его малороссийское происхождение.²

Исследователи раннего творчества Гончарова единодушны во мнении, что Тяжеленко является прообразом Обломова. Тяжеленко «славился с юных лет беспримерною

¹ Так, в письме от первых чисел октября 1842 г. к Н. А. и А. Н. Майковым в Италию он писал: «...я толстею, ленюсь и скучаю, как и прежде...»; а под письмом от 14 дек. того же года поставил подпись: «Гончаров, иначе принц де Лень» (15, 44, 50). Та же подпись стоит и под записью в альбоме Е. В. Толстой (февр. 1843 г.; см.: *Летопись*. С. 22). По предположению А. Ю. Балакина, именем «Де Лень» был подписан очерк «Пепиньерка» (в конце рукописи очерка подпись густо зачеркнута). Принц де Лень — один из «титолов» Гончарова в домашнем кругу Майковых, образованный по аналогии с именем австрийского фельдмаршала, дипломата, писателя принца (князя) Шарля Жозефа де Линя (de Ligne; 1735—1814), посланного в 1782 г. с миссией к Екатерине II и надолго оставшегося в России. Де Линь славился остроумием, оставил многочисленные сочинения, выборку из которых «Lettres et pensées» (1809) опубликовала Ж. де Сталь.

² Прежде всего ассоциации с героями «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (1834); см. об этом: *Пиксанов Н. К.* Белинский в борьбе за Гончарова. С. 62; *Setchkaev Vs. Ivan Goncharov: His Life and his Works*. P. 26. По мнению В. С. Сечкарева, Тяжеленко напоминает также Сторченко из повести Гоголя «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» (1831).

методическою ленью и геройским равнодушием к суете мирской. Он проводил большую часть жизни лежа на постели; если же присаживался иногда, то только к обеденному столу; для завтрака и ужина, по его мнению, этого делать не стоило. Он <...> редко выходил из дому и лежащую жизнью приобрел все атрибуты ленивца...» (1, 32). «В нем, — писал о герое ранней повести Б. М. Энгельгардт, — в зачаточном виде представлены многие характерные черты излюбленного героя Гончарова. Под его чудовищной апатией и ленью скрываются острый ум и наблюдательность; у него, как и у Обломова, “доброе” и сострадательное сердце <...> его образ показан в тех же сочувственных тонах, как и образ Обломова».¹ «Сочувственные тона» в данном случае не вполне очевидны, но очевидно, что Тяжеленко сближают с Обломовым привычка философствовать лежа, склонность к высокопарным монологам, избыток красноречия при недостатке движения. Физиологичность Обломова, акцентированная в первоначальной редакции первой части романа (имевшего тогда название «Обломовщина») и в значительной степени снятая в окончательной,² также унаследована им от своего предшественника из «Лихой болести». Как и Тяжеленко, Обломов умирает от дважды повторившегося апоплексического удара. Комический Тяжеленко предвосхищает не только лишнюю комизма фигуру главного героя гончаровского романа, но и мучительную для

¹ Звезда. 1936. № 1. С. 233. См., кроме того: Цейтлин 1950. С. 40—41; Евстратов Н. Г. Гончаров на путях к роману: (К характеристике раннего творчества) // Учен. зап. Уральского пед. ин-та. 1955. Т. 2. Вып. 6. С. 192; Демиховская О. А. Раннее творчество И. А. Гончарова. С. 83; Ehre M. Goncharov's early prose fiction // Slavonic and East European review. 1972. Vol. 50. № 120. P. 368; и др.

² Ср. замечание Т. И. Орнатской о герое романа: «Это не тот Обломов, от которого наблюдательный, неравнодушный человек “отошел бы в приятном раздумье, с улыбкой”, но другой, “наружность” которого была отмечена не только “дородством” и “апатическим взглядом”, но даже и некоторой уродливостью: “подставкой” его “могучему туловищу” служили “две коротенькие, слабые, как будто измятые чем-то ноги”...» (6, 35).

самого писателя проблему «неуклюжести», «неподвижности форм, в которых заключена <...> жизнь» (15, 100).¹

Не утратила значения для второго гончаровского романа и этимологизированная, «знаменательная» фамилия героя ранней повести. По замечанию Штольца, причиной «сна души» Ильи Ильича становится «тяжесть тела». «Ты сбрось с себя прежде жир, тяжесть тела, — советует он Обломову, — тогда отлетит и сон души. Нужна и телесная, и душевная гимнастика» (4, 170). «Тяжесть» в смысловом пространстве романа существует не только как физический недуг, но и как рационально необъяснимая, близкая экзистенциальной власти, подчиняющая жизнь героя. В одну из редких «ясных сознательных минут» в «робкой душе» Обломова как будто пробуждается на короткое время способность к осознанию причин собственного «недуга»:

Ему грустно и больно стало за свою неразвитость, остановку в росте нравственных сил, за *тяжесть*, мешающую всему; и зависть грызла его, что другие так полно и широко живут, а у него как будто *тяжелый камень* брошен на узкой и жалкой тропе его существования. В робкой душе его выработывалось мучительное сознание, что многие стороны его натуры не пробуждались совсем, другие были чуть-чуть тронуты, и ни одна не разработана до конца.

¹ Из письма к Е. А. и М. А. Языковым от 23 авг. 1852 г. Шутливые изобличения собственной лени в ранних письмах писателя сменяются в более поздних осознанием в себе сонливости и лени как тяжелого недуга. Так, в письме к И. И. Льховскому от 26 июля (7 авг.) 1853 г. с борта фрегата «Паллады» Гончаров признавался: «Чувствую, что меня ничто и никогда не расшевелит: геморрой ли это, печень ли, не знаю, знаю только, что по целым неделям мне что-то внутри меня не дает ни думать, ни дышать свободно, ни — словом — жить. Я не сомневаюсь, что во мне гнездится и физический недуг, который много прибавляет сонливости, лени и даже иногда боли» (15, 175). Повторяются подобные признания многократно; ср. в письме к Е. А. и С. А. Никитенко от 6 (18) авг. 1860 г.: «Помните, что я не молод, что есть у меня и недуги: еще не решено, ленюсь ли я из любви к лени, или, напротив, неправильное обращение крови, приливы ее, наконец лимфатическое, тучное, завещанное мне родителями сложение производят лень?» (1980; 8, 298).

А между тем он болезненно чувствовал, что в нем зарыто, как в могиле, какое-то хорошее, светлое начало, может быть теперь уже умершее, или лежит оно, как золото в недрах горы <...> Но глубоко и *тяжело* завален клад дрянью, наносным сором. <...> Какой-то тайный враг наложил на него *тяжелую руку* в начале пути и далеко отбросил от прямого человеческого назначения... (4, 96—97; курсив мой. — А. Г.).

Те же смысловые акценты присутствовали и в рукописном тексте романа: «С каждым днем он всё становился *тяжеле* и неподвижнее <...> потом стало и *тяжело* ворочать и мысль в голове, иногда *тяжело* ворочать и самую голову» (5, 98; курсив мой. — А. Г.).

Однако и в «сознательную минуту» непродолжительный процесс рефлексии героя очень скоро, на протяжении двух-трех фаз склоняется к простому, в духе народных суеверий, объяснению собственной «остановки в росте», к признанию власти сказочно-мистического «тайного врага». Показательно, как в повествовании о «сознательных минутах» последовательно нарастают и концентрируются сказочные мотивы (*золото в недрах горы, клад, тайный враг*). Тяжеленко в «Лихой болести» также склонен к демонизации «заболевания» Зуровых: «Пускаются вброд по ручьям, вязнут в болотах, продираются между колючими кустарниками, карабкаются на высочайшие деревья; сколько раз тонули, свергались в пропасти, вязли в тине, коченели от холода <...> как будто подстрекаемые, гонимые всеми демонами ада» (1, 35—37).

В «Обломове» сохранится и эпидемический мотив, несомненно восходящий к «Лихой болести»: «всепоглощающий, ничем не победимый» сон обломовцев подобен эпидемии и назван «повальной болезнью».

С точки зрения «выработки» повествовательной манеры начинающего автора в «Лихой болести» интересна фигура рассказчика, участника событий и их хроникера. Благодаря его наивно-серьезному, лишенному иронии взгляду

(«авторская ирония не включена в сознание рассказчика»¹), остраются обе крайности — и энтузиазм Зуровых, и прозаизм и физиологизм Тяжеленко, комически драматизируются самые обычные, бытовые явления.

Повествование в повести пародийно стилизовано под учено-витиеватый стиль научного трактата об «эпидемической болезни». Конкретный объект пародийной обработки Гончарова — «ученая брошюра» Христиана Лодера о холере, из которой заимствован эпиграф: «В декабре 1830 года, когда холера находилась еще в Москве, но уже значительно уменьшилась, из двухсот пятидесяти кур пятьдесят в самом непродолжительном времени лишились жизни. *Ученая брошюра о действиях холеры в Москве, доктора Христиана Лодера; Москва; страница 81*» (1, 26).² Рассказчик в «Лихой болезни» простодушен, как автор брошюры (который, между прочим, не забывает отметить, что ему идет 79-й год), и по-немецки обстоятелен в перечислении симптомов болезни, средств ее предупреждения, путей заражения, в описании «припадков». К тому же источнику восходит и один из второстепенных мотивов повести: важнейшим средством «истребления» холеры доктор Лодер считал «произведение сильного пота» (имелись в виду ванны). Отсюда реплика Тяжеленко о «болезни» Зуровых: «Хорошо, что они еще потеют: это спасает их», и описание одного из «приступов» красноречия самого Тяжеленко (оно «выходило <...> вместе с потом»). Показательна в данном случае та легкость,

¹ Мухамидинова Х. М. Повествовательное слово в раннем творчестве И. А. Гончарова // Жанрово-стилевая эволюция реализма: Сб. науч. трудов. Фрунзе, 1988. С. 23.

² Эпиграф заимствован из изд.: Лодер Х. Об эпидемии холеры в Москве: Письмо от 14 ноября 1830 г. к г-ну тайному советнику лейб-медику и кавалеру Стоффрегену в С.-Петербурге / С нем. перевел Н. Топоров. М., 1831. Христиан Иванович Лодер (1753—1832) — известный немецкий хирург и анатом. Переселившись в Россию, он с 1819 по 1827 г. возглавлял кафедру анатомии в Московском университете и до 1831 г. читал лекции. В 1830 г. в разгар холерной эпидемии Лодер принимал непосредственное участие в борьбе с ней в качестве консультанта при Арбатской больнице. См. о нем: Колосов Г. Христиан Иванович Лодер. Харьков, 1929.

с которой переведены в комический и грубовато-натуралистический ракурс далеко не комические подробности эпидемии холеры 1830 года, свидетелем которой Гончаров сам был в год поступления в Московский университет. И в этом случае возникают ассоциации с жесткостью повествовательных приемов Сенковского, с его «желчной, закусившей удила насмешкой», по известной афористической формуле Герцена. К слову, Христиан Лодер, «друг Гёте, учитель Гумбольдта», среди других университетских профессоров упомянут Герценом в «Былом и думах»; по его словам, Лодер принадлежал «к той плеяде сильных и свободных мыслителей, которые подняли Германию на ту высоту, о которой она не мечтала».¹

Стилистика рассказчика в «Лихой болести» пародирует, кроме того, и чрезмерно «слезливого» повествователя в прозе карамзинской школы: «Но простите, милостивые государи и государыни, что не могу привести в ясность и разместить в приличном порядке всех воспоминаний: они смешанной толпой теснятся в мою голову и выжимают оттуда слезы, которые струятся по щекам и потом орошают сию писчую бумагу. Позвольте обтереть их: иначе не дождетесь моего рассказа» (1, 28).

Пестрый стиль повести включает самые разнообразные элементы — от гротескных гоголевских приемов до разного рода риторических фигур, фольклорных стилизаций и пейзажных описаний — сентиментальных, романтических, вполне реалистических и фельетонных — в духе того же Сенковского. Последнее очевидно в таких, например, «брамбеусовских» пассажах: «Настал апрель; солнце пламенным лучом проводило последний зимний день, который, уходя, сделал такую плачевную гримасу, что Нева от смеху треснула и полилась через край, а суровая земля улыбнулась сквозь снег» (1, 29—30). Имитация чужого слова, необходимая на этапе ученичества, техника стилевой игры — едва ли не самоцель Гончарова.

¹ См.: Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 9. С. 225; ср.: Там же. Т. 8. С. 120.

Есть в «Лихой болести» и полемические выпады, адресаты которых названы напрямую. После близкого «физиологическому» описания харчевни, в которую заезжают Зуровы (1, 60–61) и сетований повествователя о том, что описать данный «предмет» он не в состоянии, в тексте повести читаем: «...слухи носят, что два плодовые писателя, один московский, а другой Санкт-Петербургский, О-в и Б-н, обладающие всеми нужными сведениями по этому предмету, который они исследовали практически, давно готовят большое сочинение» (1, 61). Речь идет об А. А. Орлове,¹ авторе многочисленных лубочных повестей и романов, преимущественно сатирических и нравоописательных, «трактирном писаке», по выражению Кс. Полевого.² Второй автор (Б-н) — пользовавшийся скандальной известностью Ф. В. Булгарин, автор многочисленных нравоописательных очерков, включенных позднее в книги «Картинки

¹ Александр Анфимович Орлов (ок. 1790–1840) — поэт и прозаик, себя называвший «народным». Н. И. Надеждин в статье «Европеизм и народность, в отношении к русской словесности» (1836) о «народности» А. А. Орлова писал: «И вот тма тмущая наших писателей, особенно писачек из задних рядов, ударились, со всего размаха, лицом в грязь этой грубой, запачканной, безобразной народности, которую всего лучше следовало бы называть простонародностью. Они погрузились во *шти*, в *квас*, в *брагу*, забились на *полати*, обливаются *ерофеичем*, закусывают *луком*, передразнивают *мужиков*, *сидельцев*, *подьячих*, *ямщиков*, *харчевников*; и добро бы, подобно знаменитому А. А. Орлову, главе этой школы народных писателей, ограничивались современными картинами низших слоев общества, что имело бы, по крайней мере, достоинство верности; нет! они теребят русскую историю, малюют ее лучшие эпохи своей мазилкой, одевают в нынешний зипун “дела давно минувших дней, преданья старины глубокой”!.. О такой народности что и говорить? Ее надо <...> гнать из литературы <...>. Впрочем и здесь должно сделать важное исключение. Всякой простой быт имеет свою поэзию; русской также! Положим, что А. А. Орлов слишком уже глубоко погружается в эту поэзию, что он вытаскивает ее и предает печати сыромятную, невыделанную, во всей наготе, которая не может быть не отвратительна...» (Надеждин Н. И. Литературная критика. Эстетика. М., 1972. С. 440).

² См.: Николай Полевой: Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. Л., 1934. С. 306.

русских нравов» (СПб., 1842) и «Очерки русских нравов» (СПб., 1843). В последнюю входил очерк «Русская ресторация», который, судя по всему, и подразумевал Гончаров.¹

Объединение имен Орлова и Булгарина не случайно и имеет предысторию: оба имени были иронически сопоставлены в «Телескопе» в 1831 году сначала Н. И. Надеждиным, а затем Пушкиным в статьях «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов» и «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем», подписанных псевдонимом Феофилакт Косичкин. На этот нашумевший эпизод журнальной полемики Белинский откликнулся в «Литературных мечтаниях» (1834): «Имя петербургского Вальтера Скотта Фаддея Венедиктовича Булгарина вместе с именем московского Вальтера Скотта Александра Анфимовича Орлова всегда будет составлять лучезарное созвездие на горизонте нашей литературы. Остроумный Косичкин уже оценил как следует обоих сих знаменитых писателей, показав нам сравнительно их достоинства <...> все дело в том, что сочинения одного выглажены и вылощены, как пол гостиной, а сочинения другого отзываются толкучим рынком. Впрочем, удивительное дело! несмотря на то что оба они писали для разных классов читателей, они нашли в одном и том же классе свою публику».²

Гончаров не столько имитирует стиль «двух плодовых писателей», сколько иронически обыгрывает характерную для обоих *низкую* тематику, объектом его иронии становятся как «трактирные» поделки первого, так и благонамеренное бытописание второго.

Такой же адресный иронический выпад можно усмотреть и в одном из микромотивов повести: «мечтательная» Фекла, готовясь к очередной загородной прогулке, «штопала серые чулки под цвет пыли» (1, 42). В данном случае Гончаров, вероятно, откликается на один из нашумевших эпизодов журнальной жизни второй половины 1820-х — начала 1830-х годов. В «Летописи мод» редактировавшего-

¹ Отмечено: *Евстратов Н. Г.* Гончаров на путях к роману. С. 193.

² *Белинский*. Т. 1. С. 106—107.

ся Н. А. Полевым «Московского телеграфа» (1825. № 14) сообщалось о цветах платьев — «голубом, розовом и грипусье»; последнее слово являлось искажением французского «gris-roussiègre» (пыльно-серый цвет). Это вызвало насмешки над Полевым «Северной пчелы» (№№ 116, 121, 126, 132 за 1825 год) и других изданий, и ряд памфлетов и эпиграмм, в которых Полевой фигурировал под именем Грипусье. «Славным Грипусье» назвал его Пушкин в статье «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем» (1831).¹ История с «грипусье» отразилась и на страницах рукописного «Подснежника». Так, в № 4 журнала за 1835 год в отделе мод сообщалось: «Модные цвета платьев гриделеневый, мордореевый, винтегреевый и табачковый», причем слово «винтегреевый» имело примечание: «Вероятно, vert-de-gris. Мы употребляем московскую терминологию».²

Полемическая задача автора «Лихой болезни» на протяжении десятилетий определялась в научной литературе как «критика романтического мировосприятия и пародирование романтических шаблонов в литературе».³ «“Лихая болезнь” — не просто повесть, это антиромантическая повесть», — писал А. Г. Цейтлин.⁴ Той же позиции придерживался и В. П. Сомов: «“Лихая болезнь” — <...> остро-пародийная повесть, включающаяся в борьбу литературных направлений того времени».⁵ Возражая против излишне идеологизированной интерпретации «Лихой болезни» и полагая, что «добродушная» («goodnatured») гончаровская ирония не может рассматриваться в категориях философских или мировоззренческих, Вс. Сечкарев предложил более мягкую формулировку: «Гончаров, безусловно, не имел намерения вести борьбу с романтизмом. Одна из принци-

¹ См. об этом также: Лонгинов М. Н. Сочинения. СПб., 1915. Т. 1. С. 104—106; Николай Полевой: Материалы по истории... С. 399; и др.

² *Подснежник 1835*. № 4. Л. 209 об.

³ *Вестрахов Н. Г. Гончаров на путях к роману*. С. 190.

⁴ *Цейтлин 1950*. С. 39.

⁵ *Сомов В. П. Три повести — три пародии: (О ранней прозе И. А. Гончарова) // Уч. зап. МГПИ. 1967. № 256. Ч. 1. С. 118.*

пиальных мишеней его иронии — чрезмерная сентиментальность».¹

Общую тенденцию рукописных журналов семьи Майковых — а вне этого ближайшего контекста не могут рассматриваться ранние повести Гончарова, — антиромантической назвать никак нельзя. В домашних изданиях не принимались, вызывая иронические реплики, романтические крайности, главным образом, в духе французских «неистовых», осмеивался эпигонский романтизм. Иронические и пародийные выпады провоцировались главным образом поэзией и прозой Евгении Майковой.² Ближайшим объектом гончаровской иронии является ее процитированная выше пасторальная миниатюра «Деревня. Отрывок из дневных записок Е. П. Майковой». Вместе с тем вопрос о приемах гончаровской пародии, о специфике его иронии представляется не вполне проясненным.³

В своей главной идейно-эстетической установке — неприятии романтизированной риторики слов и чувств — «Лихая болезнь» смыкается с более поздними произведениями писателя. Словесную риторику и ложный пафос Гончаров будет последовательно подвергать прозаической корректировке в «Счастливой ошибке», «Иване Савиче Поджабрине», «Письмах столичного друга к провинциальному жениху», «Обыкновенной истории», «Фрегате “Паллада”».

¹ *Setchkarev Vs. Ivan Goncharov: His Life and his Works.* P. 27.

² Справедливо мнение Н. Г. Евстратова, что в «Лихой болезни» «живописание природы героинями <...> есть не что иное, как пародийное воспроизведение автором соответствующих страниц из повестей Е. П. Майковой» (*Евстратов Н. Г. Гончаров на путях к роману.* С. 191).

³ См.: *Гродецкая А. Г. «Пафос середины»: (Ирония и автоирония у Гончарова) // Гончаров: Живая перспектива прозы: науч. статьи о творчестве И. А. Гончарова.* Szombathely, 2013. S. 38–48 (*Bibliotheca Slavica Savariensis.* Т. XIII); *Лоскутникова М. Б.* Поликультурное понимание иронии в романах И. Гончарова и особенности исследовательских позиций // *Русистика и компаративистика: Сб. науч. статей.* Вильнюс, 2013. Вып. 8. С. 75–87.

Сохранятся в более поздних текстах писателя и *домашние* мотивы ранней повести: в качестве реминисценций «Лихой болести» воспринимаются в тексте «Фрегата “Паллады”» сцены загородных прогулок: «Кому не случилось обедать на траве, за городом, или в дороге? Помните, как из кулечков, корзин и коробок вынимались ножи, вилки, жареные индейки, пироги?» (2, 403). Своего рода «болестью» представлен в книге путешествий и гастрономический культ барона Крюднера, приятеля автора-повествователя.

Как уже отмечалось, Гончарова в домашних сюжетах отчасти дублировал Солоницын в зарисовке «Так они наняли дачу!», вдохновленной, как и «Лихая болеть», богатой темой «странностей» семьи Майковых. В отличие от Гончарова, Солоницын не стремится к широким характерологическим обобщениям, его дружеский шарж — почти дагерротип. Ирония Солоницына, кроме того, жестче гончаровской и соседствует пусть с шутивым, но назиданием, автору «Лихой болести» совершенно не свойственным.¹

О том, что проблемы, затронутые Гончаровым в его «шуточной» повести, стали предметом серьезных размышлений для молодых участников домашнего кружка, свидетельствует стихотворение Аполлона Майкова «Лихая болеть» (1843), не публиковавшееся при жизни поэта и введенное в научный оборот И. Г. Ямпольским.² Тематически с гончаровской повестью стихотворение не связано, хотя свою «Лихую болеть» поэт, несомненно, создавал в диалоге, а возможно, и в полемике с ее автором. Отправляя текст

¹ Концепцию Гончарова в «Лихой болести», по мнению С. С. Деркача, «поддержал и развил с философской точки зрения» Валериан Майков в рассказе «Жизнь и наука», помещенном в «Лунных ночах» и повествующем о двух крайностях — субъективном идеализме и физиологизме, которыми последовательно «заражается» ученый Готлиб Кауфман (Деркач С. С. И. А. Гончаров и кружок Майковых. С. 35).

² См.: Майков А. Н. Неопубликованные произведения / Публ. И. Г. Ямпольского // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1974 год. Л., 1976. С. 128—130. Варианты второй редакции стихотворения см.: Ямпольский И. Г. Из архива А. Н. Майкова («Три смерти», «Машенька», «Очерки Рима») // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1976 год. Л., 1978. С. 54—55.

стихотворения из Италии в Петербург, он писал: «...вот <...> одна пьеса, писанная совершенно не в моем духе и роде; оттого и посылаю ее, чтоб вы сказали об ней свое мнение; что ее вызвало? постоянное направление нашего века все ругать и ни в чем не признавать хорошего».¹ Свое мнение Гончаров высказал в ответном письме от 2 марта 1843 года: «Тут Вы прекрасно свели мнения нового, самонадеянного поколения о наших знаменитостях и больно уязвили праздность, скуку и лень нашего века, в том числе и мою, прикрывающуюся гордым плащом какой-то странной философии, как испанский нищий прикрывает плащом жалкие лохмотья» (15, 53).

К ЖАНРОВОЙ ТИПОЛОГИИ: «СЧАСТЛИВАЯ ОШИБКА» В КОНТЕКСТЕ СВЕТСКОЙ ПОВЕСТИ

Долгое время остававшаяся неизвестной, не только не опубликованная, но и нигде не упомянутая автором, «Счастливая ошибка» единственный раз при жизни Гончарова попала в поле зрения историка литературы: среди материалов, помещенных в 1888 году в «Русской старине» к 50-летию литературной деятельности А. Н. Майкова, появилась заметка редактора журнала М. И. Семеvского «Аполлон Николаевич Майков в 1836—1839. Рукописный альманах 1839 года»,² в которой среди прочего была названа и неизданная повесть Гончарова, «уже обнаруживающая замечательный талант».³ В 1911 году А. Мазон, получив доступ к «Лунным ночам», хранившимся у вдовы Л. Н. Майкова А. А. Майковой, изложил содержание повести в статье «Неизвестная первая новелла Ивана Александровича Гончарова».⁴ Текст повести был впервые опубликован в 1920 го-

¹ Цит. по: 15, 285.

² Русская старина. 1888. Кн. 5. С. 531—534.

³ Там же. С. 534.

⁴ Časopis pro moderni filologii. Pŕaha, 1911. № 2. S. 106—111.

ду в Стокгольме Е. А. Ляцким,¹ в СССР она увидела свет в 1927 году, опубликованная А. Г. Цейтлиным.²

Ранняя повесть Гончарова отразила этап его сознательного ученичества именно в той форме, важность которой писатель впоследствии не раз признавал. Так, в известном письме к вел. князю Константину Константиновичу от 12 октября 1888 года начальный этап творчества любого автора он представил как «путь неустанного и *нескончаемого чтения* всей и всякой (своей и чужих) литератур, критик, полемики, крупных и мелких произведений, чтобы путем аналогических наблюдений выработать в себе тонкий критический анализ, уметь ценить других и себя и знать — не только *как* надо, но и *как* не надо писать».³ «Счастливая ошибка», несомненно, стала итогом «аналогических наблюдений» начинающего автора, она демонстрирует в равной мере и его зависимость от сложившихся жанрово-сюжетных и стилевых моделей современной ему литературы, и известную критичность по отношению к ним.

Вторая повесть Гончарова, по замечанию Н. Г. Евстратова, «менее всего была “домашним” произведением, хотя и предназначалась автором по-прежнему для узкого круга Майковых».⁴ В ней гораздо заметнее, чем в созданной годом ранее «Лихой болести», ориентация автора на современную литературу. Заметим, что в этом отношении Гончаров не составлял исключения в кругу Майковых. На современную литературу было ориентировано творчество большинства участников рукописных изданий, как и сами издания, руководимые Солоницыным, профессиональным литератором.

«Счастливая ошибка» принадлежит к жанру светской повести, мимо которого «в той или иной мере» не прошел

¹ Ляцкий Е. А. Гончаров: Жизнь, личность, творчество: Крит.-биограф. очерки. С прилож. повести И. А. Гончарова «Счастливая ошибка». 3-е изд. Стокгольм, 1920. С. 321—355.

² Гончаров И. А. Счастливая ошибка: Непубликованная повесть / Предисл. А. Г. Цейтлина // Недра. 1927. Кн. 10. С. 243—287.

³ Цит. по: К. Р. Переписка. СПб., 1999. С. 162.

⁴ Евстратов Н. Г. Гончаров на путях к роману. С. 184.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

ПРОЗА.

ГОНЧАРОВА :	стр.
Гастивная ошибка	243.
МАЙКОВОЙ, Евгении Петровны:	
Васкадь изъ гастной жизни	63.
МАЙКОВА, Аполлона:	
Покорение страны Сими Благодь европейцами .	143.
МАЙКОВА, Валеріана:	
Жизнь и наука (Безсмертное произведение) .	115.
МАЙКОВА, Владимира:	
Купной; сцена изъ китайской комедіи (Переводъ съ французскаго)	324.

«ни один заметный писатель 30-х годов».¹ На первую половину 1830-х пришелся стремительный расцвет жанра, широко представленного в творчестве Пушкина, Лермонтова, А. А. Бестужева-Марлинского, В. Ф. Одоевского, М. П. Погодина, Н. А. Полевого, Е. П. Ростопчиной, Н. Ф. Павлова, А. Ф. Вельтмана, В. А. Соллогуба, Е. А. Ган, М. С. Жуковой и др. Мода на светскую повесть, главным образом на повести Марлинского, схематизм «светских» сюжетов, однотипность героев и конфликтов способствовали появлению многочисленных эпигонских произведений. Поток их, впрочем, быстро иссяк: к началу 1840-х жанр теряет актуальность, уступив место как разнообразным физиологиям, так и психологической, нравоописательной и философской повестям.

Обращение Гончарова к популярному жанру можно, пожалуй, считать закономерным, как и обращение к нему И. И. Панаева, начинавшего светскими повестями («Спальная светской женщины», 1834; «Она будет счастлива», 1836; «Сегодня и завтра», 1837; и др.). Показательно и преобладание светских повестей среди прозаических произведений Е. П. Майковой, одного из самых продуктивных, как уже говорилось, авторов домашних рукописных изданий. К жанру «светских» принадлежат ее повести «Листок из журнала», «Сила души», «Что она такое?», «Рассказ из частной жизни», помещенные на страницах «Подснежника» и «Лунных ночей». Однако в отличие от перенасыщенных мелодраматическими эффектами повестей Майковой и повестей Панаева, в которых он, по собственному признанию, старался «рабски подражать манере изложения и слогу Марлинского»,² «Счастливая ошибка» откровенно эпигонских черт лишена.

¹ *Иезуитова Р. В.* Светская повесть // Русская повесть XIX века: История и проблематика жанра. Л., 1973. С. 173. См. также: Русская светская повесть первой половины XIX века / Сост., вступ. ст. и примеч. В. И. Коровина. М., 1990; *Сизова М. А.* Жанр «светской повести» в русской литературе 1830-х годов: творчество Е. А. Ган. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2007; и др.

² *Панаев И. И.* Литературные воспоминания. [Л.], 1950. С. 36.

Жанровому канону у Гончарова соответствуют и материал, и выбор героев, принадлежащих к кругу столичной аристократии, и ряд структурных элементов, как тематических (тема светского воспитания), так и дескриптивных (описание бала, будуара светской красавицы и др.).¹ Последние прописаны подробно, в них наиболее отчетливы иронические и полемические мотивы: это описания-сигналы, говорящие о продуманной жанровой ориентации и в целом — об осознанной *литературности* авторского задания. Так, сцену описания бала предвляло следующее отступление:

Все бытописатели, когда приходилось писать о бале, не забывали никогда упоминать о самом ничтожном и само собою разумеющемся обстоятельстве, что подъезд и окна бывают ярко освещены, а улица перед домом заперта экипажами. Да разве может обойтись без того один съезд порядочных людей? Конечно, описать эти мелочи, как описал Пушкин в «Онегине», другое дело! Туда мы и отсылаем любопытных по этой части и упоминать более об этом не станем... (1, 89).

Вместе с тем ключевая роль случая в фабуле повести и самый тип повествования, ведущегося от первого лица в форме непринужденной дружеской «болтовни» с читателем, определяются не столько поэтикой конкретного жанра, сколько нарративными моделями романтической прозы в целом. После «Счастливой ошибки» подобный тип повествования, как отметил М. Эре, у Гончарова больше не встречается.²

Если у последовательных романтиков сюжетную основу в светских повестях составляет любовно-психологическая драма с обязательной трагической развязкой (кроваво-мелодраматической у эпигонов) и счастливые финалы, вроде

¹ См. подробнее: Цейтлин А. Г. «Счастливая ошибки» Гончарова как ранний этюд «Обыкновенной истории» // Творческая история: Исследования по русской литературе. М., 1927. С. 134 и след.

² См.: Ehre M. Goncharov's early prose fiction // Slavonic and East European review. 1972. Vol. 50. № 120. P. 361.

СЧАСТЛИВАЯ ОШИБКА.

Ивана Александровича Гончарова.

Зачем Боже Милый мой! и так много всякой драмы
на свете, а Милый еще жалеешь насладиться!

Боголюб.

Шел в комнату — попал в оркестр.

Грибодовъ.



Знаешь ли-милый в сумерки... Да! поз-
вольте прежде спросить, любите ли
вы сумерки? — Я слышу молчаніе; а
молчаніе есть знакъ согласія: стало
быть любите. Да и какъ не любить
сумерекъ? кто ихъ не любитъ? Развѣ только заблуд-
дившіеся путники съ ужасомъ замечаютъ наступ-

Повесть Гончарова «Счастливая ошибка»
в «Лунных ночах», первый лист

тенденциозного финала в «Испытании» Марлинского, исключительно редки, то ранняя повесть Гончарова, в названии которой запрограммирован счастливый финал, строится на анекдотическом недоразумении, скоро (в течение полутора суток) и благополучно разрешающемся. И уже в этом можно усмотреть определенный вызов жанровому канону. Мотив социального неравенства (социальных предрассудков), составляющий одну из важнейших сюжетных пружин в типовых образцах жанра (препятствия к соединению влюбленных должны быть роковыми), у Гончарова отсутствует. Конфликт главного героя со светом, важнейший в сюжете классических светских повестей, предельно облегчен. Герой повести Егор Адуев как будто находится в ситуации романтического *отчуждения*, однако также в облегченной форме: он не посещает светских увеселений — и только. Обладатель «трех тысяч душ», представитель «знаменитого рода Адуевых» (1, 69), Егор влюблен и намерен предложить руку и сердце «прелестной восемнадцатилетней» Елене, баронессе Нейлейн. Обязательных для жанра светской повести резких антисветских инвектив,¹ обычно исходящих как от главного героя, так и от автора-повествователя и обращенных к светской *толпе* (в классической оппозиции *герой—толпа*), в «Счастливой ошибке» нет. Скажем больше: светский «антураж», сама светскость явно импонируют автору. Какая бы то ни было ирония отсутствует в рассказе о бале у неаполитанского посланника, в доме на Английской набережной, куда случайно, вместо публичного бала в купеческом Коммерческом клубе, попадает Адуев после размолвки с Еленой. Об аристократических гостях посланника сказано: «Тон, приемы, костюм, доведенные до высшей степени изящности и совершенства, простоты и естественности, под которые нельзя подделаться, облича-

¹ Ср.: «Почти неизменным атрибутом романтической повести или драмы становятся инвективы, в которых центральный персонаж осознает свое отчуждение. <...> Будучи глубоко оскорбленным, романтическое чувство изливается желчными сарказмами, чертит злые портреты-арабески. Больше всего достается “большому свету”» (Манн Ю. В. Динамика русского романтизма. С. 245).

ли в них первоклассных денди, людей, на которых воспитание, чуть ли не сама природа набрасывает особый оттенок» (1, 90). Ни светскость, ни светское воспитание, ни дендизм, «доведенные до высшей степени изящности и совершенства», не составляют, как видим, ни для героя, ни для повествователя предмета *отчуждения*.

Светская тема, светскость останутся актуальными для Гончарова и в 1840-е годы — в фельетонах «Светский человек» (1847) и «Письма столичного друга к провинциальному жениху» (1848). Светскость останется предметом внимания автора как во «Фрегате “Паллада”», так и в романной трилогии. Напомним известное авторское рассуждение о светскости барона Крюднера в «английской» главе «Фрегата “Паллады”»:

Он светский человек, а такие люди всегда мне нравились. Светское воспитание, если оно в самом деле светское, а не претензия только на него, не так поверхностно, как обыкновенно думают. Не мешая ни глубокому образованию, даже учености, никакому специальному направлению, оно вырабатывает много хороших сторон, не даетглохнуть порядочным качествам, образует весь характер и, между прочим, учит скрывать не одни свои недостатки, но и достоинства, что гораздо труднее. То, что иногда кажется врожденною скромностью, отсутствием страсти — есть только воспитание. Светский человек умеет поставить себя в такое отношение с вами, как будто забывает о себе и делает всё для вас, всем жертвует вам, не делая в самом деле и не жертвуя ничего, напротив, еще курит ваши же сигары, как барон мои. Всё это, кажется, пустяки, а между тем это придает обществу чрезвычайно много по крайней мере нужного гуманизма (2, 57).

Любовный конфликт в «Счастливой ошибке» приобретает почти водевильный характер, что сближает ее с написанными после нее «очерками» «Иван Савич Поджабрин» (1842). Скоро и благополучно разрешается и намеченный было конфликт в отношениях барина с крепостными. Социальная тема подана в повести в той шутиливо-комической

тональности, которая в светской повести совершенно невозможна, но характерна для прозы зрелого Гончарова.¹ Отношения Адуева с управляющим его многочисленными имениями, который читает ему письмо старосты² с информацией о его крепостных, даны в бытовой, а не в социально-критической плоскости.

Как и в случае с «Лихой болезнью», в научной литературе остался до конца не проясненным вопрос о степени пародийности повести и, соответственно, о ее полемической *антиромантической* направленности. Сопоставление «Счастливой ошибки» с теми или иными образцами светской повести, как правило, приводило исследователей к выводу либо о «невыдержанности» в ней жанрового канона, либо о пародировании этого канона, последовательном, по мнению одних, или также до конца не выдержанном, по мнению других. Так, А. Г. Цейтлин не видел в «Счастливой ошибке» пародийного начала, утверждая, что ее автор стоит «на переломе между романтикой и реализмом <...> не нашел еще свой стиль. <...> Быть может, поэтому-то Гончаров и не решился напечатать “Счастливую ошибку”, она могла ему показаться неспаянной, неорганичной, малооригинальной и в то же время нетрадиционной».³ Гончаров, на взгляд ученого, как будто остается в рамках традиции свет-

¹ «Было бы натяжкой, — писал Н. Г. Евстратов, — говорить об осознанной и последовательно проведенной антикрепостнической тенденции повести — сюжет ее связан с иным заданием, тем не менее нельзя обойти вниманием эпизод, в котором на примере Адуева показано, как часто судьба крепостных людей решалась капризом, минутным настроением барина» (*Евстратов Н. Г. Гончаров на путях к роману*. С. 196—197). Ср. мысль о неактуальности социального конфликта для сюжета повести: *Ehre M. Goncharov's early prose fiction*. P. 363—365; *Setchkarev Vs. Ivan Goncharov: His Life and his Works*. P. 32—33.

² А. Мазон отметил этот эпизод как предвосхищающий один из лейтмотивов в «Обломове» (см.: *Mazon A. Un maître du roman russe, Ivan Gontcharov: 1812—1891*. P. 56).

³ *Цейтлин А. Г. «Счастливая ошибка» Гончарова как ранний этюд «Обыкновенной истории»*. С. 135.

ской повести, но «не берет всерьез высоких переживаний своих героев».¹ Сопоставление «Счастливой ошибки» с повестью Марлинского «Местъ» (1835) привело В. Б. Бродскую к выводу, что «Гончаров <...> поставил перед собой задачу написать обыкновенную светскую повесть». Однако в силу «критического отношения» автора к действительности повесть из светской превратилась в ее «пародийную стилизацию».² Н. Г. Евстратов, совершенно оправданно искавший аналогии «Счастливой ошибке» не в высоких образцах жанра (Марлинский), а в массовой журнальной беллетристике, указал на опубликованную в 1836 году в «Библиотеке для чтения» повесть Рахманного (Н. Н. Веревкина) «Кокетка». И у Гончарова, и у Рахманного «страдательным лицом выступает “благородный” герой с пылким сердцем, страдающий от кокетства и гордости любимой им женщины»; у героев обеих повестей совпадает представление об идеале возлюбленной; почти в одних и тех же выражениях они упрекают своих избранниц в легкомыслии.³ Существенное отличие «Счастливой ошибки» от шаблонизированных светских повестей 1830-х годов ученый увидел в «самом характере отношения автора к своему герою и в принципах его изображения»: Гончаров не столько следовал жанру светской повести, сколько «преодолевал его, разрушал изнутри, пользуясь своим обычным оружием иронии и пародии».⁴ Точка зрения Евстратова была поддержана в работах В. П. Сомова, писавшего: «Все основные элементы “светской повести” (сюжет, герои, композиция, романтическая фразеология) последовательно пародируются молодым писателем»,⁵ повесть, таким образом, включает два плана —

¹ Цейтлин 1950. С. 43.

² Бродская В. Б. Наблюдения над языком и стилем ранних произведений И. А. Гончарова. С. 154—155, 157, 159.

³ Евстратов Н. Г. Гончаров на путях к роману. С. 194, 195.

⁴ Там же. С. 196, 197.

⁵ Сомов В. П. Три повести — три пародии: (О ранней прозе И. А. Гончарова) // Уч. зап. МГПИ. 1967. № 256. Ч. 1. С. 123. Ср. близкую точку зрения: Мухамидинова Х. М. Повествовательное слово в раннем творчестве И. А. Гончарова. С. 27.

пародируемый («стилизированный, стилизация как первая ступень пародии») и пародирующий.¹ Однако, как и Евстратов, Сомов рассматривал не сами пародийные приемы Гончарова, но отличия «Счастливой ошибки» от типовых светских повестей — присутствие социальных мотивов; более глубокий психологизм; юмор, служащий целям «сатиры и пародии»; позиция автора, не сливающаяся с позицией героя; приглушенность антисветской темы.

Следует признать, что и специфика стилизации, и приемы пародирования остались в «Счастливой ошибке» в достаточной мере не исследованными, да и сам вопрос о наличии в повести как *стилизации*, так и *пародирования* остался спорным, как и вопрос о ее антиромантической природе.

«Счастливая ошибка» не является ни жанровой стилизацией, ни жанровой пародией, несмотря на то что ряд жанрово-стилевых шаблонов в ней подается иронически.

Использование понятий *стилизация*, *пародия*, *пародирование* требует известной строгости. Для стилизации как «формы освоения чужого стиля необходима дистанция — пространственно-культурная, историко-культурная и тем самым идеологическая. Напротив, подражание возможно и продуктивно при отсутствии дистанции».² «Стилизация <...> предполагает художественное истолкование (осмысление и переосмысление, аналитическую и полемическую объективизацию) чужого стиля и стоящего за ним чужого мировосприятия <...>. Жанровая стилизация предполагает <...> глубокую степень проникновения в чужой текст-источник. Но ее появление возможно только при условии восприятия жанровой структуры как особого “языка”, что предполагает *достаточно далекую дистанцию* между современными жанровыми предпочтениями и традицией бытования воспроизводимого жанра. Такую дистанцию может создать новое литературное направление (например, романтизм для литературы 1840-х и далее годов) или прин-

¹ Сомов В. П. Три повести — три пародии. С. 126.

² Теория литературы: В 2 т. / Под. ред. Н. Д. Тамарченко. 4-е изд., стереотип. М., 2010. Т. 1. С. 465.

около нее; а около нее многоуны парикмахеры
и три горничных. Какъ хороша Елена теперь!



Она такъ гораздо лучше, нежели на какомъ-
нибудь раутѣ. Тамъ она встрѣчается особыми
приманками, особыми взгядами, особымъ речью;

Иллюстрация Н. А. Майкова к «Счастливой ошибке»

ципиально другая культурная эпоха...».¹ Необходимая для стилизации историко-культурная и идеологическая дистанция в «Счастливой ошибке», созданной в 1839 году, едва ли могла возникнуть. Гончаров в это время — участник литературного процесса (хотя и не печатающийся), он в этот процесс вписан и, не стилизуя, *пользуется* языком жанра, которым достаточно свободно владеет.

Необходима известная строгость и в использовании понятий *пародия* и *пародирование*. «Нельзя, — писал А. А. Морозов, — всякое ироническое ведение речи объявлять пародийным, не говоря уже о том, чтобы относить его к литературному жанру пародии. Иначе сами эти понятия станут настолько расплывчатыми, что могут утратить свои отличительные признаки <...>. Там, где комическое подражание следует лишь общим чертам оригинала, ограничивается его тематикой или продолжает и развивает его в том же направлении, не пополняя его новым материалом, оно остается в ряду подражаний, не лишенных черт пародийности, но не становится пародией».² И еще одну важную мысль специалиста по теории пародии стоит напомнить: «Нет нужды рассматривать каждую пародию только как орудие литературной борьбы...».³

Ранняя проза Гончарова принадлежит переходной эпохе и отразила сам феномен стилевой переходности. Своеобразие творческой манеры писателя видится отчетливее при сопоставлении «Счастливой ошибки» с произведениями столь же по своей природе переходными, какими являются, например, светские повести В. А. Соллогуба «Три жениха» (1837), «Сережа» (1838) и другие. Такой подход был намечен в статье В. И. Сахарова,⁴ однако продолжения не по-

¹ Козьменко М. В., Магомедова Д. М. Стилизация // Поэтика: Словарь актуальных терминов и понятий / Гл. науч. ред. Н. Д. Тамарченко. М., 2008. С. 244 (курсив мой. — А. Г.).

² Морозов А. А. Пародия как литературный жанр (к теории пародии) // Русская литература. 1960. № 1. С. 47, 51.

³ Там же. С. 74.

⁴ См.: Сахаров В. И. «Добиваться своей художественной правды»: Путь И. А. Гончарова к реализму // Контекст-1991. М., 1991. С. 120.

лучил. Специфика переходности в прозе Соллогуба, использовавшего, подобно Гончарову (в частности, в повести «История двух калош», 1839), романтические трафареты, была убедительно продемонстрирована В. М. Марковичем.¹ В повести необычна, как подчеркнул исследователь, сама тональность повествования, которое «начинается с шутиливой игры словами, с каламбуров, на время задающих авторскому рассказу тон забавной и небрежной светской болтовни. <...> Традиционную тематику <...> Соллогуб преподносит читателю легко и словно конспективно, как бы напоминая этой манерой о том, что речь идет о чем-то уже освоенном литературой. <...> Постоянно помня о том, что он имеет дело с литературной темой, Соллогуб поневоле воспринимает все изображаемое отстраненно и несколько условно. Поэтому содержание его повести оказывается чем-то не совсем “настоящим”. Поэтому рассказ о безысходной драме может совместиться с интонацией болтовни, с каламбурными и водевильными эффектами — все это признаки дистанции, образовавшейся между трагической проблематикой романтической прозы и сознанием писателя, в сущности, уже выходящего за ее пределы. Соллогуб еще “романтик”, но на его романтизм уже легла тень наступающего упадка: это романтизм, лишенный былой силы, *романтизм, тронутый неверием, близкий к самоосмеянию*. И то, и другое, и третье еще не проявилось в повести Соллогуба прямо и открыто, но косвенно сказалось во всех ее особенностях — от непринужденного, почти цитатного заимствования чужих сюжетных ситуаций или идей (стремление к самобытности как бы теряет смысл) до особой легкости их “подачи”, придающей повествованию оттенок литературной игры».²

Можно сказать, что и Гончаров помнит, что имеет дело с «литературной темой», и в его повести, тем более что она

¹ Маркович В. М. Тема искусства в русской прозе эпохи романтизма // Искусство и художник в русской прозе первой половины XIX века. Л., 1989. С. 35–36.

² Там же; курсив мой. — А. Г.

лишена какого бы то ни было сюжетного драматизма, повествование имеет «оттенок литературной игры».

Ирония проникает к концу 1830-х и в романтические повести Панаева, уже менее склонного в эту пору «рабски подражать» Марлинскому. Она очевидна, например, в его повести «Белая горячка» (1840), герой которой, художник Средневский, «рассуждал о предметах совершенно новых, как-то: о созвучии двух душ, о счастии быть любимым не по-здешнему, не по-земному; о высшем блаженстве найти себе девушку, облеченную в ризы ангельские, и слиться с нею в полной гармонии, а потом умереть, — и проч. и проч., *о чем прекрасно рассуждает всякий герой какого-нибудь романа или повести в высоком роде...*».¹

Безусловно прав В. П. Сомов, увидевший в «Счастливой ошибке» следы влияния «Повестей Белкина», в первую очередь «Метели» и «Барышни-крестьянки».² Однако и в этом случае исследователем явно преувеличено значение полемической, *антиромантической* авторской интенции («Гончаров в создании антиромантических произведений обращается прежде всего к опыту Пушкина <...> ранние повести Гончарова несовершенны, но как литературные пародии <...> они единственны в своем роде после антиромантической прозы Пушкина и выказывают руку остроумного пародиста, писателя-сатирика, врага всего ложного в литературе и жизни»³). Слишком прямолинейно воспринята здесь и пародийность «антиромантических» повестей Пушкина. Много точнее позиция В. Э. Вацура, писавшего: «...ирония Пушкина, например в “Метели”, — это не ирония пародии <...> ирония выступает в “Повестях” не как литературно-полемический прием, а как форма субъективного освещения событий, в функции, близкой к романтической

¹ Панаев И. И. Соч. Л., 1987. С. 102; курсив мой. — А. Г.

² См.: Сомов В. П. Пушкинские традиции в прозе И. А. Гончарова 30-х годов // Уч. зап. МГПИ. 1969. Вып. 315. С. 303–311. Параллель с «Барышней-крестьянкой» впервые указана: Пиксанов Н. К. Белинский в борьбе за Гончарова. С. 61–62.

³ Сомов В. П. Пушкинские традиции в прозе И. А. Гончарова 30-х годов. С. 311.

иронии».¹ Романтическая ирония, напомним, «имеет свойство качаться, скользить и ускользать, ничего не отрицать, ничего не утверждать окончательно...».²

«Счастливая ошибка» — рядовая светская повесть с большим количеством клишированных жанровых элементов и не стилизующих, а скорее, имитирующих приемов. Авторская ирония в ней — не ирония пародии, а та пародическая, игровая тональность, которая и позднее останется органичной для повествовательного стиля Гончарова.

Заслуживает внимания точка зрения М. Эре, писавшего, используя тыняновский термин, о *пародичности*,³ а не пародийности гончаровских текстов, для которых характерна «конфронтация различных категорий существования, поэтических и прозаических, идеальных и заурядных, исключительных и обыкновенных, воплощенных в одном или разных персонажах. Такие модели оппозиции пародичны по природе и не обязательно направлены против того или иного литературного направления».⁴

В целом повесть, как отметил в свое время А. Г. Цейтлин, «стилистически не едина, повествовательная концепция в ней не выдерживается, отношение автора к происходящему неровное и все время меняется».⁵ И в этом случае, вероятно, уместно напомнить об особенностях романтической иронии, которая «постоянно растворяет серьезность происходящего в романтической невыдержанности стиля».⁶

¹ Вацуро В. Э. От бытописания к «поэзии действительности» // Русская повесть XIX века: История и проблематика жанра. Л., 1973. С. 215.

² Берковский Н. Я. Романтизм в Германии, его природа, замыслы и судьбы // Берковский Н. Я. Романтизм в Германии. СПб., 2001. С. 71.

³ См.: Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 284—302, 484. См. также: Морозов А. А. Пародия как литературный жанр: (К теории пародии). С. 68—69.

⁴ Ehre M. Goncharov's early prose fiction. P. 356.

⁵ Гончаров И. А. Счастливая ошибка: Неопубликованная повесть / Предисл. А. Г. Цейтлина // Недра: Литературно-художественный сборник. М., 1927. Кн. 10. С. 244.

⁶ Манн Ю. В. Поэтика русского романтизма. С. 364.

Ранняя повесть Гончарова дает материал и для определения границ авторской иронии. Все, что связано в тексте с главной героиней, — история ее «чистого и благородного» сердца, пространные рассуждения автора-повествователя о светском воспитании Елены, лишено какой бы то ни было иронической окраски. Эта особенность — полная безыроничность повествования по отношению к главным героиням — сохранится и в «Обыкновенной истории» (Лизавета Александровна), и в «Обломове» (Ольга Ильинская), и в «Обрыве» (Вера).

Вне иронии подан в повести и мотив *разочарования* главного героя («сердце, истомленное мелочными связями без любви, ожесточенное изменами» — 1, 69), ставший к концу 1830-х тривиальным, опошленный поэзией и прозой *бытового* романтизма. Преувеличенным представляется поэтому утвердившееся в научной литературе мнение о глубине психологизма автора «Счастливой ошибки». «Повесть эта в основе своей психологическая, — писал, к примеру, А. Г. Цейтлин, — ибо Гончарова больше всего занимают внутренние мотивы человеческого поведения, законы психической жизни мужчины и женщины».¹ Создание писателем в повести «сложного психологического портрета» означало, по мнению С. С. Деркача, «новый шаг в его творческой эволюции».² Психологизм Гончарова в ранней повести более описателен, нежели аналитичен, текст перенасыщен пространными сентенциозно-моралистическими суждениями. Об оригинальности повествовательных средств начинающего писателя позволяет говорить, пожалуй, лишь живая и естественная интонация диалогов, составляющих в «Счастливой ошибке», как и в более поздних произведениях Гончарова, значительную часть текста. Смысловая структура диалогов между Адуевым и Еленой предвосхищает диалогические конструкции в «Обыкновенной истории» (Адуев и Надинька), в «Обломове» (Обломов и Ольга), в «Обрыве» (Райский и Вера): патетической риторике

¹ Цейтлин 1950. С. 44.

² Деркач С. С. И. А. Гончаров и кружок Майковых. С. 36.

главного героя во всех случаях противостоят короткие, холодно-отрезвляющие, ироничные и остроумные реплики героини.

Оба эпиграфа к повести — из Гоголя и Грибоедова — задают ее общую *игровую* тональность. Эпиграфы, кроме того, не менее «программно», чем многочисленные эпиграфы у писателей-романтиков, заявляют о литературных приоритетах молодого писателя. Манифестацией этих приоритетов служат и две отсылки к тексту «Евгения Онегина».

Первый из эпиграфов: «Господи Боже Ты мой! и так много всякой дряни на свете, а Ты еще жинок наплодил!» (1, 65), является *сокращенной* цитатой из «Сорочинской ярмарки» (1831).¹ Повесть в целом, как и «Лихая болезнь», испытала воздействие гоголевской поэтики, заметное в ряде комических приемов (шаржированные портреты и др.).

Второй эпиграф: «Шел в комнату — попал в другую» (1, 65) — цитата из «Горя от ума» (д. 1, явл. 4), буквально реализованная в фабуле, поскольку ее герой попадает в результате недоразумения из одного «собрания» в другое. К комедии Грибоедова Гончаров обращается в тексте и еще дважды. О главном герое, оскорбленном легкомысленным кокетством возлюбленной, сказано: «У него было нечто вроде “горя от ума”» (1, 79). И ниже грибоедовская реминисценция включена во внутренний монолог героя: «...пущусь странствовать по свету <...> путешествие всего спасительнее для сумасшедших этого рода» (1, 85). Движение фабулы и цитатные монологи героя выстраиваются так, что своей позой отвергнутого Егор Адуев повторяет Чацкого. Ранняя повесть предлагает вариант снятия грибоедовского любовного конфликта: Гончаров примиряет с миром поссорившегося с ним на короткое время «миниатюрного» (иначе говоря, *обыкновенного*) Чацкого. Напомним строки из статьи Гончарова «Милльон терзаний»: «Кроме крупных и видных личностей <...> Чацкие живут и не переводятся

¹ Ср. у Гоголя: «Господи Боже мой, за что такая напасть на нас, грешных! и так много всякой дряни на свете, а ты еще и жинок наплодил!» (Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: [В 14 т.] [М.; Л.], 1940. Т. 1. С. 120).

в обществе, повторяясь на каждом шагу, в каждом доме, где под одной кровлей <...> все длится борьба свежего с отжившим, больного с здоровым, и все бьются в поединках, как Горации и Куриации, — *миниатюрные* Фамусовы и Чацкие» (1980; 8, 43; курсив мой. — А. Г.).¹ Идейно-мировоззренческого конфликта сюжет повести и не предполагал.

Цепочка реминисценций из «Горя от ума» питает мотив поведения-подражания, который станет сюжетообразующим в «Обыкновенной истории». Есть в поведении главного героя и элементы подражательного «байронизма». На великосветском балу в доме неаполитанского посланника он стоит в той самой «байронической» позе, которая стала общим местом при описании балных сцен в литературе 1830-х годов: «...Адуев, прислонясь спиною к мраморной колонне, случайно переносил задумчивые взоры...» (1, 93). Сравним: «Лара на балу в замке Оттона стоит в знаменитой байронической позе — прислонившись к высокой колонне, скрестив руки на груди, внимательно и задумчиво созерцая танцующих».²

Отметим в «Счастливой ошибке» примеры иронического снижения, травестирования высоких, закреплённых романтической традицией (не только жанровой) сюжетных элементов. События биографии Егора Адуева, составленной из ряда типовых мотивов (раннее сиротство,³ путешествие в «чужие края», горький сердечный опыт), поданы в перечислительной, прозаизированной интонации. Травестирующую функцию, помимо прочего, выполняют имя и фамилия главного героя. В романтической традиции имя

¹ Значительно более серьёзную проекцию на комедию Грибоедова видит в «Счастливой ошибке» Е. А. Краснощекова, по мнению которой сюжет повести «в «свернутом» и отчасти травестированном виде воспроизводит поворотные моменты сюжета «Горя от ума»» (Краснощекова Е. А. Иван Александрович Гончаров: Мир творчества. С. 42).

² Жирмунский В. М. Байрон и Пушкин. Пушкин и западные литературы. С. 128.

³ О распространённости этого мотива у романтиков, мотивирующего *отчуждение* героя, и о его мелодраматизации в массовой литературе см.: Манн Ю. В. Динамика русского романтизма. С. 113.

по этой галлери и утопичнать болше объ этомъ не
стакнись, потпомучи не намерены цюбразнать
картинки бала, который намъ нуженъ только
для одного обстоятелства, имевшаго бываи
вляице на судьбу Сергея Петровича.

Андрей вошелъ въ стѣи, сунувъ билетъ свой
въ руки богато одетого швейцара и со удивлені-
емъ сталъ поднимать на лестницу, которую



облѣгилъ дорогой коверъ, сдѣлавшій бы гость ко

Иллюстрация Н. А. Майкова к «Счастливой ошибке»

героя было строго маркировано: высокий герой носил *благородное* имя, простонародное же имя и неблагозвучную фамилию мог иметь только заведомо прозаический персонаж.¹ При этом светским друзьям Адуева даны типовые романтические фамилии: Бронский, Дружевский. Фамилии-маски второстепенных героев (Раутов, Светов, Балов), восходящие к традиции просветительской сатиры, составляют в повести один из немногих «антисветских» элементов.

Для общей условно-игровой авторской задачи принципиальное значение имеет пространное описание сумерек, данное в экспозиции и содержащее целый комплекс литературных сигналов-отсылок: автор (еще раз процитирую) «напоминает о том, что речь идет о чем-то уже освоенном литературой».²

Однажды зимой в сумерки... Да! позвольте прежде спросить, любите ли вы сумерки? Я «слышу молчание», а молчание есть знак согласия: стало быть, любите. Да и как не любить сумерек? кто их не любит? Разве только заблудившийся путник с ужасом замечает наступление их; расчетливый купец, неудачно или удачно торговавший целый день, с ворчаньем запирает лавку <...>. Но то существенная, прозаическая радость, а в сумерках таятся высшие, поэтические наслаждения.

Благословен и тьмы приход! —

сказал Пушкин. Не есть ли это время нежной, мечтательной грусти, — не той грубой, неприятной грусти, которая изливается днем, при всех, горячими слезами, причины которой так тривиальны — крайняя бедность, потеря родственников и проч. <...> Не есть ли это, краснея скажу, время сладостного шепота, робкого признания, пожимания рук и... мало ли еще чего? А сколько радостных надежд

¹ «Адуи <...> — прозвище крестьян Одоевского уезда Тульской губернии. Адуи — водохлебы, медные брюха» (Словарь русских народных говоров. М.: Л., 1965. Вып. 1. С. 208).

² Маркович В. М. Тема искусства в русской прозе эпохи романтизма. С. 35.

и трепетных ожиданий таится под покровом сумерек! сколько приготовлений совершается к наступающему вечеру! О, как я люблю сумерки, особенно когда переношусь мысленно в прошедшее! Где ты, золотое время? воротишься ли опять? скоро ли?... (1, 65).

В поэзии и прозе романтиков изображение сумерек, времени таинственных природных метаморфоз, оформилось в одним из излюбленных мотивов. Напомним классические определения Н. Я. Берковского: «Романтики любили описывать превращения, разрушающие вещи и обнажающие жизнь»; «Романтики не доверяли ничему, что отстоялось, уплотнилось, сложилось...»; «Романтики любили туманности и неопределенности, — в них прячется свобода».¹ «...Заход солнца, — писал о тех же «излюбленных аксессуарах романтиков» Ю. В. Манн, — не замкнутое явление, но текущее, промежуточное, конец дня и начало сумерек...», а романтики «предпочитали законченному и замкнутому становящееся и движущееся».²

Присутствует в описании сумерек и характерная для Гончарова, создающая пародический эффект прозаизация поэтических включений: «“Благословен и тьмы приход!” — сказал Пушкин» (1, 65). Цитируется, однако, не «сказанное» Пушкиным, но строка из элегии Ленского в «Евгении Онегине» (гл. шестая, строфа XXI). Парафразой типового элегического мотива из тех же стихов Ленского и завершается пассаж о сумерках («Где ты, золотое время? воротишься ли опять? скоро ли?...» — 1, 65).

Взятые в кавычки слова «*слышу молчание*» отсылают, скорее всего, к «Невыразимому» Жуковского с широко известной заключительной строкой: «...И лишь молчание понятно говорит». Сравним в его же стихотворении «Мина»: «И ликов ряд недвижных стоит, / И, мнится, их молчанье

¹ Берковский Н. Я. Романтизм в Германии, его природа, замыслы и судьбы. С. 21, 22, 23.

² Манн Ю. В. Поэтика русского романтизма. С. 25. ср.: Манн Ю. В. Динамика русского романтизма. С. 23.

говорит...».¹ Молчание в эстетике романтизма — «высшая форма поэтического высказывания», «предельное ощущение полноты и невозможности ее выразить».² Очевидна в описании сумерек и перекличка с гоголевским «Невским проспектом». Сравним: «Но как только сумерки упадут на дома и улицы <...> настает то таинственное время, когда лампы дают всему какой-то заманчивый чудесный свет».³

Стилевые шаблоны, тиражировавшиеся в прозе 1830-х годов, в «Счастливой ошибке» многочисленны. И далеко не все они, повторим, поданы в иронической тональности. Совершенно безыроничны, например, сентенциозные рассуждения повествователя о сердце героя, «разбитом, уничтоженном» после ссоры с Еленой, «неспособном более к электрическому трепету сладостного чувства» (1, 69–70). Трафаретность мотива «электрического трепета» подтверждают примеры из светских повестей И. И. Панаева. В повести «Спальня светской женщины» читаем: «Одна! это слово электрически обьяло его сердце...», или: «Княгиня вздрогнула: ее проникал сладостный трепет».⁴ Уподобление любви электричеству и магнетизму, непознаваемым, по представлениям того времени, невещественным процессам (имеется в виду «животное электричество» и «животный магнетизм», «месмеризм»), популярное у писателей-романтиков, в 1830-е годы также стало расхожим. Сравнение любви с «электричеством души» многократно использовал О. И. Сенковский — в «Фантастических путешествиях» (1833), повестях «Любовь и смерть» (1834), «Записки домового» (1835).⁵

Для разностильного и несколько искусственного нарратива ранней гончаровской повести шаблонные поэтизмы вроде «электрического трепета сладостного чувства» вполне органичны, пародийной окраски они не имеют и поле-

¹ Жуковский В. А. Соч.: В 3 т. М., 1980. Т. 1. С. 288, 103–104.

² Манн Ю. В. Динамика русского романтизма. С. 25, 26.

³ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 14–15.

⁴ Панаев И. И. Первое полн. собр. соч. СПб., 1888. Т. 1. С. 27, 31.

⁵ См.: Сенковский О. И. Собр. соч. СПб., 1858. Т. 2. С. 63, 411; Т. 3. С. 241.

мических антиромантических функций не выполняют. Иронизировать по поводу «электрического трепета» будет Петр Иванович Адуев в «Обыкновенной истории». Прослушав рассказ племянника о его чувствах к Надиньке, он произнесет: «Без сомнения, действие электричества; влюбленные — всё равно что две лейденские банки: оба сильно заряжены; поцелуями электричество разрешается, и когда разрешится совсем — прости любовь, следует охлаждение...» (1, 239).

Неоднородность повествования в «Счастливой ошибке» объясняется и шаблонизацией жанрообразующих элементов светской повести, и в целом переходной стилиевой ситуацией конца 1830-х годов. Стилиевая «гибридность» — под черкнем — останется органической чертой гончаровского повествования. Ускользающая грань между иронией и серьезностью, взаимопроникновение авторского и чужого слова, перепады стиля, создающие в одних случаях эффект продуманной игры, в других — очевидные диссонансы, сохраняются в произведениях писателя и позднее.¹

Вместе с тем в «Счастливой ошибке» присутствует, как и в «Лихой болезни», адресная ирония. В повести упомянуты, например, символизируя вкусы петербургского обывателя, «Библиотека для чтения» и «сочинения Фиглярина» (1, 80, 83). И самый, пожалуй, любопытный, пример — иронический выпад против О. И. Сенковского. В пассаже, повествующем о сумерках, изображен выезжающий на Невский проспект «лихой серый рысак, запряженный в маленькие санки, в которых сидел молодой человек». «“Пошел!” — кричал он кучеру. Напрасно *сей* вытягивал руки во всю длину, ослаблял вожжи и привставал с места, понукая рысака» (1, 67). В рукописи местоимение «сей» подчеркнуто

¹ О функциях «рассеянной» чужой речи и «образуемых ею гибридных конструкций» в «Обыкновенной истории» см.: Маркович В. М. Схема и дискуссия в романах натуральной школы: (Герцен и Гончаров) // И. С. Тургенев и русский реалистический роман XIX века: (30–50-е годы). Л., 1982. С. 91 и след.; Бухаркин П. Е. «Образ мира, в слове явленный»: (Стилистические проблемы «Обломова») // От Пушкина до Белого: Проблемы русского реализма XIX — начала XX века. СПб., 1992. С. 132–134.

то — Гончаров реагировал на широко известное и многократно отраженное в журналистике 1830-х годов «гонение» Сенковского на славянизмы, главным образом на местоимения *сей, оный, поелику* и им подобные.¹ Последовательно выступая за приближение литературного языка к разговорному, Сенковский предлагал отказаться от их употребления. Его выступления приобретали подчас комический и «неумеренный», по словам современника, характер. Так, он напечатал «Резолюцию на челобитную *сего, оного, такового, коего, вышеупомянутого, вышеереченного, нижеследующего, ибо, а потому, поелику, якобы* и других причастных к оной челобитной, по делу об изгнании оных, без суда и следствия, из русского языка».² Над «гонениями» Сенковского кто только не иронизировал. Гоголь в статье «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» (1836) писал, что Сенковский «завязал целое дело о двух местоимениях: *сей* и *оный*, которые показались ему <...> неуместными в русском слоге. Об этих местоимениях писаны им были целые трактаты, и статьи его, рассуждавшие о каком бы то ни было предмете, всегда оканчивались тем, что местоимения *сей* и *оный* совершенно неприличны».³ «Гонимые» местоимения неоднократно обыгрывал в своих статьях и рецензиях Белинский. Так, в рецензии на «Учебную книгу всеобщей истории» И. К. Кайданова (1834) он заметил: «Кайданов любит мешать с русскими словами славяноцерковные, любит: *сей, оный, поелику*, которых по справедливости не любит почтенный Барон Брамбеус. Я, конечно, не так ожесточен против этих слов, как вышеереченный муж <...>, но я против их употребления без всякой нужды».⁴ Пародия

¹ См. об этом: Каверин В. А. Барон Брамбеус: История Осипа Сенковского, журналиста, редактора «Библиотеки для чтения». М., 1966. С. 93—103. Ср. также: Старчевский А. В. Воспоминания старого литератора. История «Библиотеки для чтения», 1848—1856 // Исторический вестник. 1891. № 8. Отд. III. С. 326—327; и др.

² Библиотека для чтения. 1835. Т. 18.

³ Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 160—161.

⁴ Белинский. Т. 1. С. 390. Поддерживал позицию Сенковского, не смотря на его «неумеренную горячность», Н. И. Надеждин: «Всем

К. А. Бахтурина «Барон Брамбеус» (конец 1830-х) начиналась строками:

До рассвета поднявшись, перо очинил
Нечестивый Брамбеус барон.
И чернил не щадил, *сих* и *оных* бранил
До полудня без отдыха он.¹

Цитатные и аллюзивные вкрапления у Гончарова от текста к тексту все заметнее будут терять полемическую функцию, оставаясь по преимуществу пародическими, т. е. не нацеленными на конкретный литературный объект. Полемичность, как и публицистичность, для прозы Гончарова в целом не органичны.

На прямую связь «Счастливой ошибки» с последующим творчеством Гончарова указал еще А. Мазон, отметивший «родство» Егора и Александра Адуевых.² А. Г. Цейтлин убе-

известна ненависть барона к «*сим*» и «*оным*», обнаруженная им еще до издания «Библиотеки». Конечно, эта неумеренная горячность, этот крестовый поход, проповедуемый беспрестанно против невинных местоимений, это вечное одно и то же, наконец, перешло через край, наскучило, надоело, несмотря на остроумие и веселость барона. Но, осуждая приторность повторения про одно и то же, я считаю долгом отдать справедливость основной мысли г. Брамбеуса, из которой происходит его ожесточение против «*сих*» и «*оных*» <...>. Г. Брамбеус хочет освободить русский язык из тяжелого плена книжного, хочет стряхнуть с него всю школьную, семинарскую пыль, хочет, чтоб у нас писали, как говорят, а не надуваясь, не уродуя себя умышленно, не витийствуя <...>. Мысль прекрасная, желание умное — хотя и высказывается г. Брамбеусом, может быть, так, в шутку, для мистификации!» (Надеждин Н. И. Литературная критика. Эстетика. М., 1972. С. 426).

¹ Русская стихотворная пародия (XVIII — начало XX в.). С. 286. Созданный при участии Бахтурина водевиль «Сей и оный» (1839) шел в сезон 1838/1839 годов на сцене Александринского театра (см. о нем: Балакин А. Ю. «Литературный» водевиль 1830—1840-х годов: Водевиль как средство журнальной и литературной полемики // Балакин А. Ю. Ближе к тексту: Разыскания и предположения. СПб, 2017. С. 266—270).

² См.: Mazon A. Un maître du roman russe, Ivan Gontcharov: 1812—1891. P. 56.

дительно продемонстрировал однородность «реплик, ремарок, описаний, целых эпизодов» в ранней повести и первом гончаровском романе, имея в виду сюжетную линию Александр Адуев — Надинька, повторяющую «от конца к началу» схему развития отношений героев «Счастливой ошибки».¹

Добавим, что жанровой традицией светской повести во многом определяется история воспитания Юлии Тафавой в «Обыкновенной истории» (ч. 2, гл. 3). В этом рудиментарном «светском» сюжете появляется и светский фат Сурков, мимоходом упомянутый в «Счастливой ошибке» (1, 78).

Сюжет «Счастливой ошибки» разрешается благополучным финалом — желанным союзом влюбленных. Нарушенный миропорядок, ссора с любимой девушкой, чуть было не приведшая главного героя к состоянию, близкому к помешательству, в финале повести восстанавливается, поддержанная согласием и единением всех участников действия. *Сумеречная* промежуточность и неопределенность, созданная в экспозиции повести, обретает, можно сказать, черты дневной ясности.

Ранняя повесть демонстрирует скорее живой интерес начинающего писателя к популярному жанру и стремление освоить и его тематику, и нарративную технику, и жанровую идеологию (без идеологического дистанцирования), нежели стремление преодолеть жанровые стереотипы, как принято считать. Авторская интенция направлена на преодоление жестких романтических оппозиций, драматизма самой ситуации романтического *отчуждения*, она и в целом направлена к поиску гармонии.

Произведения, созданные Гончаровым в начале 1840-х годов, — два «институтских» текста и «очерки» (это авторское определение) «Иван Савич Поджабрин» (1842), имеют очевидные признаки жанрово-сюжетных поисков автора вне сложившихся жанровых канонов. Во всех трех не вы-

¹ Цейтлин А. Г. «Счастливая ошибка» Гончарова как ранний этюд «Обыкновенной истории». С. 125—145.

держивается единая жанровая стратегия, присутствуют элементы анекдота, водевиля и иных малых жанровых форм.¹

СТРУКТУРА И СЕМАНТИКА СЮЖЕТА В «ДОМАШНИХ» ПОВЕСТЯХ

В фундаментальных работах по исторической поэтике и теории жанра утвердилось представление о двух «исконных в типологическом отношении» сюжетных схемах: циклической и кумулятивной.² Каждая из них обладает собственной исторически обусловленной содержательностью, собственным художественным языком, с каждой связан определенный тип героя. Семантика и функции циклического сюжета на долитературной стадии (миф и фольклор) описаны в классических работах В. Я. Проппа, О. М. Фрейденберг, Е. М. Мелетинского.³ Кумулятивному сюжету и его семантике значительное внимание уделил Н. Д. Тамарченко, его наблюдения и выводы приняты за основу при дальнейшем изложении материала.

¹ См. подробнее: *Отрадин М. В.* Проза И. А. Гончарова в литературном контексте. СПб., 1994. С. 5–23; *Фаустов А. А.* «Иван Савич Поджабрин» в кругу гончаровских очерков // И. А. Гончаров: Материалы междунар. конференции, посвящ. 185-летию со дня рождения И. А. Гончарова. Ульяновск, 1998. С. 276–288; *Тюпа В. И.* Коммуникативная стратегия анекдота и генезис литературных жанров // Школа теоретической поэтики: Сб. науч. трудов к 70-летию Н. Д. Тамарченко. М., 2010. С. 172–178; и др.

² См.: *Лотман Ю. М.* Происхождение сюжета в типологическом освещении // Лотман Ю. М. Избр. статьи: В 3 т. Таллинн, 1992. Т. 1. С. 224–242; *Тамарченко Н. Д.* 1) Принцип кумуляции в истории сюжета: (К постановке проблемы) // Целостность литературного произведения как проблема исторической поэтики: Сб. науч. трудов. Кемерово, 1986. С. 46–54; 2) Русский классический роман XIX века: Проблемы поэтики и типологии жанра. М., 1997. С. 60–73.

³ См.: *Пропп В. Я.* 1) Морфология сказки. 2-е изд. М., 1969; 2) Русская сказка. Л., 1984. С. 173–244, 294–295; *Фрейденберг О. М.* Поэтика сюжета и жанра. М., 1997; *Мелетинский Е. М.* Поэтика мифа. М., 1976. С. 230–276; и др.

Поскольку мы располагаем всего двумя ранними повестями Гончарова, то различия в построении сюжета представляются в них особенно очевидными. По сути, повести составляют своего рода контрастную пару, демонстрируя использование начинающим писателем обеих «исконных» сюжетных схем в их, можно сказать, чистом виде. В «Лихой болясти» мы имеем пример кумулятивного сюжета, в «Счастливой ошибке» — циклического.

Как циклическому, так и кумулятивному типу сюжета «соответствует свое представление об универсуме как целом». Тексты, в основе которых лежит циклическая схема, «реконструируют мир как полностью упорядоченный, наделенный единым сюжетом и высшим смыслом»; «трагическое напряжение сюжета» сменяется в них «конечным умиротворением». Кумулятивный тип «реконструирует картину мира, в которой господствует случай, неупорядоченность».¹

Сюжетное «нанизывание», выполняя функцию ретардации, вводя препятствия в развитие действия, отражает «способ художественного освоения эмпирического многообразия жизни; многообразия, которое нельзя подчинить какой-либо заданной цели и которое, тем самым, как бы лишено смысла. Принцип кумуляции <...> содействует тому, что любой элемент этого неупорядоченного богатства жизненных явлений может получить большое значение, но не абсолютное и безусловное, а условное и временное».²

Кумулятивная сюжетная схема лежит в основе большого количества произведений разных эпох, от кумулятивной

¹ Лотман Ю. М. Происхождение сюжета в типологическом освещении. С. 234, 235.

² Тмарченко Н. Д. Принцип кумуляции в истории сюжета. С. 50. Ср.: «Принцип кумуляции содействует тому, что любой элемент неупорядоченного богатства жизненных явлений может выступить катализатором процесса установления всеобщих связей». И еще: в дореалистических романских формах (например, в плутовском романе) «кумулятивный принцип содействует художественному освоению эмпирического многообразия мира под знаком утверждения его жизненной ценности и отрицания готовых «упорядочивающих» начал как мнимых, умерщвляющих неуправляемое богатство жизни» (Тмарченко Н. Д. Русский классический роман XIX века. С. 65, 67).

сказки, исследованной В. Я. Проппом,¹ до «Фальшивого купона» Льва Толстого, в сюжете которого последовательно, эпизод за эпизодом, развернута эскалация зла.

«Основной художественный прием этих сказок, — писал В. Я. Пропп о кумулятивных сказках, — состоит в каком-либо многократном повторении одних и тех же действий или элементов, пока созданная таким образом цепь не порывается или же не расплетается в обратном порядке. Простейшим примером может служить русская сказка “Репка” <...>. Кумулятивные сказки строятся не только по принципу цепи, но и по самым разнообразным формам присоединения, нагромождения или нарастания, которое кончается какой-нибудь веселой катастрофой. <...> В разнообразном в своих формах нагромождении и состоит весь интерес и все содержание этих сказок. Они не содержат никаких интересных или содержательных “событий” сюжетного порядка, наоборот, самые события ничтожны (или начинаются с ничтожных), и ничтожность этих событий иногда стоит в комическом контрасте с чудовищным нарастанием вытекающих из них последствий и с конечной катастрофой (начало: разбилось яичко, конец — сгорает вся деревня)».² «Композиция кумулятивных сказок <...> чрезвычайно проста. Она складывается из трех частей: из экспозиции, из кумуляции и из финала. Экспозиция чаще всего состоит из какого-нибудь незначительного события или очень обычной в жизни ситуации: дед сажает репку, баба печет колобок, девушка идет на реку выполаскивать швабру, разбивается яичко, мужик нацеливается в зайца и т. д. Такое начало не может быть названо завязкой, так как действие развивается не изнутри, а извне, большей частью совершенно случайно и неожиданно. В этой неожиданности — один из главных художественных эффектов таких сказок. За экспозицией следует цепь (кумуляция)».³

¹ Пропп В. Я. Кумулятивная сказка // Пропп В. Я. Фольклор и действительность: Избранные статьи. М., 1976. С. 243–257.

² Там же. С. 243.

³ Там же. С. 244. По мысли ученого, «реликтовый» характер принципа кумуляции, отражая стадию незнания «времени и пространства

Обобщая наблюдения В. Я. Проппа, Н. Д. Тамарченко в работе, посвященной функционированию архаических сюжетных схем в различных жанровых типах романа, выделял несколько устойчивых элементов кумулятивной структуры: ее компоненты должны быть однородными; их *нанизывание* происходит по возрастанию, по формуле арифметической прогрессии; кумуляция всегда имеет естественный предел, за которым следует катастрофа, образующая финал.¹ Этот предустановленный финал, названный В. Я. Проппом «веселой катастрофой», завершает цепь случайностей, возникших вследствие нарушения изначального порядка. Достижение рационального предела и иррациональная «запредельность» в нанизывании не могут не сопровождаться смехом.

С кумулятивной сюжетной структурой связан определенный тип персонажа — «либо имеющий непомерные притязания (преувеличивается значение начальной беды, собственные возможности или потребности <...>), либо не понимающий разумные нормы обыкновенной жизни»; он, как правило, «связывается с фигурами дурака или обманщика, плута».²

В сюжетной схеме гончаровской «Лихой болести» наличествуют фактически все обязательные компоненты кумулятивной модели. В экспозиции повести звучат признания рассказчика о совершенно случайно открывшейся ему «странной и непостижимой эпидемической болезни» его знакомых — семейства Зуровых и их ближайших друзей, «очевидным свидетелем и чуть не жертвою» которой он становится. Имеет место и «беспричинность начала действия», отсутствующая завязка, характерные для кумулятивного сюжета. «Ничтожность» событий и значительность их последствий (финальная катастрофа) также составляют контраст, необходимый в структуре кумулятивного сюжета.

как продукта абстракции», измеряет их «через конкретно данные посредствующие звенья: так ходят слепые, перебираясь от предмета к предмету» (Там же. С. 248).

¹ Тамарченко Н. Д. Русский классический роман XIX века. С. 63.

² Там же.

Повествование в повести ведется от первого лица, рассказчик выступает и участником событий, и их наблюдателем и интерпретатором. Имя рассказчика — Филипп Климыч — звучит в тексте повести лишь однажды, в жизни Зуровых он появляется случайно, на непродолжительное время и так же внезапно исчезает. Такая функция и такая точка зрения повествователя органичны для данного сюжетного типа, повествователь подобного типа выполняет в сюжетной цепочке лишь «оцельняющую» функцию.¹

Тяжелое заболевание Зуровых (петербургских жителей, что немаловажно) проявляется, как уже говорилось, в неудержимом стремлении весной и летом к ежедневным загородным прогулкам. В бегстве Зуровых из «душного» города к природе и природной «естественности» находит выражение в обывотленной и травестированной форме комплекс сентименталистских и романтических идей. В сознании не покидающего своего дома Никона Устиновича Тяжеленко эти идеи приобретают не только комически утрированный, но и мистический характер.

Повествование о приступах «несчастной мономании» в семействе Зуровых, *нанизываемое* эпизод за эпизодом, и составляет кумулятивную цепочку событий в «Лихой болести». Действие развивается по нарастающей, происшествия во время прогулок приобретают все более отчетливые симптомы грядущей *катастрофы*. Поездки в Стрельну, Петергоф, Парголово, Токсово продолжаются и под проливным дождем, и в зной при палящем солнце, что приводит любителей прогулок к слепоте, солнечному удару, обездвижению и т. д. Убедившись в неизлечимости Зуровых, трезвомыслящий и не зараженный страшным «недугом» рассказчик расстается с ними. В эпилоге он получает письмо, из которого узнает, что семейство, совершившее несколько «прогулок» в Финляндию и Швейцарию, уезжает наконец в Америку, где, отправившись на очередную прогулку в горы, назад не возвращается.

Такова сюжетная *цепочка* в «Лихой болести». Герой подобного сюжета, как мы помним, «либо имеет непомерные

¹ Тамарченко Н. Д. Русский классический роман XIX века. С. 69—70.

притязания», «либо не понимает разумные нормы обычной жизни». *Энтузиастам* Зуровым, в полном соответствии с классической схемой, свойственно и то, и другое.

Служит ли в данном случае «реликтовая» схема основной смыслопорождения? Если оставить в стороне оппозицию мнимой деятельности Зуровых и гротескной бездеятельности Тяжеленко, то сама конструкция сюжета определенно останется содержательной. Главный поддерживаемый ею смысл — случайность происходящих событий, их немотивированная безначальность, почти механическая повторяемость и однотипность. Как одно, так и другое обесценивает и обесмысливает изображенные в повести ситуации. При этом финал повести кажется недостаточно содержательно мотивированным, избыточно катастрофичным. Пожалуй, для «веселой катастрофы» достаточно было бы и просто отъезда семейства Зуровых в Америку — на сверхотдаленную и сверхдлительную «прогулку». Даже в качестве элемента, заданного обязательным в кумулятивной схеме принципом эскалации, их гибель в горах выйдет преувеличенно драматичной. Остается допустить, что автор уподобил финальное разрешение сюжета — сказочному, лишенному в кумулятивной сказочной схеме какой бы то ни было рациональной логики.

В итоге в повести торжествует ирония, с тем ее оттенком, который и в других гончаровских произведениях будет граничить с романтической иронией, обнаруживающей условность созданного текста как такового.

Если кумулятивный тип сюжета не обеспечивал «восстановления цельности человека и его единства с миром»,¹ то такую задачу выполнял циклический сюжетный тип. Именно он использован Гончаровым во второй *домашней* повести — «Счастливой ошибке». Как было показано выше, ее сюжетное построение сводится к тому, что *случайно* нарушившаяся гармония с миром главного героя в финале полностью восстанавливается.

Таким образом, в начале творческого пути писатель освоил и использовал обе исконные сюжетные модели.

¹ Там же. С. 73.

Представляют интерес и другие случаи его обращения к этим моделям. Кумулятивную схему Гончаров использует в очерках «Иван Савич Поджабрин», построенных на цепочечном нанизывании эпизодов: «жуир» Поджабрин постоянно переезжает с квартиры на квартиру и становится участником все новых и новых любовных историй. Язык сюжетной конструкции демонстрирует безначальность и бесконечность и в итоге полную бессмысленность его «жуирования». Не случайно А. А. Фаустов, исследуя очерковую жанровую природу этого гончаровского текста, в качестве элемента, нарушающего жанровый канон, отметил «бессмысленность» входящих в «очерки» эпизодов. По наблюдению ученого, сама изображаемая жизнь «словно сопротивляется “классификаторским” усилиям повествователя (не особенно, впрочем, настойчивым) и все время рассыпается на “бессмысленные” детали. У этой бессмыслицы есть, однако, какая-то своя навязчивая логика...».¹ К слову, меняя квартиры, Поджабрин с легкостью совершает именно то, что становится фатально невозможным для Обломова. В данном случае мы имеем пример межтекстовой *оппозитивности* ситуаций, каждая из которых развернута в самостоятельный сюжет.

Циклическая сюжетная модель реализуется и в «Обыкновенной истории», и в «Обломове». А. Молнар пишет по этому поводу: «Роман Гончарова реализует мифопоэтические принципы построения кольцевой композиции, замкнутого сюжета, в котором на разных уровнях повторяется то же самое действие».²

Приемы сюжетопостроения в прозе Гончарова, включающие «реликтовые» сюжетные модели с их устойчивым языком, к сожалению, мало изучены и заслуживают дальнейшего исследования.

¹ Фаустов А. А. «Иван Савич Поджабрин» в кругу гончаровских очерков. С. 277; курсив автора.

² Молнар А. Поэзия прозы в творчестве Гончарова. Ульяновск, 2012. С. 35.

ГЛАВА 3

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ ИНСТИТУТ И ИНСТИТУТСКИЕ СЮЖЕТЫ

РУКОПИСНАЯ ГАЗЕТА «СПЛЕТНЯ» (1842)

Коллективное домашнее творчество Майковых и их друзей и участие в нем Гончарова не ограничилось выпуском «Подснежника» и «Лунных ночей». Осенью 1842 года, после отъезда Николая Аполлоновича и Аполлона в Италию, в доме Майковых начинает выходить юмористическая газета «Сплетня», в которой Гончаров выступал и как автор, и как персонаж с постоянной маской ленивца. О газете можно судить только по эпистолярным свидетельствам — других не сохранилось. Не сохранились и принадлежавшие Гончарову газетные материалы.¹

Стоит отметить найденную в кругу Майковых новую литературную форму, далекую от жанровых канонов, возникшую в многообразии популярных в семье игровых коммуникативных форм. Немаловажным было наличие заинтересованного в материалах газеты адресата — Аполлона Майкова. Переписка домашнего кружка с жившими во Франции и Италии А. Н. и Н. А. Майковыми становится в 1842—1843 годах регулярной, приобретая характер *хроники*. Именно эту особенность эпистолярного общения вы-

¹ См. о газете: 1, 619—620 (примеч. А. Г. Гродецкой); также подробнее: Балакин А. Ю. Знакомый Гончарова поэт Яков Щеткин // Балакин А. Ю. Разыскания в области биографии и творчества И. А. Гончарова. М., 2018. С. 167—172 (здесь опубликованы сохранившиеся материалы газеты).

деляет Гончаров, сообщая Майковым в письме от первых чисел октября 1842 года: «...веду секретную хронику секретных институтских дел как секретарь...» (15, 44).

Домашнюю переписку начала 1840-х годов есть основания рассматривать как прообраз хроникальных писем Гончарова с борта фрегата «Паллады», адресованных тем же корреспондентам. Гончаров не то чтобы предугадывает свою роль хроникера в экспедиции Е. В. Путятина, он определяет органичную для себя уже в эти годы форму повествования — фиксацию мелких бытовых и психологических наблюдений, жанровых сценок, проходящих перед глазами стороннего, объективного наблюдателя. Повествование в хронике организовано течением времени, естественной последовательностью событий. В переписке начала 1840-х годов складывается и *домашняя аудитория*, которая останется исключительно актуальной для эпистолярия Гончарова последующих лет, где именно адресат определяет степень доверия, открытости и, что не менее важно, стилистической свободы автора письма, в том числе и присутствие в тексте масочных, игровых приемов.¹ В ранних письмах Гончарова возникает то диалогизированное слово и тот игровой диалог с адресатом, в котором последний заранее подготовлен к восприятию известной условности текста и чувствует грань между серьезностью и иронией.

Первое упоминание о газете встречается в письме Якова Щеткина Аполлону Майкову от первых чисел октября 1842 года (совместном с Вл. Майковым, Гончаровым, К. А. Майковым и Ю. Д. Гусятниковой). Щеткин писал:

О себе не стану тебе ничего рассказывать: есть предметы гораздо занимательнее для тебя — напр<имер>, *пятницы*. После тебя они решительно изменили свой характер: они сделались строги, важны, умеренны; если движение страстей не исчезло, то оно подчинилось самой искусной дипломатии <...>. Мы хотим вести хронику всех замечатель-

¹ См. об этом, например: Пинженина Е. И. Литературная «игра» в эпистолярии И. А. Гончарова // Игра как прием текstopорождения: колл. моногр. Красноярск, 2010. С. 74—80.

ных событий в нашем союзе, который не ограничивается одною империею цветов — институтом, но заключает в себе и королевство Трузонию, и Царство жемчужины дам *Пеля*, и вольный город Юнию, и острова, где растет трынтрава, то есть остров Труда, остр<ов> Беспокойного движения, остр<ов> Комплиментов, остр<ов> Марса, город Сибарис (не тот, который ты, может быть, увидишь при Тарантинском заливе; нет! у нас есть свой, доморощенный) и др. Политические события в этих государствах будут исчисляемы каждый месяц, и ты узнаешь положение дел во время твоего отсутствия... (15, 45—46).

Речь в письме идет о Екатерининском институте,¹ в котором с октября 1839 года старшей классной дамой, затем инспектрисой при пепиньерском классе² состояла Наталья Александровна Майкова, вдова Вал. Ап. Майкова, брата Николая Аполлоновича, дочь известного баснописца А. Е. Измайлова, по воспоминаниям А. В. Старчевского, «дама превосходно образованная и воспитанная, одаренная внешними прекрасными качествами и остроумием».³ В начале 1840-х Гончаров вместе со старшими и младшими Майковыми, дядей и племянником Солоницыными и другими участниками домашнего кружка регулярно посещал «пятницы» в институте. В этом кругу сложился своеобразный шутиво-игровой ритуал отношений с пепиньерками, отразившийся

¹ Женский педагогический институт ордена св. Екатерины, основанный в Петербурге в 1798 г., занимал здание на Фонтанке (1804—1807; арх. Д. Кваренги). Ныне: отдел РНБ (Фонтанка, 36).

² Пепиньерки (от фр. *pépinière* — питомник, рассадник), ученицы пепиньерского класса (существовал в Смольном, Патриотическом, Екатерининском и др. женских институтах), в котором выпускницы проходили дополнительный одно- или двухгодичный курс обучения.

³ *Старчевский А. В.* Один из забытых журналистов: (Из воспоминаний старого литератора) // Исторический вестник. 1886. № 2. Отд. III. С. 376. О Нат. А. Майковой как участнице рукописных домашних изданий Майковых см. выше, с. 68; о ее должности в институте см.: Список слушателей, преподавателей и учениц Екатерининского института за 1842 г. — РГИА. Ф. 759. Оп. 94. № 213. Л. 3 (установлено А. Ю. Балакиным); о ее дальнейшей судьбе (во втором браке — Азаревич) см. ниже, с. 239—240.

в переписке майковского кружка и двух «домашних», не публиковавшихся при жизни Гончарова очерках — <«Хорошо или дурно жить на свете?»> (<1841—1842>) и «Пепиньерка» (1842), о которых речь ниже.

Письма Майковых и их ближайших друзей содержат любопытные сведения о любви и ревности, о «буре сердец», которой вместе со всеми был захвачен и Гончаров. Институт называется в них «раем», «жилищем ангелов», «островами блаженных», «Империей цветов», пепиньерки — «Ангелами», «блаженными» («блаженные» — также и посетители института мужчины), так же они названы и в обоих указанных очерках Гончарова.¹

За каждой аллегорией в процитированном письме стоит конкретное лицо, которое легко устанавливается благодаря переписке Майковых. Характерно ролевое поведение в кругу Майковых, обстановка игры, в которой Гончаров принимал самое живое участие: город Сибарис представлял именно он.

Своим названием королевство Трузсония обязано дому генерала И. Х. Труссона (Трузсона)² на Новоисаакиевской ул., д. 21, где в это время жили Майковы.³ Царство жемчужины дам *Пеля* — это дом петербургского архитектора и домовладельца А. Х. Пеля⁴ на Литейной ул.,

¹ «Острова блаженных», или Элизиум, Елисейские поля (место пребывания душ праведников), — образ, восходящий к классическим произведениям античности (упоминается в «Одиссее» Гомера, «Энеиде» Вергилия, «Трудах и днях» Гесиода и др.).

² Иоганн (Иван Христианович) фон Труссон (Трузсон) (ок. 1780—1843) — инженер, генерал-лейтенант.

³ См. адрес на конверте письма Ап. Майкова матери от 7 нояб. 1842 г. из Италии — *РО ИРЛИ*. № 16994. Л. 10 об.; также: *Нистрем К.* Адрес-календарь санктпетербургских жителей: в 3 т. СПб., 1844. Т. 1. С. 42. Ныне: ул. Якубовича, д. 22 (дом сохранился). В январе 1844 г. после возвращения из-за границы Майковы переедут на Галерную ул., д. 17 (см. выше, с. 16).

⁴ Александр Христофорович Пель (1809—1902), петербургский архитектор и домовладелец; в 1830—1860-х гг. им построено ок. 70 доходных домов, в основном в Литейной части. О жилых домах Пеля на Литейном пр. см.: *Исаченко В. Г., Питанин В. Н.* Литейный проспект.

№ 36,¹ в котором жила с матерью Е. В. Толстая.² Под именем «принцессы Жемчужины» она, а ее мать как «королева Барбара Жемчужного королевства»³ упоминаются и в других письмах семьи Майковых этого времени.⁴ Вольный город Юния — это Ю. Д. Гусятникова (в замуж. Ефремова), племянница Е. П. Майковой. Остров Труда — легко узнаваемый, «любивший труд до самозабвения», старший Солоницын. Остров Беспокойного движения — В. Ап. Солоницын, который уже не раз упоминался как участник рукописных изданий. «Беспокойного» Солика в одном из писем Аполлону (осени 1843 года) портретировала Евгения Майкова: «...Соляша все так же неугомонен в своих движениях и еще более вертит голову свою в галстук с тех пор, как *объявлен* решительно влюбленным в Паравиковскую».⁵ Остров Комплиментов — Яков Щеткин, также уже упоминавшийся выше, о его амплу мастера комплиментов находим свидетельство в письме старшего Солоницына к Ап. Майкову от 28 апреля 1843 года, где он писал: «Щеткин принес мне письмо для отправления вместе с моим. Не думая, что тут были какие секреты, я прочел его и нашел комплимент мне и Гончарову. Вздор! Верно, ты сам согласишься в неосновательности суждений бедного Щеткина, а после этого и ненужный комплимент падает».⁶ Игра в комплименты, судя

Л., 1989. С. 136—137; Зодчие Санкт-Петербурга: XIX—начало XX века. СПб., 1998. С. 1019—1020.

¹ О нем Гончаров вспомнит в письме к В. А. Толстой от 28 сент. 1856 г.: «...именно на Литейной, в том самом доме, где жили некогда Вы: то есть в доме, бывшем Пеля, а теперь *принадлежащем Духовному ведомству*» (Голос минувшего. 1913. № 12. С. 251). Ср.: Цылов Н. Описание улиц С.-Петербурга и фамилии домовладельцев к 1863 году. СПб., 1862. С. 196.

² Елизавета Васильевна Толстая (в замуж. Мусина-Пушкина; 1827—1877), знакомая семьи Майковых, предмет серьезного увлечения Гончарова в 1855—1856 гг.

³ Варвара Александровна Толстая (рожд. Мусина-Пушкина), знакомая семьи Майковых; мать Е. В. Толстой.

⁴ См.: РО ИРЛИ. № 17370. Л. 14.

⁵ Там же. № 17374. Л. 43. Паравиковская — одна из пепиньерок Екатерининского института.

⁶ Там же. Ф. 166. Оп. 5. № 68. Л. 2 об.

по всему, была одним из домашних развлечений в кругу Майковых. В письме к Ю. Д. Ефремовой от 25 октября 1847 года Гончаров специально отметил шесть произнесенных им комплиментов, намекая на хорошо знакомую адресату домашнюю игровую ситуацию (см.: 15, 69—71). Остров Марса — Константин Майков, офицер Измайловского полка, также уже упоминавшийся постоянный участник домашнего кружка.¹

Инициаторами издания газеты были Валериан Майков и Яков Щеткин, о чем Евгения Петровна неоднократно сообщала сыну в Италию,² а Константин Аполлонович Майков уточнял: «Мы издаем газету “Сплетню”, в которой я ревностный сотрудник. Перо мое отличается множеством резких “дергунов”, при чтении которых Яша удаляется, а остальные затыкают рты платочками» (далее в письме следуют примеры «дергунов» весьма флигельного свойства).³ В одном из ответных писем Аполлон Майков откликнулся: «Радуюсь вашему общему занятию газетою. Жаль, что не могу сам посплетничать. — Сплетничать за глаза нелегко. Не теряйтесь».⁴

Подробные сведения о газете находим в письме Владимира Майкова брату от 24 октября 1842 года: «В два дня у нас уже стала зима; снег такой большой, что вчера, возвращаясь из Трузсонского королевства (так в газете называется маменькина квартира), Иван Александрович и Хрюшечка <т. е. младший Солоницын, Солик> насилу дошли до своих королевств <...>. Вот вам имена всех островов: 1. корол<евство> Трузсония, 2. корол<евство> Новой Флориды (инстит<ут>), 3. вольный город Урания (Юния), 4. остр<ов> Труда (Влад<имир> Андр<еевич>), 5. остр<ов> Непрерывного движения (Солик), 6. остр<ов> Марса (дядя Константин), 7. остр<ов> Покоя (Ив<ан> Ал<ександрович>), остр<ов> Непостоянства (Валерка), остр<ов> Комплиментов

¹ См. о нем выше, с. 67—68.

² См. ее письма, датированные осенью 1842 г., — *РО ИРЛИ*. № 17374. Л. 8, 42 об., 44 об.

³ Там же. Л. 45. См. также: 1, 619.

⁴ *РО ИРЛИ*. № 16994. Л. 37 об.

(Як<ов> Алекс<андрович>). Вообще газета приводит в действительность всех».¹

В письме Валериана Майкова в Италию вновь перечислены все острова, причем Гончаров упомянут как «Принц Сарданапал»: «4 числа (ноября. — А. Г.) у королевы Трузсонской был обеденный стол, украшенный присутствием Королевы Барбары и августейших дочерей ее. Во время обеда возник спор между принцессою Жемчужиною (Лиза), принцем Сарданапалом (Гончаров) и принцем Валерием о прелестях принцессы Лилии...» (1, 620).

Здесь же помещены выписки из «издаваемой Яшею газеты», однако стилистика этих «статей» никак не позволяет приписать их Гончарову. Наконец, в письме от 19 декабря 1842 года Евгения Петровна сообщала о состоявшемся 6 декабря чтении газеты: «...у меня были гости <...> читали газету преинтересную: Ив<ан> Алекс<андрович> и Яша чудо какие статьи пишут и много смешат нас» (1, 620).

Процитированные письма воссоздают атмосферу, в которой рождались ранние домашние произведения Гончарова, и служат необходимым комментарием к ним. При этом, стоит повторить, написанные Гончаровым для газеты «Сплетня» «чудо какие статьи» остались найденными.

**К ТИПОЛОГИИ ОППОЗИЦИЙ:
ИДЕАЛ—ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ,
ПОЭЗИЯ—ПРОЗА В ЭТЮДЕ
«<ХОРОШО ИЛИ ДУРНО ЖИТЬ НА СВЕТЕ?>»
(1841—1842)**

Небольшой *домашний* «этюд» «<Хорошо или дурно жить на свете?>», не публиковавшийся при жизни писателя, имеет автограф, и это единственный автограф среди его ранних текстов.² Заглавие и подзаголовок написаны на обложке неустановленной рукой: «Хорошо или дурно жить на свете», подзаголовок: «Философско-эстетический этюд».

¹ Цит. по: 1, 619—620.

² ОР ИРЛИ. Ф. 166. Оп. 5. № 160.

Текст впервые был опубликован в 1925 году в Праге Е. А. Ляцким, позднее — А. Г. Цейтлиным.¹

Документальная ценность «этюда» несомненна. В начале 1840-х, как уже говорилось, Гончаров вместе с участниками майковского домашнего кружка регулярно посещал «пятницы» в Екатерининском институте, где инспектрисой при пепиньерках состояла Нат. А. Майкова. За аллегорическими персонажами-масками «этюда» легко угадываются реальные лица, характер их взаимоотношений, общая атмосфера «кипящей» в домашнем кругу Майковых жизни. В текст включена и самохарактеристика Гончарова («Прихожу сюда и я, *мирный труженик на поприще лени...*» — 1, 510), отражающая его устойчивое амплуа в этом кругу. Представляют интерес и детали, связанные со старшим Солоницыным. Образ «*питомца дела и труда*» (о цитатности этой формулы, как и о «страсти» к труду самого Солоницына речь шла выше)² в гончаровском «этюде» дополняется рядом выразительных черт, к примеру, свидетельством о его «эпикуреизме» (см.: 1, 510).

Гончаровский «этюд» построен, как и его ранние повести, на игре разнообразными стилевыми приемами, на демонстративном столкновении *стилевого* и *нестилевого* слова, поэтизмов и прозаизмов (разговорные обороты, канцеляризмы, грубоватые каламбуры). В текст вплетены многочисленные для небольшого произведения цитаты и реминисценции из Жуковского, Крылова, Грибоедова, Пушкина.

Этюд начинается вопросом: «Хорошо или дурно жить на свете?», на который следует ответ: «И да и нет. Жизнь состоит из двух различных половин: одна практическая, другая идеальная» (1, 507). Шутливо-игровая экспозиция «этюда», напоминая экспозицию в «Счастливой ошибке», представляет собой концентрацию романтических общих мест и хрестоматийных цитат, всем известных и не нуждающихся в пояснении. В тексте разворачивается оппозиция

¹ Ляцкий 1925. С. 119—127 (с неточностями); Цейтлин 1950. С. 445—449 (также с неточностями). См. текст и примеч.: 1, 507—513, 804—811 (примеч. А. Г. Гродецкой).

² См. с. 34, 40, 51—52.

1.
Хорошо, или дурно жить на свете,
И да, и небыть. Жизнь состоит из двух
различных половин: одна практическая,
часть идеальная. В первой мы — рабы труда
и заботы; она отравлена существенными
потребностями: каждый, как пчела, ежедневно обязан
принести для общей пользы, каплю своего меда в бездонный
улей света. Во второй половине жизни — «властелин ум»,
и эта же практическая жизнь — «как томительный сон, как

Автограф очерка Гончарова «<Хорошо или дурно
жить на свете?>», первый лист

идеала — действительности (мечты — сущности). Как
поясняет повествователь, в «практической половине» жиз-
ни «мы — рабы труда и забот; она отравлена существенны-
ми потребностями: каждый, как пчела, ежедневно обязан
принести для общей пользы, каплю своего меда в бездонный
улей света» (1, 507). В этой «половине» — «властелин ум»,
и эта же практическая жизнь — «как томительный сон, как

давление ночного духа; от нее пробуждаешься, как от обморока, к другой половине жизни. Не такова последняя: в ней уже нет муравьиных хлопот и *мышьей беготни* к пользе общей». В одной части оппозиции, как видим, сосредоточены: *труд*, *польза* и *ум*. При этом аллегориями прозаического труда, знаками его *мелкости*, *суетности* и *массовости* (он — удел *толпы*) выступают *пчелиная* деятельность, *муравьиные* хлопоты и *мышья* беготня. Два последних образа отсылают к известным поэтическим текстам (*чужое* слово у Гончарова графически выделено): пчела, приносящая «для общей пользы, каплю своего меда», отсылает к басне Крылова «Орел и Пчела» (1812); образ «мышей беготни» — к пушкинским «Стихам, написанным ночью во время бессонницы» (опубл.: 1841).¹

Другая половина — «половина эстетическая: в ней простор сердцу, открывающемуся тогда для нежных впечатлений, простор сладким думам, тревожным ощущениям и бурям, тоже не умственным и политическим, бурям души, освежающим тяготу вялого существования. Тут свои идеальные радости и печали, как улыбка сквозь слезы, как солнечный луч при дожде. <...> Тогда в существовании господствует какая-то легкость, свобода, и человек не клонит головы под тяжестью неотвязчивой мысли о долге, труде и обязанностях» (1, 507).

Место, где открывается возможность приобщения к *идеальной, эстетической* половине жизни — «очарованный замок», «замок фей», царство женщин. Показательно, что это заколдованное *спящее* царство.

Вступаем в другой мир. Перед нами тянутся длинные, бесконечные переходы, убегающие от взора куда-то вдаль. Здесь царствует таинственный сумрак, глубокое безмолвие, как будто мы попали в очарованный замок, где всё живущее обращено в камень жезлом могучего чародея, а между тем как много тут жизни, сколько бьется юных, горячих сердец. Да! это точно — замок фей! здесь нет и не может быть того неприятного шума, который раздается вокруг:

¹ Это поэтическое включение служит основанием для уточнения датировки «этюда» (см. подробнее: 1, 804).

то грубая возня мужчин, а их здесь нет... ты в царстве женщин. Но где же фей? Вон, смотрите, что там за тень пробирается вдоль стены неслышными, мерными шагами, склонив голову, и вдруг исчезает на перекрестке, как сторожевая дева Громобоева замка, свершающая свой печальный черед в ожидании Вадима? То странствует дежурная пепиньерка, зевающая в ожидании 9 часов вечера. <...> А что за воздух! как сладко дышать им! какие радужные мечты и трепетные думы навевает он на душу и сердце (1, 508).

Образ очарованного замка восходит к балладному диптиху Жуковского «Двенадцать спящих дев» (ч. 1: «Громобой», 1810; ч. 2: «Вадим», 1814—1817). Подразумевается и пародийное использование этого балладного сюжета в «Руслане и Людмиле» (1817—1820), а именно посещение Ратмиром «терема отрадного» (песнь 4-я). Как и экспозиция «этюда», образ «жилища фей» строится на смешении *готовых* формул, относящихся к разным стилевым системам: это и балладный заколдованный замок, и античные острова блаженных и, наконец, — школа, также образ с широким поэтическим ореолом. Школу возглавляет «величаво-стройная жена» (1, 509), т. е. в образный ряд включается пушкинское «В начале жизни школу помню я...» (опубл.: 1841; ср.: «Смиренная, одетая убого, / Но видом величавая жена / Над школою надзор хранила строго»).

В *спящем* женском царстве — происходит спасительное *пробуждение* героев этюда от «обморока», «томительного сна» деятельной, «скудно-полезной» жизни. Парадоксальная двойственность сюжетной ситуации (пробуждение от сна происходит в спящем замке) в данном случае объясняется игровым контекстом. Однако семантическая двойственность мотива *жизни-сна* сохранится и позднее в прозе Гончарова — в двоящихся смыслах каждого из членов оппозиции *сон—деятельность*, где сон может приобретать значение *снотворчества*, поэтической грезы, деятельности воображения, деятельность же может предстать пустой суетой, усыпляющей своей механистичностью.

Шутливый «философско-эстетический этюд» теснейшим образом связан с произведениями зрелого Гончарова.

В нем, как отметил еще его первый публикатор Е. А. Ляцкий, «намечаются зародыши тех дуалистических представлений о “материальном” и “идеальном” и тех образов, характеризующих душевные движения и состояния, которые впоследствии разовьются и станут типичными выразителями гончаровской мысли. На первом плане, конечно, предпочтение, оказываемое Гончаровым эстетической половине жизни перед другой — скучно деловой; затем идут другие, часто повторяемые впоследствии выражения — игра ума и чувств, бури души, освежающие тяготу вялого существования, музыка сфер — все это разобьется потом на производные образы и замелькает в стиле Гончарова — в описательных сценах, как и в речах героев».¹

Показательны и позднейшие автоповторы, свидетельствующие и об устойчивости повествовательных и изобразительных приемов писателя, и об автореференциальности как характерной особенности его поэтики, о чем выше говорилось. Так, цепь вопросов, открывающая описание «пространной залы» в институте («Где мы? Что за славное такое место? тепло, светло, отрадно» — 1, 509), отчасти повторится в «Сне Обломова» («Где мы? В какой благословенный уголок земли перенес нас сон Обломова? Что за чудный край!» — 4, 98). Образ спящего царства, один из ключевых в творчестве писателя, возникнет во «Фрегате “Паллада”», «Обломове», «Обрыве», где будет соотнесен с фольклорным, а не литературным источником, как в раннем «этюде». Прозвучавшие в раннем тексте рассуждения об «идеальных радостях» и «презренной пользе» найдут отражение в диалогах Александра и Петра Адуевых в «Обыкновенной истории», Обломова и Штольца в «Обломове». Оппозиция двух путешествующих партий — «ученой» и «артистической» — составит структурно-смысловую основу «африканской» главы «Фрегата “Паллады”». И много шире — убеждением в несовместимости «двух различных половин жизни», практической и идеальной, определяется тип сознания гончаровских героев-идеалистов — Адуева, Обломова, Райского.

¹ Ляцкий 1925. С. 118–119.

ИНСТИТУТСКИЙ ОЧЕРК «ПЕПИНЬЕРКА» (1842)

Замечательна история открытия этого раннего гончаровского текста, считавшегося утраченным и в течение многих лет безуспешно разыскиваемого исследователями творчества писателя.¹ Напомню, что о начале своей литературной деятельности Гончаров в переписке вспоминал крайне редко и неохотно, ограничиваясь при этом общими сведениями и предпочитая говорить о «массах» переводов, нежели об оригинальных произведениях. Ни ранние стихотворения, ни повести «Лихая болезнь» и «Счастливая ошибка», помещенные на страницах рукописного журнала Майковых «Подснежник» и альманаха «Лунные ночи», не упомянуты в его письмах ни разу. Самым информативным из всех автомемуарных гончаровских признаний осталось признание в том, что «кипами исписанной бумаги» он в молодые годы «топил печки».² На этом фоне «Пепиньерка» составляла исключение, упоминание о ней сохранилось в одном из гончаровских писем. «Вы недавно спрашивали меня о “пепиньерке”, — обращался к Елизавете Васильевне Толстой 8 сентября 1855 года серьезно увлеченный ею писатель, — вот она. Я с трудом отрыл ее в куче старых моих рукописей. Посмотрите, как она побледнела и выцвела — точь-в-точь как и в моей памяти. Теперь я больше люблю классных дам, и то не настоящих, а будущих. Едва ли Вы прочтете две первые страницы. Когда минует надобность, возвратите мне рукопись...».³

И это все, что до недавнего времени было известно о «выцветшей» рукописи. Загадочной фигурой оставалась и упомянутая в том же письме «Екат. Фед. П.». Вокруг про-

¹ См. подробнее: Балакин А. Ю., Гродецкая А. Г. Неизвестный очерк И. А. Гончарова «Пепиньерка» // Русская литература. 1997. № 3. С. 114–136; также: 1, 804–820 (примеч. А. Ю. Балакина и А. Г. Гродецкой).

² Цит. по: К. Р. Избранная переписка. С. 90; из письма вел. кн. Константину Константиновичу от января 1884 г.

³ Голос минувшего. 1913. №11. С. 219.

павшей рукописи не могли не возникнуть разного рода гипотезы. П. Н. Сакулин, публикуя впервые письма Гончарова к Е. В. Толстой, предположил, что сюжет «Пепиньерки» связан с увлечением писателя В. Л. Лукьяновой, «красивой смольнянкой», которая до начала 1850-х годов была гувернанткой в доме сестры писателя А. А. Кирмаловой, позднее — классной дамой в Николаевском сиротском институте.¹ «Гончаров вел с нею переписку и в Петербурге часто виделся с ней; ее портрет в бархатной раме стоял у него на столе».² Украсив эту гипотезу чувствительными подробностями, Б. Чельшев ознакомил с историей «повести, написанной по первым впечатлениям большого и светлого чувства» Гончарова к Варваре Лукиничне Кульяновой (*так!*), читателей «Учительской газеты».³ Более убедительной была гипотеза Н. Г. Евстратова: опираясь на данные переписки Майковых начала 1840-х годов, он связал содержание утраченного произведения Гончарова с его посещениями Екатерининского института и предположил, что «Пепиньерка» могла быть той самой «комедией», о чтении которой в институте младший Солоницын (Солик) сообщал Ап. Майкову в письме от начала марта 1843 года.⁴ «Скучно, брат, мы проводим время, — признавался он в этом письме, — праздник не в праздник; дорожка в институт почти заглохла, изредка зайдешь туда, да хоть бы и не ходить. Недавно мы еще были там втроем: Иван Александрович, Валерушка <Валериан Майков. — А. Г.> и я. Первый читал свою комедию, в которой очень недурно изображены все наши институтские плутни. Надо сказать, что себя он не

¹ О Варваре Лукиничне Лукьяновой (рожд. Болтуновой) см. подробнее: 15, 486—487.

² Сакулин П. Н. Новая глава из биографии И. А. Гончарова в неизданных письмах // Голос минувшего. 1913. № 11. С. 51.

³ Чельшев Б. Пропавшая рукопись // Учительская газета. 1962. № 71. 16 июня; то же с уточнениями: Чельшев Б. Д. В поисках редких книг. М., 1970. С. 46—50.

⁴ Евстратов Н. Г. Гончаров на путях к роману: (К характеристике раннего творчества) // Уч. зап. Уральского пед. ин-та. 1955. Т. 2. Вып. 6. С. 201—203.

пощадил более всех, но, как кажется, комедией остались недовольны, натурально, с женской стороны...».¹ «Так как комедия не сохранилась, — писал исследователь, — и о содержании ее ничего неизвестно, мы можем сказать о ней только то, что это было произведение еще более “домашнее”, чем “Лихая болезнь”. Но это обстоятельство не мешало “Пепиньерке” быть нравоописательной комедией с возможно метко схваченными чертами институтского быта и воспитания <...> таланту Гончарова, как он раскрылся потом в романах, было несомненно присуще комедийное мастерство».²

Найденная А. Ю. Балакиным в архиве А. В. Никитенко рукопись «Пепиньерки»³ позволила разгадать загадку этой небольшой, но характерно гончаровской вещи. Рукопись оказалась не автографом, а копией, и руку переписчика (или переписчицы) определить не удалось. В тексте имеется несколько карандашных помет и поправок стилистического и уточняющего характера, принадлежащих, возмож-

¹ РО ИРЛИ. № 17370. Л. 17; письмо без даты, датируется по содержанию; частично опубликовано (*Евстратов Н. Г.* Гончаров на путях к роману. С. 201; *Летопись*. С. 22; 15, 286). Вероятно, об этом публичном чтении в институте, вызвавшем «недовольство» слушателей, Гончаров писал Ап. Майкову 2 марта 1843 г.: «Напрасно Вы думаете, что я влюблен: фи! нисколько! Валериан даже нарочно водил меня в Инстит<ут> развивать во мне чувства, а я там всем и нагруби» (15, 53).

² *Евстратов Н. Г.* Гончаров на путях к роману. С. 202—203.

³ РО ИРЛИ. Ф. 205. № 19540. В 1994 г. А. В. Лобкаревой была опубликована опись гончаровских рукописей и писем из «Каталога архива Никитенко», в которой значилось: «“Пепиньерка” — “Старый блаженный” (23 листа)»; при этом исследовательница отмечала, что записи в «Каталоге...» «сделаны непрофессионально, и вести поиск, опираясь на них, практически невозможно» (*Лобкарева А. В.* К вопросу об истории архива И. А. Гончарова // И. А. Гончаров: (Материалы междунар. конференции, посвящ. 180-летию со дня рождения И. А. Гончарова). Ульяновск, 1994. С. 298—300). Просматривая материалы об А. В. Старчевском в картотеке Рукописного отдела ИРЛИ, А. Ю. Балакин обратил внимание на карточку, стоявшую вслед за материалами Старчевского, на которой значилось: «Старый блаженный, “Пепиньерка”».

2

ПЕПИНЬЕРКА.

Посвящается пепиньеркам

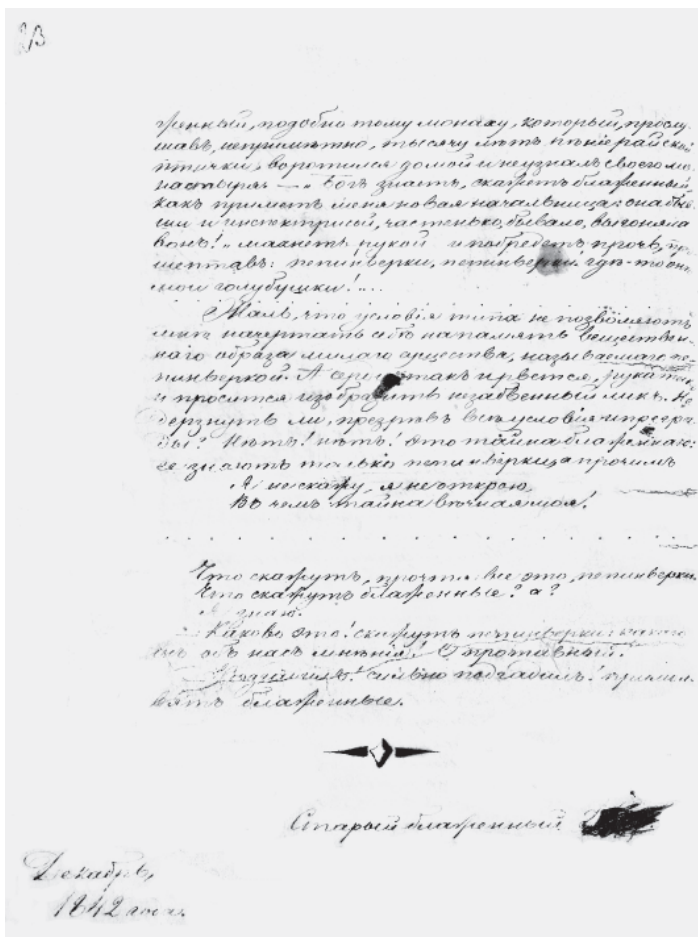
«А это потому пишу,
что уже давно я пишу
Пепиньку».

«Ах, какой душка!»
«Ах, какой приятный!»
«Каково. Вот, как же вы
все много пишете!»
/ (Пепинька пепиньерка) /

Самое древнее и полное сочинение, к которому
относится сочинение пепиньерка, да и
начинается суровым и трудным, то некое

Очерк Гончарова «Пепиньерка», первый лист

но, ее читательнице (Е. В. Толстой?). Под текстом стоит авторская дата: «Декабрь 1842 г.», и подпись: «Старый блаженный». Рядом с подписью вписано и густо затушевано слово; на первом листе под заглавием сохранилась часть посвящения: «Посвящается пепиньеркам», и далее три слова стерты. Как и предполагал Евстратов, «Пепиньерка» непосредственно связана с Екатерининским институтом



Очерк Гончарова «Пепиньерка», заключительный лист

и регулярными посещениями Гончаровым институтских «пятниц». Как сама инспектриса пепиньерского класса Нат. А. Майкова, так и ее «избранные» подопечные были в доме Майковых желанными гостями, семейный архив сохранил фамилии нескольких посетительниц — пепиньерок Ахачинской, Поздеевой, Челаевой, Вахрушовой, Парави-ковской, Кренке. К настоящему времени удалось собрать

немногочисленные сведения лишь о двух пепиньерках — Екатерине Федоровне Поздеевой, с которой семья Майковых поддерживала отношения и в 1850-е годы,¹ и Нине Чилаевой (или Чилияевой),² чаще других упоминаемой рядом с Гончаровым.

Тридцатилетний автор «Пепиньерки», как выясняется, был далеко не последним участником «институтских плутней». Так, в недатированном письме (осени 1842 года) Е. П. Майкова ставит в известность живших в Италии мужа и сына: «Что касается до Гончарова, то, кажется, он продолжает мистифицировать и блаженных, и ангелов» (1, 813), а склонный к грубоватым и фривольным шуткам поручик Измайловского полка Константин Майков отмечает здесь же, в приписке: «Отыскивая первоначальные следы института, я отыскал их <...> в гаремах и сералях» (Там же). Институтские завсегдатаи почти единодушно признаются, что с отъездом Аполлона «пятницы» утратили свое былое обаяние. «Исчез ты и увез с собой пятницы, которые более не существуют, — сетует Евгения Петровна. — <...> Очень скучновато в институте, все переговорили, и нового ничего не услышишь в стенах рая! Ты своим живым характером <...> разнообразил часы, проведенные там, а после тебя на сто процентов потерял институт и его пепиньерки».³ «Право, мы почти совсем не ходим в жилище ангелов, — пишет Аполлону младший Солоницын, — <...> твое отсутствие уничтожило и последнюю нашу отраду...».⁴ «В институ-

¹ Гончаров упоминает ее в письмах к Н. А. Майкову и его семье с фрегата «Паллада» от 20 нояб. (2 дек.) 1852 г., от 25 мая (6 июня) и от 15 (27) сент. 1853 г. (15, 119, 163, 193), как и в 1855 г. в цитированном письме к Е. В. Толстой («Екат. Фед. П.»); см. о Поздеевой: 15, 520.

² В «Списке слушателей, преподавателей и учениц Екатерининского института за 1842 г.» значится Нина Чилиева, поступившая 16 июля 1835 г. (РГИА. Ф. 759. Оп. 4. Ед. хр. 213. Л. 9 об.); установлено А. Ю. Балакиным.

³ РО ИРЛИ. № 17374. Л. 44.

⁴ Там же. № 17370. Л. 11; письмо без даты; по содержанию, также от начала осени 1842 г.

те — скучновато, — продолжает тему в письме Аполлону от 14 декабря 1842 года Гончаров, — Натал<ья> Ал<ександровна> скучает: название *блаженных* не существует; да и *пепиньерки* стали не те; живут в затворничестве. Вы мне там подгадили раз, и я после Вас подгадил вам зело — да все пошло к черту» (15, 50). В приписке к этому письму Вал. Майков уведомлял брата, что «с Институтом кончено, любви нет; место ее заменил преферанс» и сам он «ни в кого не влюблен и занимается сельским хозяйством» (Там же).

В игровой атмосфере семейно-домашнего майковского кружка Гончаров в начале 40-х годов выступал, как уже отмечалось, под постоянной маской ленивца и эпикурейца. С учетом игровых амплуа и игрового «жаргона» поддается расшифровке авторский подтекст в «Пепиньерке». В тексте очерка неоднократно обыгрываются названия института, определяя ряд как поэтических, так и пародийно-иронических мотивов, в частности восходящий к античной классике (Гомер, Вергилий, Гесиод и др.) образ «островов блаженных». Прозрачный намек для посвященных содержало и упоминание «далий, лилий, маргариток». Как выясняется из переписки, титул принцессы Флоридской Лилии носила пепиньерка Н. Челаева, принцесс Далии и Маргариты — пепиньерки Е. Поздеева и М. Ахачинская.¹ Учитывая это, можно предположить, что три стертых слова в гончаровском посвящении были тремя фамилиями пепиньерок.

Несмотря на общие жалобы на скуку в институте, визиты на «острова блаженных» не прекращались и зимой 1843 года. О том, что «Наталья Александровна не шутя начинает разыгрывать роль царицы над пепиньерками и этим вдосталь охлаждает институтские беседы», сообщает Аполлону в январе 1843 года В. А. Солоницын. «Впрочем, — добавляет он, — Гончаров продолжает вздыхать о Челаевой» (1, 813; 15, 279). Рассказывая затем о встрече Нового года у Майковых, Солоницын замечает: «Я сидел за другим сто-

¹ См. письмо М. Ахачинской и Е. Поздеевой к Ап. Майкову в Италию (РО ИРЛИ. № 16900), относящееся, судя по всему, к осени 1842 г.; опубликовано в приложении к указанной выше статье А. Ю. Балакина и А. Г. Гродецкой (Русская литература. 1997. № 3. С. 134—136).

лом и, оградив себя с одной стороны Валерьяном от юных прелестей Лизы Толстой, а с другой Гончаровым от двусмысленных глазок Челаевой, не распалил в себе умеренного вакхического восторга <...>. Зато соседи мои, под влиянием чудесного Кло-де-Вужо, совершенно растаяли от своих красавиц».¹ Переписка Майковых позволяет прояснить и еще ряд деталей в гончаровской «Пепиньерке». Молодых людей, к примеру, постоянно занимают «уголки» (ср. в очерке Гончарова замечание об инспектрисе, «не покровительствующей этим уголкам»). Младший Солоницын пишет Аполлону 5 октября 1842 года: «Институт, это волшебное слово, ныне уже не так торжественно гремит в ушах наших, как прежде <...> изредка <...> просияет из-за туч настоящей скуки яркий луч бывших шалостей, уголков и тому подобного <...>. Наши угольные дружественные трактаты ведутся очень вяло» (1, 818—819). Солоницын-старший в цитированном письме упоминает среди новогодних развлечений «омонимы и уголки». И наконец, об «уголках» с изрядной долей юношеского цинизма рассказывает в январском, 1843 года, письме брату Валериан Майков: «Одно только обстоятельство радует меня, милый Apollo, и тут-то я тебя вспоминаю: это дивная выправка и дрессировка пепиньерок. Это просто лучше русской гвардии. Посмотрите на Челаеву: как она все понимает — мигнешь, и бежит в угол. Ахачинская также пленительна в этом отношении. Недавно она решительно уничтожила в споре о том, какой мне приятнее задать ей угол — сидячий или стоячий. За сими двумя столпами следуют Поздеева и Вахрушова. Они также славно знают службу».²

Весь 1843 год, судя по всему, Гончаров хранит верность институтским привязанностям. Уехавший за границу в начале лета 1843 года старший Солоницын в письме к нему из Рима от 3 сентября просит передать поклоны в институте, не без иронии добавляя: «Я обращаюсь к Вам с этой просьбой потому, что Институт состоит в Вашем ведении» (15,

¹ РО ИРЛИ. Ф. 166. Оп. 5. № 68. Л. 8—8 об.

² Там же. Л. 8 об.

249). А 1 декабря 1843 года в ответ на несохранившееся письмо Гончарова пишет ему из Парижа: «Так Вы, почтеннейший, взяли отставку из Института?.. Хорошо сделали! Черт ли в нем. Пишите повести. Я не спорю, что женщины — очень милая вещь; но насчет института, начиная с его главы до последних оконечностей, мое мнение было всегда таково, что нет ничего глупее на свете» (15, 251). Неизвестно, как долго продолжались институтские «пятницы»; последнее упоминание о причастности к ним Гончарова содержится в письме Солоницына-старшего Валериану Майкову от 5 марта 1844 года. С нескрываемым раздражением он отзывается в нем о вечерах, которые «так глупо, так пошло, так недостойно и даже, наконец, грязно убиваются в институте».¹ Заслуживает внимания и рассказ еще одного, не принадлежавшего майковскому кругу, посетителя института. П. А. Плетнев сообщал Я. К. Гроту 12 апреля 1844 года: «Сегодня я зван на вечер в Екатерининский институт к одной инспектрисе (Майковой, тетке поэта, урожденной Измайловой — баснописице). Там премножество было народу женского пола; довольно и мужского. Ужин кончился в третьем часу. Молодой Майков читал несколько новых своих стихотворений. Он мужает в поэзии».²

Шутливый очерк Гончарова был адресован узкому домашнему кругу читателей (и слушателей): об этом говорит как присутствие в нем достаточно интимных подробностей и намеков, так и тот факт, что все сочинения на «институтскую» тему подвергались строжайшей цензуре.³

Стилистически и лексически (особый жаргон, объединявший посетителей «пятниц»), а также и своей разговорно-естественной, очень личной, *домашней* интонацией «Пепиньерка» близка письмам Гончарова 1840-х годов. Впрочем, разговорная интонация характерна не только для

¹ Там же. Оп. 4. № 99. Л. 1 об.

² Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 2. С. 228. Аполлон Майков вернулся из-за границы в Петербург 8 марта 1844 г.

³ См. об этом: Белоусов А. Ф. Институтки в русской литературе // Тыняновский сборник: Четвертые Тыняновские чтения. Рига, 1990. С. 80.

эпистолярной, но и для романной прозы писателя. При всей камерности очерка его содержание не сводится только к домашним мотивам и темам и далеко ими не исчерпывается. «Институтская» тема ко времени создания «Пепиньерки» прочно вошла в русскую литературу; к 1830—1840-м годам успели утвердиться определенные стереотипы изображения «институтки», или «монастырки» (классицистический, сентименталистский, романтический).¹ Не только знакомство с литературной традицией, но и известная зависимость от нее ощутимы в данном случае у Гончарова. Далеко не новыми в литературе были воспроизведение «характеристических» оборотов речи, институтского жаргона («ах» и «фи», «душка», «ангел»), ирония по отношению к институтской восторженности, мечтательности, наивности, непременному «обожанию». Оппозицию *институтка—светская красавица, кокетка* русские романтики превратили в своего рода клише, идеализируя невинность, чистоту, естественность первой в противоположность искусственности и «испорченности» второй.² Гончаров не избегает этой оппозиции, но стремится преодолеть ее схематизм, в одних случаях иронически обыгрывая, трагестируя, а отчасти и пародируя расхожее противопоставление, в других — акцентируя его психологический аспект. Повышенное внимание к конкретной бытовой и психологической детали определяет своеобразие очерка: здесь и многочисленные реалии из жизни воспитанниц Екатерининского института, и тонко подмеченные особенности их речи, поведения, взаимоотношений. Хотя очерк нельзя отнести к жанру физиологий, только зарождавшемуся в начале 1840-х, его автор несомненно тяготеет к этому направлению. В русле отече-

¹ Белоусов А. Ф. Институтки в русской литературе. С. 77—99. Тип поведения институтки был настолько общеизвестен, что авторы, как правило, в качестве характеристики героини лишь упоминали о ее институтском воспитании.

² Ср. в «Испытании» (1830) А. А. Бестужева-Марлинского, «Беловике» (1839) В. И. Даля и др.; ср. также образ институтки в романе А. Погорельского (А. А. Перовского) «Монастырка» (ч. 1: 1830; целиком: 1833) и в «Мертвых душах» (1842) Гоголя.

ственного бытописания создавались и его ранние повести (несмотря на иронические выпады автора против «бытописателей», присутствующие как в «Лихой болезни», так и в «Счастливой ошибке»). Во всех случаях в рамках традиционных жанрово-тематических схем начинающий писатель ищет новое освещение ситуации, возможность сочетания иронии и лирики, пародии и поэзии. И еще одну особенность раннего очерка нельзя не отметить: текст «Пепиньерки» буквально пестрит пушкинскими цитатами и реминисценциями, подтверждая широко известное и неоднократно повторенное Гончаровым признание в своем юношеском благоговении перед Пушкиным.

Характерное для Гончарова зрелой поры внимание к теме воспитания обнаруживается и в этом раннем очерке. Интерес писателя в данном случае сосредоточен на формировании особой женской «сферы», мира сердечных переживаний. Институтская или, как вариант, пансионерская тема присутствует и в его более поздних текстах, создавая приглушенный фон для образа Ольги Ильинской в «Обломове», Софьи Беловодовой в «Обрыве». Наиболее содержательны, пожалуй, образы, возникающие в романе «Обрыв», — не только в связи с линией Софьи Беловодовой, но и в связи с фиксацией романтических стереотипов в сознании Райского, которому Верочка и Марфинька представлялись «парой прелестных институток на выпуске, с институтскими тайнами, обожанием, со всею мечтательною теориею и взглядами на жизнь, какие только устанавливаются в голове институтки — впредь до опыта, который и перевернет всё вверх дном» (7, 388).

Два институтских «этюда» существенно дополняют наши знания о раннем этапе творчества Гончарова.

ГЛАВА 4
РАННЕЕ ТВОРЧЕСТВО ГОНЧАРОВА
*Утраченное, найденное,
приписываемое*

АТТРИБУЦИЯ АНОНИМНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
В РУКОПИСНЫХ ИЗДАНИЯХ МАЙКОВЫХ

В писательской биографии Гончарова до «Обыкновенной истории» по-прежнему осталось немалое количество пробелов, нерешенных (и нерешаемых) или же спорных вопросов. Не стоит забывать, что и задача обнаружения и атрибуции ранних текстов, при жизни Гончаровым не опубликованных, была решена далеко не сразу. Публикация четырех стихотворений (1835), повестей «Лихая болесть» (1838) и «Счастливая ошибка» (1839) и этюда <«Хорошо или дурно жить на свете?»> (1841–1842) состоялась, как уже говорилось, только в 1920–1930-е годы. Установление авторства упрощалось тем, что в «Подснежнике» и «Лунных ночах» тексты были подписаны либо инициалами Гончарова, либо его полным именем. Этюд <«Хорошо или дурно жить на свете?»> имеет автограф, и — стоит еще раз подчеркнуть — это единственный ранний гончаровский автограф, все остальные тексты известны только в копиях.

Наконец, очерк «Пепиньерка», небольшой и вполне *домашний*, был найден относительно недавно и атрибутирован ему прежде всего на основании упоминания «Пепиньерки» в одном из писем писателя, а также на основе документально-биографических данных, отраженных в тексте.

До сегодняшнего дня остаются неразысканными и неатрибутированными те помещенные Гончаровым аноним-

но в «Библиотеке для чтения» «компиляции и переводы», о которых он упомянул в Автобиографии 1858 года и в рукописи мемуаров «В университете».¹ Не только их анонимность затрудняет в данном случае атрибуцию, но и широко известная стилистическая унифицированность всех публиковавшихся в журнале Сенковского материалов. Редактор журнала, как известно, «бесцеремонно переделывал, дополняя, изменяя, сокращая статьи (и даже повести) своих сотрудников».²

С большой долей уверенности можно отнести к числу несохранившихся произведений и «комедию», прочитанную Гончаровым в Екатерининском институте в конце зимы 1843 года.

Мало надежды и на то, что удастся разыскать повесть (или роман) «Старики», над которой Гончаров работал в начале 1840-х и упоминание о которой содержат два адресованных ему письма Солоницына от 6 марта и 25 апреля 1844 года. Убедая автора, сомневавшегося и в своем литературном даровании, и в оригинальности замысла, не прекращать работу, Солоницын писал: «Если в русской литературе уже существует прекрасная картина простого домашнего быта ("Старосветские помещики"), то это ничуть не мешает существованию другой такой же прекрасной картины. Притом в Вашей повести выведены на сцену совсем не такие лица, какие у Гоголя: а это придает совершенно различный характер двум повестям, и их невозможно

¹ См. выше, с. 5–6, 93.

² Каверин В. А. Барон Брамбеус: История Осипа Сенковского, журналиста, редактора «Библиотеки для чтения». М., 1966. С. 62. Как вспоминал о Сенковском Старчевский, «все оригинальные и переводные статьи известных литераторов проходили чрез его редакцию, т. е. получали форму и изложение, принятые в "Библиотеке для чтения". Повести же и рассказы второстепенных писателей подвергались нередко значительным переделкам <...>. Не раз случалось, что он не дочитывал рукописи: повесть нравилась ему по своему сюжету <...>, он отдираал конец рукописи и приписывал свой» (*Старчевский А. В. Воспоминания старого литератора. История «Библиотеки для чтения», 1848–1856 // Исторический вестник. 1891. № 8. Отд. III. С. 317*).

сравнивать. Предположение Ваше показать, как два человека, уединясь в деревне, совершенно переменились и под влиянием дружбы сделались лучше, есть уже роскошь. Если вы достигнете этого, то повесть Ваша будет вещь образцовая» (15, 255). И во втором письме, узнав от Гончарова о прекращении работы над «Стариками», Солоницын признавался: «Известие, что вы отложили писать “Стариков”, огорчило меня до крайности <...> я все-таки не вижу причины, по которой Вы не должны оканчивать теперь своего романа. Бесспорно, что “Кавказский пленник”, “Бахчисарайский фонтан”, шиллеровы “Разбойники” и другие ранние произведения разных авторов слабее тех, которые эти же самые авторы написали впоследствии. Но из этого не следует ничего, что бы хоть мало-мальски оправдывало Ваш бесчеловечный поступок с бедными “Стариками”: во-1-х, “Кавказский пленник” написан тогда, когда Пушкину едва ли было двадцать лет, “Бахчисарайский фонтан” тоже. “Разбойников” Шиллер написал еще студентом; Вы, напротив, дожили, слава Богу, до тридцати, то есть до той прекрасной поры, в которую ум человеческий действует сильнее, чем во всякое другое время, а чувство, нужное для одушевления поэтических произведений, к каковому причисляю я и роман, еще не погасло, — до той поры, в которую Руссо начал писать и создал “Новую Элоизу”, вещь наполненную погрешностями, но в то же время имеющую тысячу неотъемлемых красот и достоинств. К этому позвольте прибавить еще, что Вы напрасно говорите, будто Вы мало еще видели и наблюдали в жизни: напротив, я всегда замечал, что Вы имеете дар наблюдательности и видите много таких вещей, которых другие не умеют приметить <...>. Пишите же, почтеннейший Иван Александрович, просто, не вдаваясь ни в какие теоретические мечтания; пишите просто, под влиянием своего светлого ума, своего благородного сердца: уверяю Вас, что напишете вещь прекрасную» (15, 256—259). Иных свидетельств об этом гончаровском замысле, к сожалению, обнаружить не удалось.

Мемуарные источники, а их немного, сообщают единичные и не всегда надежные данные о ранних опытах Гонча-

рова. Так, упоминание С. Шпицером несохранившегося рассказа «Подснежник»,¹ вероятно, является не более чем отголоском сведений о рукописном журнале Майковых. Г. Н. Потанин упомянул (не называя их) два рассказа, написанные Гончаровым для майковских журналов.² Не содержат дополнительной информации и известные мемуары посещавших дом Майковых и знакомых с их домашней литературой Панаева, Старчевского и других.

Атрибуция Гончарову анонимных текстов, прежде всего текстов «Подснежника», — ответственная задача, как и деавуация малоубедительных попыток подобных атрибуций. Помимо дефицита документальных данных, в этой работе возникают проблемы, специфические именно для текстов Гончарова. Метод идейно-тематической атрибуции, основанный на сопоставлении тематики атрибутируемого текста и других произведений предполагаемого автора, как и лингвостилистический метод, опирающийся на понятие авторского идеостила и использующий статистические данные, в применении к гончаровской прозе также ставят исследователя перед рядом очевидных сложностей. Позицию Гончарова на протяжении всей жизни — в вопросах общественно-политических и литературных — можно, пожалуй, назвать самоустранением. Писатель избегал резко заявленных мнений, открытой субъективности, был уклончив в суждениях и оценках, скрываясь, как правило, за самыми общими фразами. Это становится и стилиобразующей чертой. Вот, к примеру, как определял гончаровский стиль С. А. Венгеров: «Слог Гончарова удивительно плавлен и ровен, без сучка и задоринки. Нет в нем меланхолических тонов Тургенева, колоритных словечек Писемского, нервных нагромождений первых попавшихся выражений Достоевского. Гончаровские периоды округлы, построены

¹ См.: Шпицер С. Забытый классик: Материалы для биографии И. А. Гончарова // Исторический вестник. 1911. № 11. С. 684; ср.: *Летопись*. С. 21.

² См.: И. А. Гончаров в воспоминаниях современников / Вступ. ст. А. Д. Алексеева; подгот. текста и примеч. А. Д. Алексеева и О. А. Демиховской. Л., 1969. С. 32.

П Р И Б А В Л Е Н І Е
к о
В Т О Р О И Т Е Т Р А Д И
П О Д С Н Ъ Ж Н И К А.
1856.

Титульный лист «Прибавлений» к «Подснежнику»
за 1836 год

по всем правилам синтаксиса, и нет у него своего синтаксиса, своей грамматики, как у других писателей нервного темперамента. Слог Гончарова сохраняет всегда один и тот же темп, не ускоряясь и не замедляясь, не ударяясь ни в пафос, ни в негодование. Словом, это такой же “объективный” слог, как объективно творчество Гончарова, такой же ровный слог, как ровен весь художественный темперамент автора “Обыкновенной истории”: несомненная красота его напоминает красоту мраморной красавицы Беловодовой из “Обрыва”.¹ У Гончарова не было нервного темперамента, а был темперамент «лимфатический», как он сам его определял. Не было у Гончарова метафоризма Гоголя, не было мощно-тяжеловесного толстовского синтаксиса, он не «писал эссенциями», как Лесков. Лексика Гончарова литературно нейтральная, чуждая эффектов и экспрессии, «ненавязчивая», «обыденная», как характеризует ее современный исследователь.²

Стилистическая ровность и сглаженность становятся, таким образом, едва ли не основными дефинитивными признаками гончаровской прозы. Согласимся, непросто решать вопросы атрибуции, опираясь на эти признаки. Проще, безусловно, атрибутируются те тексты, в которых есть и «сучки», и «задоринки».

К настоящему времени авторство Гончарова признано для тех произведений, которые рассматривались выше, — четырех стихотворений, двух повестей «домашнего содержания», небольшого этюда <«Хорошо или дурно жить на свете?»> и очерка «Пепиньерка». Таким образом, в качестве материала для сопоставительного анализа мы имеем крайне незначительное количество ранних текстов. Это, кроме того, разножанровые произведения, и все они в той

¹ Венгеров С. А. И. А. Гончаров: Биографический очерк // Гончаров И. А. Полн. собр. соч. СПб., 1899. Т. 1. С. 18.

² См.: Бухаркин П. Е. «Образ мира, в слове явленный»: (Стилистические проблемы «Обломова») // От Пушкина до Белого: проблемы русского реализма XIX — начала XX века: Межвуз. сб. СПб., 1992. С. 120—121.

или иной степени отражают неустойчивость и невыработанность авторского стиля.

Известны еще три текста, приписываемых Гончарову. Это повесть «Нимфодора Ивановна» (1836), рассказ «Красный человек» (1836) и небольшой шуточный этюд — <«О чем Адам и Ева разговаривали при первом свидании?»> (1835). «Нимфодора Ивановна» была атрибутирована Гончарову ранее других — О. А. Марфиной-Демиховской, атрибуция легла в основу ее кандидатской диссертации, защищенной в 1956 году, и ряда статей. Текст повести был опубликован Демиховской в массовых изданиях — в 1968 году в газете «Неделя», в 1992 году она издала его в Пскове отдельной книгой вместе с письмами Гончарова к женщинам, в 1993 году та же «Нимфодора Ивановна» была вновь опубликована ею в журнале «Москва».¹

Читательскую и издательскую популярность «Нимфодоры» объяснить несложно. Повесть относится к разряду «раздирательных», как подобного рода беллетристику определяли в 1830-е годы, и имеет детективно-мелодраматический сюжет. У героини повести, юной и благонравной Нимфодоры исчезает муж, вскоре обнаруживают его обезображенный труп. В результате разысканий мудрого частного пристава оказывается, что муж Нимфодоры жив и в сообществе со злодейкой-любовницей Аграфеной Стрелецкой убивает мужа Стрелецкой, чей труп и был предъявлен Нимфодоре. В финале избалованный убийца расправляется со своей сообщницей и кончает жизнь самоубийством. Нимфодора же обретает счастье с другим влюбленным в нее героем.

¹ См.: Демиховская О. А. 1) Неизвестная повесть И. А. Гончарова «Нимфодора Ивановна» // Русская литература. 1960. № 1. С. 139—144; 2) Раннее творчество И. А. Гончарова // Материалы юбилейной Гончаровской конференции. Ульяновск, 1963. С. 73—78. Также: Гончаров И. А. Нимфодора Ивановна: повесть / Публ. О. А. Демиховской // Неделя. 1968. № 1—4. Ср.: Гончаров И. А. Нимфодора Ивановна: Повесть. Избр. письма / Сост., подгот. текста и комм. О. А. Марфиной-Демиховской и Е. К. Демиховской. Псков, 1992; Гончаров И. А. Нимфодора Ивановна: Повесть / Публ. О. А. Марфиной-Демиховской // Москва. 1993. № 5. С. 42—67.

НИМФОДОРА ИВАНОВНА.

ПОВѢСТЬ.

Въ Свѣзжій Домъ одной изъ отдаленнѣйшихъ частей города, въ Петербургъ, пришла молодая, открытка одѣтая, женица — и спросивъ у привратнаго сторожа, гдѣ контора, отправившаго, по указанію его перста, на крытую каменную лестницу, изъполтанную грядышки ногами многочисленныхъ прохожихъ.

Свѣзжій Домъ. . . Извините, это оскорбляю ваше чужое имя, но — ей Богу — Свѣзжій Домъ есть вещь достойная замѣчанія.

Какъ Правительству ни многоглаголюетъ, чтобы алтари Почини содержали въ чистотѣ, Почини, подобно провинціальной Барвини, только въ своемъ женищѣ открытка, а дома ходитъ запросто, въ суканѣ безъ подтока, въ башмакахъ безъ подошвъ. Что вы хотите? Ей неужь иначе. Вспомните, кто сидитъ за ея канцелярскими столами, но приходится, или мужикъ скажетъ, кого приводитъ передъ эти столы, и въ какомъ множествѣ, въ какомъ видѣ являютъ эти послышители ежедневно, во всякую пору, въ утра до вечера, отъ вечера до утра!

Принадлежность подобного «кровавого» сюжета Гончарову, казалось бы, маловероятна. Аргументация Демиховской строилась главным образом на том, что повесть носит антиромантический характер, пародируя романтические ужасы. Позиция же Гончарова, и как автора «домашних» повестей, и как будущего автора «Обыкновенной истории», была, по мнению Демиховской, последовательно антиромантической. Драма в повести разыгрывается в семье мелкой чиновницы, и повествование постоянно переключается из сферы ужасного то в сентиментально-чувствительный, то в бытовой план. Отмечалась также анонимность, характеризующая «величайшую скромность» Гончарова, и повторяемость некоторых мотивов в «Нимфодоре» и более поздних гончаровских текстах, в частности, уподобление любви — музыке, и, кроме того, эпизодический образ сонного толстяка как возможного предшественника Обломова. Однако в повести имеются мотивы и ситуации, для Гончарова совершенно не характерные, проигнорированные исследовательницей. Материал рассматривался ею очень избирательно.

Сомнения вызывает и пародийная природа повести. Пародийность в данном случае толковалась так же расширительно, без учета строгих дифференциальных признаков пародии, как и в случае с повестями «Лихая болезнь» и «Счастливая ошибка». Авторскую позицию в «Нимфодоре Ивановне» действительно отличает известная отстраненность в изложении подробностей мелодраматического сюжета, но это не пародийная дистанция. И не иссякающая с годами читательская популярность повести убеждает, что мелодраматизм в ней — не пародийный, а подлинный.

Атрибуция «Нимфодоры Ивановны» была в 1975 году оспорена О. М. Чеменой.¹ Однако и ее контраргументы исчерпывающими признать нельзя. Принадлежность «Нимфодоры Ивановны» Гончарову была признана такими авторитетными специалистами, как А. Д. Алексеев,

¹ См.: Чемена О. А. Об одной спорной атрибуции // Русская литература. 1975. № 4. С. 159–162.

Н. И. Пруцков, Вс. Сечкарев, Л. С. Гейро и некоторыми другими.¹ Точка в спорном вопросе была поставлена статьей А. Ю. Балакина, убедительно доказавшего, что целый ряд упомянутых в тексте локальных, сугубо петербургских топографических реалий и случившихся в столице событий относится к концу 1820-х—началу 1830-х годов, т. е. ко времени, когда находиться в Петербурге и быть их наблюдателем Гончаров не мог. Не менее убедителен и проделанный автором детальный лингво-стилистический анализ текста, продемонстрировавший те его особенности, которые характерными для языка и стилистики Гончарова признать невозможно.²

Анонимный рассказ «Красный человек» был атрибутирован Гончарову московским исследователем В. П. Сомовым и опубликован им в 1976 году.³ Под текстом рассказа, представляющего собой цепь мистических ужасов, завершающихся комической развязкой (демонический герой оказывается обычным вором), стоит помета: «С английского». Сомов счел помету мистификацией и рассматривал рассказ как оригинальное произведение. Помимо прочего, он признавал авторство Гончарова в «Нимфодоре», поэтому и «Красный человек» рассматривался им в качестве текста, тематически и стилистически близкого этой «гонча-

¹ См.: *Летопись*. С. 20; *Пруцков Н. И.* Мастерство Гончарова-романиста. М.; Л., 1962. С. 6; *Setchkarev Vs. Ivan Goncharov: His Life and his Works*. Wurzburg, 1974. P. 17; *Гейро Л. С.* Гончаров Иван Александрович // *Русские писатели. 1800—1917: Биограф. словарь*. М., 1989. Т. 1. С. 625. Противоположную точку зрения см.: *Краснощекова Е. А.* Иван Александрович Гончаров: Мир творчества. СПб., 1997. С. 446.

² См.: *Балакин А. Ю.* 1) Был ли Гончаров автором повести «Нимфодора Ивановна» // *И. А. Гончаров: Материалы междунар. конференции, посвящ. 190-летию со дня рождения И. А. Гончарова*. Ульяновск, 2003. С. 277—290; 2) Был ли Гончаров автором повестей «Нимфодора Ивановна» и «Красный человек»? // *Балакин А. Ю.* Разыскания в области биографии и творчества И. А. Гончарова. М., 2018. С. 13—28.

³ *Сомов В. П.* Анонимная повесть «Красный человек» в рукописном журнале Майковых // *И. А. Гончаров: Новые материалы о жизни и творчестве писателя*. Ульяновск, 1976. С. 99—118.

ровской» повести. Однако А. Ю. Балакиным были найдены как английский оригинал рассказа (в альманахе «Forget me not») и установлен его автор, так и публиковавшиеся в периодике французские, а затем и русские переводы текста.¹ Таким образом, аргументы Сомова оказались несостоятельными.

Во всех случаях наличие в тексте пародийной антиромантической тенденции рассматривалось как основной признак, на основании которого текст атрибутировался Гончарову. Другой аргумент в пользу его авторства формулировался примерно так: произведения эти написаны не новичком в литературе, выдают зрелого автора с устоявшимися взглядами и самостоятельной литературной позицией, следовательно, никто, кроме Гончарова, в том кругу, в котором эти вещи создавались, их автором быть не мог. Исключая одну фигуру — Владимира Андреевича Солоницына, который, как правило, при всех попытках атрибуции анонимных текстов, выступал конкурентом Гончарова.

Круг авторов в домашних изданиях был достаточно широк, что и было нами продемонстрировано. Это многочисленные московские и петербургские родственники Майковых, их ближайшие друзья, сокурсники Аполлона и Валериана по университету, служащие Департамента внешней торговли. Среди авторов были известные и малоизвестные литераторы: В. Г. Бенедиктов, П. П. Свиньин, И. П. Бороздна, П. П. Ершов, И. Г. Карелин и другие.

Большинство прозаических текстов в «Подснежнике» и «Лунных ночах» подписаны. Как правило, подписывали свои сочинения Е. П. Майкова, начинающие Аполлон и Валериан. Стоит попутно еще раз отметить, что оригинальная и талантливая юношеская проза Аполлона Майкова, а он поместил в «Подснежнике» и «Лунных ночах» шесть про-

¹ См.: Балакин А. Ю. Был ли Гончаров автором повести «Красный человек»? // Материалы VI Междунар. науч. конференции, посвящ. 205-летию со дня рождения И. А. Гончарова. Ульяновск, 2017. С. 207—212; то же, со значительными дополнениями, в его указанной выше монографии, с. 28—33.

заических сочинений, никогда не публиковалась и не была предметом специального исследования.

Но далеко не все авторы «Подснежника» были выявлены на тот момент, когда делались попытки атрибуции анонимных текстов. Так, среди авторов рукописных изданий, как уже отмечалось, вообще не упоминался Е. Ф. Корш, привлеченный к сотрудничеству Солоницыным. Имя Корша было раскрыто в «Подснежнике» за 1838 год, где появились за полной подписью два его стихотворения,¹ но, вероятно, именно он скрывался под маской Ефима Феоктистовича Куролопатина, сотрудника всех четырех выпусков «Подснежника» за 1835 год (это имя вынесено на обложку). Куролопатин «прислал» в журнал ответ на предложенный редакцией вопрос: «О чем Адам и Ева разговаривали при первом свидании?» — написанный в стилистике Сенковского «Рассказ Евы. Перевод с одного из вавилонских наречий».² Текст сопровождался примечанием редактора:

Благодаря почтенного Ефима Феоктистовича Куролопатина за этот любопытный исторический документ, которым вполне разрешается вопрос о первой беседе Адама и Евы, редакция «Подснежника» остается в приятной надежде, что Ефим Феоктистович не откажется и вперед украшать «Подснежник» своими трудами по части древней истории. Кстати, ныне представляется новый предмет для его ученой изыскательности — разрешение сделанного в этой тетради вопроса: «Кто, когда, по какому случаю и зачем установил такой порядок, что мужчины волочатся за женщинами, а не женщины за мужчинами?»³

«Рассказ Евы» В. П. Сомов безосновательно атрибутировал Солоницыну попутно с атрибуцией Гончарову другого ответа на тот же вопрос — письма безымянного чиновника, пародирующего канцелярско-бюрократический стиль,⁴ которое он и опубликовал в качестве неизвестной «гончаров-

¹ См. выше, с. 72.

² *Подснежник* 1835. № 2. Прибавление. Л. 81—83.

³ Там же. Л. 83.

⁴ Там же. Л. 70—72.

ской» пародии.¹ Без учета Корша как возможного автора первого ответа на вопрос редакции, атрибуция Сомова, построенная главным образом на сопоставлении пародийного «письма» в «Подснежнике» и примеров пародий и стилизаций в текстах зрелого Гончарова, не выглядит убедительной. Если допустить, что господином Куролопатиным был не Солоницын, как считал Сомов, а Корш, то автором «письма», приписанного Гончарову, вполне мог быть Солоницын, блестяще владевший пародийными приемами.

Таким образом, атрибуцию Гончарову всех трех названных анонимных произведений в «Подснежнике» следует признать несостоятельной.

Изучение текстов «Подснежника» и «Лунных ночей» позволяет сделать вывод, что анонимных произведений, которые могли бы принадлежать Гончарову, в рукописных изданиях нет. Единственный анонимный текст в «Подснежнике» за 1836 год, который мог бы быть ему приписан, но до сих пор не привлек внимания исследователей, это повесть «Привидение» с подзаголовком «Московская легенда».² К числу «гончаровских» текстов она могла бы быть отнесена на тех же основаниях, что и «Нимфодора Иванова» или «Красный человек». Это рассказ о бедном чиновнике Пчелкине, мечтающем выдать дочь замуж за квартального надзирателя по фамилии Метемпсихоз, любителя выпить и процитировать римских классиков. В бытовой «чиновничьей» повести комически подан популярный у романтиков мотив сомнамбулизма: сомнамбулизмом страдает квартальный надзиратель, который и является по ночам привидением в дом бедного чиновника. Однако доказать принадлежность «Привидения» Гончарову возможно, выдвигая те же малоубедительные аргументы, которые использовались и прежде, — анонимность повести как показатель «скромности» автора, ее художественная отделанность

¹ См.: Сомов В. П. «Редакция “Подснежника” имеет честь предложить...» (о неизвестной пародии И. А. Гончарова) // Русская литература. 1970. № 3. С. 92—99.

² Она была лишь упомянута Сомовым; см.: Сомов В. П. Анонимная повесть «Красный человек»... С. 100.

ПРИВИДЬНІЕ.

Московская легенда.

Въ гай пачуицнмъ мвнмъ
А не стаю въ видѣ тѣни.
То внезапно, то тихонько,
Съ воями въ твой свѣтъ вхожди.
Патоминъ.

I

Лето да шесто пудъ силъ, въ Москвѣ, въ приходѣ
у Николая... нѣтъ въ Ситовкѣ, нѣтъ въ Звонков-
ницѣ, въ дачѣ у Пашки, сиренѣ прелюднѣ приключеній.

Миръ жила обиль доброй челою, вѣчно-тѣнью
ной совѣтъ Пашки Антудимовича Пашкина, съ
живи въ ахаютъ пашинъ повѣстиковъ. Онъ былъ
всѣмъ не богатъ: крѣпко штуръ довольно вътой
красной любви, крѣпкошнмъ покуда, двѣ тѣри
покашнмъ тѣмъ, Ева имъ три горнмъ съ свѣтъ
имъ, да снмъ дѣтнмъ до, — составили все его
достатокъ. Правда, кони съ сердце горнмъ, нѣтъ
мнѣ въ мнѣ виднѣ мнѣ Пашки, нѣтъ въ ста
рихъ Пашки обиль; но Пашкинъ Антудимовичъ
былъ не кони: зрѣнъ его притупило надъ пернѣ
конъ притупило, и онъ, зрѣнъ, нѣтъ въ мнѣ
Пашки было свѣтъ мнѣ кони, кони въ мнѣ
розно.

Однако, на кони какого-то праздника, доброй
стирнъ снѣтъ да свѣтъ днѣ кони снѣтъ мнѣ
снѣтъ мнѣ кони, кони въ мнѣ, кони въ мнѣ

и завершенность, ироническое совмещение «высокого» и «низкого» планов изображения, пародирование расхожих романтических мотивов. На основании только этих аргументов (и немногих других) «Привидение» с таким же успехом может быть приписано редактору «Подснежника» — В. А. Солоницыну, как ему же вполне могли принадлежать «Нимфодора Ивановна» и «Красный человек».

Анонимная повесть «Привидение» (из рукописного «Подснежника» за 1836 год) помещена в разделе «Приложения» (публикуется впервые). Установление авторства для этого текста — яркого образца жанрового совмещения «фантастической» и «чиновничьей» повестей, — дело будущего. Однако и неатрибутированный текст имеет право быть введенным в научный оборот. Даже оставаясь анонимным, он в значительной степени расширяет и уточняет представление о том ближайшем литературном контексте, в котором создавались ранние произведения Гончарова.

ИГРАЛ ЛИ ГОНЧАРОВ В «СЕКРЕТАРИ»: К АТРИБУЦИИ РАННИХ ТЕКСТОВ

К майковскому периоду относятся несколько ранних «автографов» Гончарова, напрямую не связанных с его художественным творчеством и известных как «Вопросы и ответы при игре в “секретари”». Этот сам по себе интересный документ был впервые опубликован в 1925 году Е. А. Ляцким,¹ писавшим по этому поводу:

До нас дошел <...> один крайне любопытный памятник той среды и эпохи — пожелтевшие листки «вопросов и ответов», этой затейливой старинной игры в секретари, которой так любили занимать себя в долгие осенние и зимние вечера наши предки. Среди различных почерков, принадлежность которых полностью, в условиях настоящей работы, установить невозможно, ясно различимы, однако, почерки Ивана Александровича, Евгении Петровны,

¹ Ляцкий 1925. С. 127—140.

Аполлона, Валериана и Владимира Майковых; о других можно было бы только гадать. В «вопросах и ответах» характерно отразилась та затейливая вязь слова, намек и чувства, которая, под видом игры и шутки, скрывает оттенки истинных влечений и мыслей. В атмосфере «*amitié amoureuse*» вечные «он» и «она» тянутся друг к другу, испытывают, сомневаются, поверяют один другому сокровеннейшие движения, понятные только им и скрытые от третьих лиц оболочкой смеющихся слов. Под учтивой холодностью и кажущейся невинностью выражений таятся сложные переплеты, серьезные и полусерьезные любовные интриги, истинный смысл которых живет лишь миг, исчезая подобно тому, как исчезают лучи в беге солнца на песчаной дорожке сада, с тем чтобы завтра появиться опять, в новом сочетании теней, но в старой из века тянущейся правде и сказке жизни. <...> Игра состоит в том, что участники задают в письменной форме друг другу разные, более или менее замысловатые, вопросы, на которые в письменной же форме необходимо отвечать.¹

Более точное название популярной в первой половине XIX столетия (и позднее) салонной игры — «секретарь» (фр. «*secrétaire*»). В нее играли при Дворе, известны «секретарские» стихотворные опыты Жуковского, в тургеневском «Дыме» в «секретари» играет великосветское общество на водах.²

Автографы игры в семье Майковых представляют собой 128 небольших листков (обрывков) бумаги, заполненных

¹ Там же. С. 126.

² Об игре в «*secrétaire*» как у Майковых, так и у Бекетовых см.: Из неизданной книги Ф. Д. Батюшкова «Около талантов». «В семье Майковых» / Публ. П. Р. Заборова // Русская литература. 2000. № 3. С. 186. Также: Жуковский В. А. Ответы на вопросы в игру, называемую *секретарь* // Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М., 1999. Т. 1. С. 314—316, 661—662; Нарышкина Е. А. Мои воспоминания. СПб., 1906. С. 143, 222. Ср. в «Дыме»: «Кто-то предложил играть в “секретари”, au *secrétaire*; но это не удалось. Ответы выдавались плоские и не без грамматических ошибок» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. 2-е изд., испр. и доп. Соч.: В 12 т. М., 1981. Т. 7. С. 338).

вопросами и ответами с одной или же с обеих сторон.¹ Датируя их 1843—1844 годами, Ляцкий опубликовал (с неточностями) 68 пар вопросов и ответов, из которых 2 вопроса и 8 ответов безоговорочно атрибутировал Гончарову и 2 ответа — ему же, но со знаком вопроса.

Вслед за Ляцким два «гончаровских» ответа воспроизвел в своей монографии А. Г. Цейтлин, по-видимому усомнившись в атрибуции десяти других (он не видел автографов из архива Ляцкого, поступивших в РО ИРЛИ в 1963 году). Эти два ответа, «написанные почерком И. А. Гончарова», следующие. На вопрос: «Какая власть сильнее: рассудка или любви?» — следовал ответ: «Рассудок никогда не руководствует всеми действиями человека, но любовь очень часто. Мы можем припомнить несколько человек, которые из любви делали глупости или злодеяния, но не вспомним ни одного, который бы силою рассудка уничтожил в себе любовь. Одно время и разлука от нее исцеляют. Люди так уж созданы». Еще один вопрос звучал так: «По вашему мнению: какой недостаток всех труднее исправить?» Ответ: «Эгоизм и скупость. Эти два недостатка не только трудно, но невозможно исправить: они что старее, то сильнее».²

«Мы лишены возможности, за отсутствием в нашем распоряжении автографа, — писал Цейтлин, — датировать эти вопросы и ответы майковского салона. Вероятнее всего, что они относятся к началу 40-х годов. Ответы Гончарова на предлагавшиеся ему вопросы свидетельствуют о зрелости и уравновешенности его воззрений на жизнь, несомненной наблюдательности в вопросах психологии, добродушном юморе, проникнутом, однако, некоторой долей скептицизма».³

Прежде всего нуждается в уточнении датировка автографов игры в «секретари». Дата «27 мая 1836» проставлена под единственным текстом — стихотворением Валериана

¹ РО ИРЛИ. Ф. 163. Оп. 1. № 155. Далее все ссылки на листы этой архивной единицы даются в тексте.

² Цейтлин 1950. С. 443; те же тексты см.: Ляцкий 1925. С. 129.

³ Цейтлин 1950. С. 443—444.

Майкова (Л. 49),¹ не имеющим непосредственного отношения к игре. Один из «секретарских» вопросов (Л. 14) адресован Леониду Майкову, младшему брату Николая Аполлоновича, умершему в 1838 году. Вместе с тем среди вопросов есть и такой, в котором речь идет о впечатлениях Н. А. Майкова от поездки в Италию (Л. 76), а она продолжалась с осени 1842 до начала весны 1843 года.

Судя по всему, Майковы играли в «секретари» на протяжении нескольких лет, уточнить датировку «секретарских» манускриптов позволяет их переписка, главным образом письма Е. П. Майковой и В. А. Солоницына, постоянных и инициативных участников игры. Впервые «секретари» упоминаются в письме Солоницына Майковой от 10 февраля 1835 года, где он пишет: «...пришлю ответы на некоторые ваши вопросы. А вы отвечали ли на мои?». Майкова отвечает 18 февраля: «Посылаю несколько ответов на ваши вопросы...».² 14 июня того же года Майкова пишет Солоницыну: «...больно лишаться какой-нибудь иллюзии — иллюзия небо, а существенность земля; конечно, небо лучше земли, но в этом и спору нет; мы это ясно доказали прошедшую зиму в нашем секретарском обществе, манускрипты коего тщательно хранятся еще в наших архивах».³ «В секретарских наших обществах вы привыкли понимать все галиматии женского пера», — пишет она 7—8 сентября 1835 года и цитирует Солоницына в письме от 12 октября: «...помните, один раз мы играли в секретари и кто-то спросил вас: “Что такое благодарность?”. Вы отвечали: “Память сердца”».⁴

Архив Майковых сохранил, кроме того, и не зависевшую от «секретарского общества» «свою игру» Евгении Петровны и Солоницына — три страницы ее вопросов и его ответов. «Зачем я буду сочинять повести? Выводя на сцену чув-

¹ Оно опубликовано: *Ляцкий* 1925. С. 136.

² *РО ИРЛИ*. Ф. 166. Оп. 4. № 54. Л. 5 об.; Оп. 5. № 73. Л. 2 об.

³ Там же. Л. 6 об.

⁴ Там же. Л. 17, 22 об. «Секретарские» вопросы и ответы содержатся и в письме Майковой Солоницыну от 23 сент. 1835 г. (Там же. Л. 15).

ства, я буду говорить о себе: зачем же мне делать выставку из моей души?» — спрашивала Евгения Петровна. Солоницын отвечал: «В повестях выводятся лица разные, следовательно, вы будете говорить в них не о себе и не о своих чувствах; душа ваша не выйдет на выставку». «Мне кажется, — размышляла Евгения Петровна, — что душа моя, до сих пор сохранившая свою свежесть, очерствеет вдруг, внезапно, потому что на нее ужасно несправедливо ропщут и обвиняют в том, чем я всегда гордилась в тайнике моего сердца». «Не знаю, что вы разумеете под тем, в чем вас обвиняют, — отзывался Солоницын. — Но свежесть души есть великая милость Божья, и чем долее она сохраняется, тем способнее человек наслаждаться, хотя в то же время он и огорчается скорее других». «Глубокая моя привязанность до того горяча, что она отравляет существование тех, к кому относится. Почему же это так?» — сетовала Майкова. «Никогда! Привязанность огорчать не может, — возражал Солоницын. — Огорчают другие чувства, которые с ней сливаются». И еще сокровенная мысль Евгении Петровны: «Странное создание женщина! ей приятно не быть понятой толпою, только бы — в замену того — поняло ее одно существо, ею любимое!» Солоницын уклончив: «Это дело женское: не смею судить». Вновь Евгения Петровна: «Тяжело сгрустнется, когда подумаешь, как недостаточно жизни человеческой на то, чтобы доказать привязанность тому, кому сказала сердце “люблю”». И возражение Солоницына: «Неправда. Привязанность доказывается иногда одним словом, одним взглядом, а для этого не нужно целой жизни».¹

Представляют интерес и многочисленные «секретарские» заготовки самого Владимира Андреевича — вопросы и им же составленные ответы, изящные «безделки» как в прозе, так и в стихах, своеобразная гимнастика ума и пера. «Правду ли говорят, что с умом, как с скучным гостем, бывает очень скучно?» — спрашивал Солоницын и отвечал:

¹ РО ИРЛИ. Ф. 166. Оп. 5. № 54. Л. 102—103. Характерно, что и среди автографов из архива Ляцкого имеются листы, на которых Евгения Петровна и Солоницын адресуют вопросы друг другу (Л. 61, 89).

Полуумье, а не ум
Есть причина нашей скуки,
Наших неприятных дум
И душевной нашей муки.
Ум для счастья не враг:
С ним пройдешь весь мир крещеный —
И не попадешь в овраг,
Как хемницеров ученый.¹
Он хотя убьет мечты
Нашего воображенья,
Но — в замену суеты —
Даст прямые наслажденья.

Или другой пример его изящных «безделок». Вопрос: «В каком обстоятельстве верите вы слезе женщины?». Ответ:

Увы! алмазная слеза
Туманит женские глаза
По прихотям капризной воли,
И той слезе не верю я,
Теки она хоть в три ручья,
Коль не течет *от боли*.²

«Секретарские» манускрипты, по всем данным, относятся ко времени с 1835 и, по меньшей мере, до 1843 года.

Вопрос идентификации почерка большинства участников «секретарского общества» в настоящее время также может быть решен. К моменту публикации Ляцкий не имел доступа к многочисленным материалам, которые в настоящее время собраны в архиве Л. Н. Майкова (Ф. 166) и позволяют более надежно решать проблемы атрибуции. Обширная переписка старших и младших Майковых, многочисленных

¹ Имеется в виду басня И. И. Хемницера «Метафизик» (1799).

² РО ИРЛИ. Ф. 166. Оп. 4. № 54. Л. 3—3 об. Сохранились и другие заготовки — листы с 20 «секретарскими» вопросами (Там же. Л. 34—34 об.), например: «Что приятнее в собеседнике: хорошая память или здравый рассудок?»; «Кто теплее верует в Бога: счастливый или несчастливый?»; «В чем состоит та свобода, которой так домогаются женщины?» и т. п.

друзей и посетителей их дома, начиная с 1834 года, когда семья переехала из Москвы в Петербург, и до середины 1840-х, представляют ценнейший документальный материал, отчасти восполняющий недостаток гончаровского эпистолярия этой поры.

В обоих опубликованных Ляцким и Цейтлиным парах вопрос принадлежал Константину Майкову,¹ ответ — В. Андр. Солоницыну (Л. 111 и 101). Точно так же и еще 5 текстов, приписанных Гончарову, принадлежат на самом деле Солоницыну (Л. 85 об., 89, 89 об.), авторство оставшихся пяти установить не удалось, однако это не гончаровские автографы. С сожалением приходится признать, что среди «секретарских» манускриптов ни одного автографа Гончарова нет.

Рука Солоницына, не только редактора рукописных изданий, но и их прилежного переписчика (все тексты в «Подснежнике», кроме журнала за 1836 год, и в «Лунных ночах», как уже говорилось, переписаны им), идентифицируется достаточно легко. Кроме того, в его «секретарских» опусах отчетливо ощутимы авторитетность, наставительность, позиция мэтра и безусловный литературный навык. Отточенность и афористичность формулировок — также его отличительные черты. Именно Солоницыну, послужившему прототипом Адуева-старшего в «Обыкновенной истории», в не меньшей, но в большей степени, чем Гончарову, были свойственны «зрелость и уравновешенность воззрений» и «некоторая доля скептицизма», о которых писал Цейтлин.

При всем том Гончаров, вне всякого сомнения, участвовал в «секретарском обществе». Среди опубликованных Ляцким вопросов два (неустановленный почерк) адресованы ему: «Ивану Александровичу. 1. Как вы назовете ту женщину, которая живет головою? 2. В какое время человек лучше всего разыгрывает свою роль?» (Л. 110—110 об.). Ответы Гончарова на эти вопросы не сохранились.

¹ О К. А. Майкове, младшем брате Н. А. Майкова, офицере Измайловского полка, участнике рукописных изданий, см. выше, с. 67—68. Его почерк имеет ряд ярко индивидуальных черт.

Интересно и другое — отзвуки игры в «секретари» в ранней прозе писателя. В «Счастливой ошибке», к примеру, сентенция о человеческом несчастье очень напоминает ответ на один из вопросов третьего выпуска «Подснежника» за 1835 год: «Какого человека можно назвать несчастным в полной мере?».¹ Несколько запоздавший ответ Гончарова, относящийся к 1839 году (этим годом датируется повесть), звучал так: «По-моему, какая бы ни была причина горя, но если человек страдает, то он и несчастлив. От расстройства ли нерв страдает он, от воображения ли или от какой-нибудь существенной потери — всё равно. Для измерения несчастья нет общего масштаба: о злополучии должно судить в отношении к тому человеку, над которым оно совершилось, а не в отношении ко всем вообще; должно поставить себя в круг его обстоятельств, вникнуть в его характер и отношения» (1, 81).

Игра в «секретари», как и другие занятия майковского семейно-литературного «общества», не прошла бесследно для гончаровского творчества, вобравшего в себя — с истинно фламандским вниманием к мелочам — и эту характерную подробность домашнего литературного быта эпохи.

¹ *Подснежник* 1835. № 3; вклейка между Л. 115 и 116. Там же имелись еще два вопроса: «Что вы предпочитаете: сто лет молодости или старость, но здоровье при бессмертии?»; «Кто, когда, по какому случаю и зачем установил такой порядок, что мужчины волочатся за женщинами, а не женщины за мужчинами?».

ГЛАВА 5

**ДОМ МАЙКОВЫХ
В ПЕРСПЕКТИВЕ БИОГРАФИИ
И ТВОРЧЕСТВА ГОНЧАРОВА**

**ДОМАШНЯЯ АУДИТОРИЯ
В ПИСЬМАХ ГОНЧАРОВА**

С середины 1840-х годов вторым *литературным домом*, в котором Гончарова, по его словам, «любили как родного», стал дом Михаила Александровича Языкова (1811—1885). Отношения Гончарова с Языковым и его семьей — с его женой, художницей Екатериной Александровной Языковой (рожд. Белавина; ум. 1896) и свояченицей Эликонидой Александровной Белавиной — требуют самостоятельного исследования, как и сам М. А. Языков заслуживает обстоятельного биографического очерка.

Как писал А. Ф. Кони в его некрологе, «вся история русской литературы, с начала сороковых годов, прошла в живых образах ее лучших представителей пред глазами М. А. Языкова; в личной жизни многих из них он играл разнообразную, но всегда симпатичную роль — и воспоминания о великом русском критике, о молодой редакции “Современника”, о первых литературных опытах людей с знаменитыми впоследствии именами — сливаются с памятью о нем. Восторженный поклонник таланта, услужливый друг, практический советник, занимательный и остроумный рассказчик, без всякого оттенка самохвальства или лицемерной преданности, из прорех которой сквозит ино-

гда худо скрытая зависть, Языков тесно слился с интересами литературы и оставался им верен до конца».¹

Биография Языкова действительно вписана в творческую и дружескую жизнь петербургских литераторов 1840—1850-х годов. Ничего сам не писавший,² что не без сожаления отмечали его современники, Языков был, по словам А. Я. Панаевой, «со всеми литераторами на дружеской ноге».³

Соученик по Благородному пансиону при С.-Петербургском университете и ближайший друг И. И. Панаева, Языков с 1839 года стал одним из близких друзей Белинского, с 1842-го — постоянным участником его петербургского кружка, был знаком также с московскими друзьями критика (Боткиным, Герценом, Огаревым и др.). В 1840—1850-х годах Языкова связывали дружеские отношения с большинством литераторов круга «Отечественных записок» и «Современника» (Некрасовым, Тургеневым, Григоровичем,

¹ А. К<они>. М. А. Языков // Неделя. 1885. № 5. 6 февр. С. 194. Текст некролога в расширенной редакции вошел в изд.: *Кони А. Ф. Очерки и воспоминания*. СПб., 1906. С. 809—812. Ср. краткие сведения о нем в изд.: *Языков Д. Д. Обзор жизни и трудов покойных русских писателей*. СПб., 1888. Вып. 5: Русские писатели, умершие в 1885 году. С. 147. Несколько подробнее справка Б. Л. Модзалевского, опубликовавшего в 1914 г. два письма Гончарова к М. А. и Е. А. Языковым; см.: *Модзалевский Б. Л. Из переписки И. А. Гончарова: (Письма к М. А. и Е. А. Языковым, И. Ф. Горбунову, Ю. Д. Ефремовой, А. В. Дружинину и А. В. Плетневой)* // *Временник Пушкинского Дома*. 1914. Пг., 1915. С. 100—101.

² Сведения о литературных опытах Языкова, достаточно случайных, все же имеются. Так, книга «Сочинения князя Антиоха Дмитриевича Кантемира» (СПб., 1836), изданная Языковым «в компании с Д. Толстым и Г. Есиповым», названа в указанной выше статье Д. Д. Языкова. Об участии М. А. Языкова вместе с И. И. Панаевым и М. Н. Катковым в переводе романа Ф. Купера «Следопыт», опубликованного (под назв. «Путеводитель в пустыне, или Озеро-море») в 8 и 9 номерах «Отечественных записок» за 1840 г. Белинский сообщал В. П. Боткину в письме от 12 авг. 1840 г. (см.: *Белинский*. Т. 9. С. 392; примеч.: С. 770).

³ Панаева (Головачева) А. Я. Воспоминания. М., 1986. С. 205.

Лонгиновым, Анненковым и др.), среди которых он имел репутацию каламбуриста и острошлова.

В «Необыкновенной истории» Гончаров вспоминал о кружке Белинского: «...я <...> не сближался сердечно со всем кружком <...> чуждался (между прочим, по природной дикости своего характера) тесного сближения с тем или другим, кроме семейства доброго Мих<аила> Языкова, где меня любили как родного, и я платил тем же».¹

Близость с Языковыми, вхождение в их литературный дом составили новый этап в биографии Гончарова, значительно расширив его литературные контакты. Оба литературных дома, и Майковых, и Языковых, что стоит еще раз подчеркнуть, были чужды петербургской салонности, это — семейные дома, в каждом из которых широкий родственно-дружеский круг был Гончарову особенно дорог. Дорога была в обоих домах и художественно-творческая, артистическая атмосфера. Воспоминаний о визитах в семейство Языковых Гончаров не оставил, в отличие от многих других посетителей их гостеприимного дома,² но упоминания об этих визитах в его письмах достаточно часты.

Письма Гончарова во время плавания на фрегате «Паллада» адресованы обеим семьям, Майковых и Языковых, в них очевидна равная близость двух семейств автору. Так, накануне экспедиции Гончаров признавался Е. А. Языковой в письме от 22 августа 1852 года: «Хандра моя, как я Вам, кажется, уже писал, есть не что иное, как болезненное состояние, которому причиной нервы. <...> От этого я и стараюсь прятаться и, кроме Майковых да Вас, ни к кому не хожу» (15, 99). Майковым в начале путешествия, 20 ноября (2 декабря) 1852 года, Гончаров писал из Портсмута: «Так, пожалуйста, не жалеете обо мне и запретите жалеть Языкову, которого самого и семью отчасти сливаю в уме (видите, *в уме*, ведь не ошибся, не сказал: *в сердце*)

¹ ЛН Гончаров. С. 205.

² См.: Фет А. А. Мои воспоминания: В 2 т. СПб., 1890. Т. 1. С. 133—134; Панаева (Головачева) А. Я. Воспоминания. С. 205; Тургенев и круг «Современника»: Неизданные материалы, 1847—1861. М., 1930. С. 42—43, 274; и др.

с Вашей, хотя знаю, что он любит меня не так, как Вы, а иначе, и любит потому, что не может почти никого не любить, стало быть, по слабости характера; он даже изменит мне по-женски, посадит кого-нибудь другого на мое место. Но это ничего: я только приеду и опять найду тотчас свое место и в сердце у них, и за круглым столом» (15, 113).

С середины 1840-х Гончаров становится своим человеком в двух *литературных домах*, сблизив и оба дома между собой. *Домашний контекст* и *домашний адресат* особенно актуальны для его эпистолярной прозы. В письмах к семьям Майковых и Языковых с борта фрегата «Паллады» отразился весь маршрут его плавания. Стоит отметить параллельность, зеркальность текстов, адресованных обоим семьям. И Майковых, и Языковых писатель просит беречь его письма-очерки — материал будущей книги «Фрегат “Паллада”». Майковым он пишет 25—26 мая (6—7 июня) 1853 года из Сингапурского пролива: «Кланяйтесь всем, но писем, пожалуйста, другим не читайте, а берегите до меня, может быть, понадобятся мне для записок. Не показывайте потому, что пишу их решительно для вас, небрежно» (15, 163). «Не сердитесь, что письмо вяло и неполно, — писал он им же 14 (26) марта 1854 года из Пио-Квинто. — Я общаю вам кое-какие крупные сведения, на выдержку. Подробности записаны у меня в путевых записках, иногда с литературными замашками, но без всякой лжи. Если доеду и привезу их, то прочту, разумеется, вам первым. <...> Не знаю, даст ли мне Бог этот праздник в жизни: сесть среди вас с толстой тетрадью и показать вам в пестрой панораме всё, что проходит теперь передо мной. А хотелось бы» (15, 213).

Эпистолярные варианты будущих очерков — ценнейший материал для творческой истории «Фрегата “Паллады”». ¹ И — бесценный документально-биографический материал при очевидном дефиците последнего.

¹ О последовательности работы писателя во время плавания над «записками» см. в примечаниях Т. И. Орнатской и В. А. Туниманова к «Фрегату “Паллада”» (3, 445—448, 467—474).

Письмами как свободной художественной формой Гончаров особенно дорожил, видя именно в этой форме возможность реализации того *бессознательного*, спонтанно-импровизационного начала, приоритет которого в творческом процессе для него был всегда неоспорим. «Писать, — признавался Гончаров в «Необыкновенной истории», — это призвание, оно обращается в страсть. И у меня была эта страсть — почти с детства <...>. И до сих пор так: особенно *письма*. И понятно, почему *особенно* их! Эпистолярная форма не требует приготовительной работы, планов, поэтому в ту же минуту удовлетворяет природной страсти — выражаться! Ни лиц не нужно, ни характеров, ни деталей, ничего, что задерживает и охлаждает резвое течение мысли и воображение! Нужен только корреспондент и какой-нибудь интересующий меня сюжет <...>. Я сажусь, как музыкант за фортепиано, и начинаю фантазировать, мыслить, ощущать, словом, жить легко, скоро и своеобразно — и почти так же живо и реально, как и в настоящей жизни! И на силу оторвусь от бумаги, как импровизатор-музыкант от своего фортепиано!».¹

Для человека закрытого и мнительного, каким был Гончаров, корреспондент значил очень много, определяя степень внутренней свободы автора, а в случае с письмами Гончарова к Языковым и Майковым, несомненно, и степень литературности эпистолярного текста. Импровизационные эпистолярные практики Гончарова отразили и поиск им оригинальных выразительных средств и сюжетно-жанровых форм и то, что А. А. Фаустов определил как характерный для писателя «страх сюжетности».²

¹ ЛН Гончаров. С. 263.

² Фаустов А. А. И. А. Гончаров // Фаустов А. А. Авторское поведение в русской литературе: Середина XIX века и на подступах к ней. Воронеж, 1997. С. 66.

К ЖАНРОВОЙ ТИПОЛОГИИ: «РЫБОЛОВНЫЕ» СЮЖЕТЫ ГОНЧАРОВА В КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ ИДИЛЛИИ

Он чувствует себя в природе по-домашнему. И вы узнаете, что вообще не в природе для него центр тяжести, что он предпочитает заходу южного солнца человеческое лицо и мило прозаические вещи.

Ю. И. Айхенвальд.

Силуэты русских писателей.¹

Об идиллии Аполлона Майкова «Рыбная ловля» (1855), признанной одним из его поэтических шедевров, Мережковский писал: «Несомненно, лучшая из современных поэм Майкова — “Рыбная ловля”, и это потому, что в ней поэт избрал темой не жизнь людей, а жизнь природы и патриархальное, идиллическое занятие, описанное простодушно в духе неподражаемых “Георгик”». ² Ее текст предваряет посвящение: *«Посвящается С. Т. Аксакову, Н. А. Майкову, А. Н. Островскому, И. А. Гончарову, С. С. Дудышкину, А. И. Халанскому и всем понимающим дело»*. ³ Состав «понимающих дело» и «посвященных» продуман, каждое упомянутое имя было для Майкова мировоззренчески и человечески значимо. «Рыбная ловля» написана в разгар Крымской войны и вскоре после известной истории с «Коляской», реакция на которую литературных собратьев стала для поэта тяжелым испытанием. В идиллии Майкова утверждалось иное братство. Открывало список «посвященных» («Непосвященные! Напрасен с ними спор!» — звучит ниже в тексте) имя С. Т. Аксакова, автора «Записок об ужении» (1847),⁴

¹ Айхенвальд Ю. И. Силуэты русских писателей. М., 1994. С. 210.

² Мережковский Д. С. Вечные спутники: Портреты из всемирной литературы. СПб., 2007. С. 227 («Лит. памятники»).

³ Майков А. Н. Избранные произведения. Л., 1977. С. 351 («Б-ка поэта». Большая сер.).

⁴ Второе издание книги вышло под заглавием «Записки об ужении рыбы» (СПб., 1854).

хотя, надо заметить, с ним к моменту написания идиллии Майков лично знаком не был. Второй в списке — отец поэта Николай Аполлонович Майков. Страсть к рыбной ловле Аполлон Майков воспринял от отца и всю жизнь ее с ним разделял. Далее следует А. Н. Островский, с которым Майков познакомился достаточно поздно, в 1853 году, и их близость определялась далеко не в первую очередь рыболовной любовью, но общим для обоих русофильством с «москвитянинской» окраской.¹ Гончарова и Дудышкина с Майковым связывали многолетние дружеские, семейно-домашние отношения.² Стоит сразу сказать, что Гончаров рыболовной страстью заражен не был, ни один из известных документов не дает сведений о том, что он когда-либо занимался рыбной ловлей. Увлечению отца и сына Майковых Гончаров был, скорее всего, только дружески сопричастен.³

Уже благодаря очерченному кругу адресатов в «Рыбной ловле» возникает мотив отъединенности от внешнего мира того «тесного мирка», который в идиллии, согласно классическому определению Бахтина, «довлеет себе», сохраняя в локальности пространства и «единство жизни поколений»,

¹ См.: Буранок Н. А. Майков А. Н. // А. Н. Островский: Энциклопедия. Кострома; Шуя, 2012. С. 245. Имя замыкающего список Андрея Ивановича Халанского (1795—1864) — тоже позднее, оно отсутствовало в посвящении при первой публикации «Рыбной ловли» в «Отечественных записках» (1856. № 3) и появилось только в сборнике «Для легкого чтения» (СПб., 1857. Т. 5); см. примеч. Л. С. Гейро в кн.: Майков А. Н. Избранные произведения. С. 830.

² См. о С. С. Дудышкине в 1-й главе, с. 20—21.

³ Приведу попутно относящееся не к рыбной ловле, но к охоте и к увлечению ей Тургенева замечание В. А. Кошелева: «Кажется довольно странным: писатели предшествующего поколения были как будто далеки от этого увлечения. Нам трудно представить с ружьем за плечами или с удочкой в руках Жуковского или Батюшкова, Пушкина или князя Вяземского, Лермонтова или Гоголя. <...> Пушкинские персонажи (во всяком случае, симпатичные персонажи) охотой не занимаются. Охота вообще предполагает иное, не пушкинское, представление о простых вещах...» (Кошелев В. А. Эффект охотника в русской словесности середины XIX века // И. С. Тургенев: Новые исследования и материалы. М.; СПб., 2009. Вып. 1. С. 96, 97).

и единство человека с природой.¹ В шестистопниках «Рыбной ловли» Майков выступает продолжателем национальной пасторальной традиции, ориентируясь главным образом на идиллию Н. И. Гнедича «Рыбаки» (1821) — «первый опыт русской народной идиллии», как определял ее автор.² Именно опыт Гнедича способствовал формированию национальной топики русской идиллии: место «пастушков» заняли рыбаки (рыбари), а «идеальный ландшафт» классической пасторали — рощи, луга и ручейки — заменил широководный северный пейзаж.³ Гнедич рисовал невский пейзаж («Но поздно; повеяла свежесть; на Невские тундры / Роса опустилась <...> Нева не колыхнет; светла и спокойна, как небо...»⁴), и Пушкин, как известно, в примечаниях к «Евгению Онегину» отметил «прелестное описание петербургской ночи в идиллии Гнедича». Оформление «водной» топики русской идиллии, главными персонажами которой становятся «рыбари», продолжили молодой С. Т. Аксаков

¹ Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 384. Также: Тюпа В. И. Идиллическое // Поэтика: Словарь актуальных терминов и понятий. М., 2008. С. 77.

² «Гнедич и сторонники национальной идиллии полагали, что подлинное значение идиллического жанра состоит не в возбуждении “сладостных впечатлений невинности и милого простодушия”, а в реалистическом изображении простонародного быта, во всем его многообразии, без слащавой идеализации» (Кукулевич А. М. Русская идиллия Н. И. Гнедича «Рыбаки» // Учен. зап. ЛГУ. 1939. Сер. филол. Вып. 3. С. 290). О «Рыбаках» см. также: Вацуро В. Э. Русская идиллия в эпоху романтизма // Вацуро В. Э. Пушкинская пора. СПб., 2000. С. 527—530; и др.

³ Ср.: «...сам факт введения в идиллию рыбаков <...> означал, что Гнедич порывает с укоренившейся традицией пасторальной идиллии...» (Кукулевич А. М. Русская идиллия Н. И. Гнедича «Рыбаки». С. 291). Здесь же автор работы отметил, что в заглавии своей идиллии Гнедич, очевидно, следовал Феокриту, автору одноименной идиллии, «по сюжету, правда, ничего общего с идиллией Гнедича не имеющей» (Там же. С. 292).

⁴ Гнедич Н. И. Стихотворения. Л., 1956. С. 199—200 («Б-ка поэта». Большая сер.).

в идиллии «Рыбачье горе» (1824; опубл.: 1829)¹ и Д. П. Оз-нобишин в идиллии «Рыбаки» (1835).

Лирический субъект «Рыбной ловли» простодушен и кроток, каким и подобает быть идиллическому «рыбарю смиренному». Однако включенная в процесс разрушения и затухания жанра,² идиллия Майкова далеко отступает от жанрового канона, превращаясь в лирическую исповедь поэта, с исповедальным прямотушием повествующего о сокровенном и глубоко интимном. Само событие рыбной ловли у Майкова интимизируется, сближается с любовным переживанием, соединяя искушение и невозможность борьбы с ним, страсть и нежную влюбленность, делая стих поэта, как заметил Мережковский, «нежным, гибким и женственным».³ Рыбная ловля названа Майковым «искусством», приравнивается к состоянию творческого вдохновения, это его «муза чистая», хотя и «непризнанная муза»:

Нет, муза чистая, витай между озер! <...>
Ты, ночью звездною, на мельничной плотине,
В сем царстве свай, колес, и плесени, и мхов,
Таинственностью дух питай в святой пустыне! <...>
И в миг, когда спадет с природы тьмы завеса
И солнце вспыхнет вдруг на пурпуре зари,
Со всеми криками и шорохами леса
Сама в моей душе ты с богом говори!
Да просветлен тобой, дыша, как часть природы,
Исполнюсь мощью я и счастьем той свободы,

¹ Полемически заостренная против Гнедича, «идиллия Аксакова дает в полном смысле слова нравоописательную сценку из жизни рыбаков»; подробно описывающая «технологии» рыбной ловли, она «перегружена профессиональными терминами» (Кукулевич А. М. Русская идиллия Н. И. Гнедича «Рыбаки». С. 298).

² Об эволюции пасторальных жанров в XIX веке, когда разрушается жанровый канон, но сохраняется его топка, см., например: Козлов В. И. Русская элегия неканонического периода: очерки типологии и истории. М., 2013; см. также авторитетные работы по исторической поэтике идиллии Т. В. Саськовой, И. С. Абрамовской, Н. В. Забабуровой, С. В. Быченковой и др.

³ Мережковский Д. С. Вечные спутники. С. 222.



И. Н. Крамской. А. Н. Майков на рыбной ловле. 1883

В которой праотец народов, дни катя
К сребристой старости, был весел, как дитя!¹

Жанровые стереотипы нарушает у Майкова автопортретность его рыболова, оттененная мягкой иронией, продуманный автобиографизм, воскрешающий в трогательных подробностях «чудного сна» мир детства, которое

¹ Майков А. Н. Избранные произведения. С. 355—356.

остаётся, в соответствии с законами идиллического мироустройства, бесконечно длящимся.

Себя я помнить стал в деревне под Москвою.
Бывало, ввечеру поудить карасей
Отец пойдёт на пруд, а двое нас, детей,
Сидим на берегу под елкою густою,
Добычу из ведра руками достаём
И шепотом о ней друг с другом речь ведем...
С летами за отцом по ручейкам пустынным
Мы стали странствовать... Теперь то время мне
Является всегда каким-то утром длинным,
Особым уголком в безвестной стороне,
Где вечная заря над головой струится,
Где в поле по росе мой след ещё хранится...
В столицу приведен насильно точно я;
Как будто, всем чужой, сижу на чуждом пире,
И, кажется, опять я дома в божьем мире,
Когда лишь заберусь на бережок ручья...¹

Опыт своеобразной документализации идиллического рыболовного сюжета до Аполлона Майкова предпринял В. Г. Бенедиктов в стихотворении «Вот как это было» (1839) с первоначальным названием «Рыбари» (в рукописи имелось и посвящение Н. А. Майкову).² «Рыбаря мирного» Николая и его чад Бенедиктов изобразил за их «простодушным» занятием на берегу «светловодного озера». Пристрастие к рыбной ловле признанного художника и его «ведавших книжное дело» сыновей в его идиллии предстает вариантом романтического эскапизма, бегства от житейской прозы в мир «таинственного», «чудного» и «загадочного» (это авторские определения): Бенедиктов использует один из стереотипных мотивов эпигонского, *вульгарного*, как его определяла Л. Я. Гинзбург, романтизма.

¹ Майков А. Н. Избранные произведения. С. 351.

² См.: РО ИРЛИ. Ф. 166. Оп. 4. № 60 (опубл.: 1842); см. примеч. Б. В. Мельгунова в кн.: Бенедиктов В. Г. Стихотворения. Л., 1983. С. 733–734 («Б-ка поэта». Большая сер.).

Автобиографический герой идиллии приобщается к занятию «рыбарей»:

Тихо спустился
К берегу злачному я и узрел Николая —
Рыбаря мирного, — в мокрой одежде у берега
Плот он сколачивал, тяжкие бревна ворочал;
Ветром власы его были разметаны; лёсы,
Крючья и гибкие трости — орудия ловли —
Возле покоились. Тут его юные чада
Одаль недвижно стояли и удили рыбу,
Оком прилежным следя, в созерцанье глубоко,
Легкий живой поплавок и движение зыби.
Знал я их: все они в старое время, бывало,
С высшим художеством знали, талантливы были,
Ведали книжное дело и всякую мудрость, —
Бросили всё: и забавы, и жизнь городскую,
Утро, и полдень, и вечер проводят на ловле.¹

«Рыбари» Бенедиктова остались вне внимания исследователей русской идиллии, и понятно — почему. У поэта «ложно-величавой» школы эта написанная гекзаметрами идиллическая стилизация, возможно, была единственной. Она наглядно демонстрирует тот жанрово-тематический, смысловой и словесный эклектизм и ту «многопредметность» Бенедиктова, о которых убедительно писала Л. Я. Гинзбург.² «Готовые красивые вещи», заимствованные из стилистически несовместимых поэтических систем, и в этом случае соединяются поэтом вызывающе произвольно: в глубине озера «уды зубристое жало» скрывается, как в «загадочных персях», само ужение представляется поимкой брошенного в воду «вероломного сердца» поэтической «девы».

Опыт Бенедиктова в трансформации идиллической поэтики имел вместе с тем значение для Гончарова, к которому

¹ Бенедиктов В. Г. Стихотворения. С. 173.

² См.: Гинзбург Л. Я. Пушкин и Бенедиктов // Гинзбург Л. Я. О старом и новом: Статьи и очерки. Л., 1982. С. 109–152.

наконец настало время обратиться. Бенедиктов, как и Гончаров, был ближайшим очевидцем рыболовной страсти отца и сына Майковых. Связанный с Гончаровым службой в Департаменте внешней торговли Министерства финансов, о чем шла речь в 1-й главе, Бенедиктов, как и Гончаров, сблизился с семьей Майковых во второй половине 1830-х, став постоянным участником их домашнего кружка.

В домашнем литературном творчестве Майковых рыболовная тема не могла не занять подобающего ей места. Этой теме посвящает одну из нескольких ранних юмористических повестей (неопубликованных) Аполлон Майков. В его остроумной повести «Покорение страны Семи пагод европейцами» (в «Лунных ночах», 1839) рассказывается о гибели браминского монастыря, а затем и всей восточной цивилизации от эпидемии рыбной ловли, начавшейся с «бедственной страсти» одного из монахов.¹

Годом раньше в рукописном «Подснежнике» за 1838 год Гончаров поместил свою шуточную «Лихую болезнь» — шарж на семейство Майковых. «Лихой болезнью» в повести представлено комически гиперболизированное увлечение семьи загородными прогулками, во время которых отец и сын Зуровы постоянно заняты рыбной ловлей. Зуров-сын при этом не оставляет чтения Вергилия и Феокрита. Эта деталь и портретирует Аполлона Майкова, и включается в необходимый Гончарову «буколический» ландшафт. В повествовании соединяются, с явным гротескно-комическим эффектом, пасторальный модус, в который вписана любовь Зуровых к загородным прогулкам, сельским ландшафтам и рыбной ловле, и драматический: «невинное» семейное увлечение ведет к преувеличенно катастрофическим последствиям.

Рыбная ловля составила один из постоянных сюжетов и в обширной переписке семьи и друзей Майковых. Пожалуй, самые выразительные оттенки рыболовный сюжет приобретает в письмах Евгении Петровны Майковой. Она сообщала, например, в 1838 году Солоницыну с дачи (се-

¹ См. публикацию текста в разделе «Приложения».

мья лето проводила на дачах в окрестностях Петербурга, главным образом близ Ораниенбаума¹): «Н. А. с Аполлоном возвратились с моря в два часа ночи с добычею 28 ершей, однако они сознались, что плыли за ними почти до Петергофа на негодной, крошечной лодчонке; недаром говорят, что благородная страсть презирает все опасности; жаль только, что она в то же время лишает охоты заниматься делом». ² Для Евгении Петровны рыболовная страсть мужа и сына не была, что вполне понятно, предметом литературных обработок, в ее письмах звучит непонимание, порой обида. В письме из Дрездена, где семья жила летом 1843 года, она жаловалась: «...я любопытна, а здесь так мало пищи моему любопытству, потому что некому удовлетворить его; Н<иколай> А<поллонович>, преданный душой и телом рыбной ловле, не может мне быть товарищем, и хотя бы он не отказал исполнить мою просьбу и идти куда-нибудь, но это была бы жертва с его стороны, я в этом совершенно уверена...». ³ «Что касается до меня с папины-кою, — пишет она в следующем письме, — мы *ничего не делаем*, он — потому что все ловит рыбу, а я — потому что, будучи ужасно расстроена нервами, я избегаю всех сильных впечатлений <...>. Папinya велел сказать, что он делает удочки, его страсть к рыбе превосходит границы». ⁴ И много позднее, в 1858 году, Евгения Петровна снова напишет в Петербург с дачи: «Николай Аполлонович все ловит карасей». ⁵

В создании эпистолярного *рыболовного* сюжета Гончаров принимал самое деятельное участие. Вот несколько

¹ Мельгунов Б. В. Майковы в Ораниенбауме // Балтийский луч. 1984. 27 нояб.

² РО ИРЛИ. Ф. 166. Оп. 5. № 73. Л. 41 об.—42; письмо от 12 июня 1838 г.

³ Из переписки В. А. Солоницына и Е. П. Майковой 1843—1844 гг. / подгот. текста и примеч. А. Г. Гродецкой // *Лица 2001*. С. 53; письмо Солоницыну и сыновьям от 28 июля 1843 г.

⁴ Там же. С. 56—57; письмо к тем же адресатам от середины авг. 1843 г.

⁵ РО ИРЛИ. № 17374. Л. 22; письмо от 12 авг. 1858 г.

примеров. Уехавшим в Италию в августе 1842 года Николаю Аполлоновичу и Аполлону Майковым в первых числах октября родные и друзья пишут коллективное письмо, в котором Владимир Майков открывает рыболовную тему: «Поздравляю папеньку с поимкою окуней, тебя же с носом!.. Теперь-то папенька показал свое искусство в рыбной ловле, и тебе, Попочка, за ним не угнаться. Помните, Рара, как вы тащили на немецкую удочку эдак шестивершкового штукаря? Мы видали виды». Гончаров в этом же письме рыболовную тему продолжает, сообщая: «Окуни стали здесь ловиться с конца августа — да как? Охотники ловили в день около ста на Охте» (15, 44). Аполлон Майков отвечает на упрек брата в письме от 24 октября (6 ноября): «Упрек старика, сопровождаемый нестерпимо суровой насмешкой в том, зачем я не поймал ничего в Монморанси, упрек, который может оставить вечное пятно в моей славе на поприще рыболовного искусства, если я в нем не оправдаюсь. А оправдаться в таком случае можно только посредством приведения фактов: и за тем дело не станет: не говоря уже о временах прошедших, когда единственно собственным искусством я лавливал бесчисленное число ершей и окуней в Парголове, каковое искусство мое приводило в отчаяние многих знаменитых рыбаков, <...> помните ли, не говоря уже о прежних моих подвигах, приведу в оправдание новую ловлю мою на Средиземном море, в Генуэзском заливе, каковая ловля увенчалась изыманием неведомой нам и странной вид имеющей в устройстве головы, жабр и глаз рыбы, так называемой *turta*, а по-моему, принадлежащей к потомкам древних мурен...».¹

Дудышкин в письме в Италию от 14 декабря 1842 года создал воображаемую рыболовную сцену на берегу Тибра. «Мне часто мечтается, — писал он, — как бы приятно вдруг,

¹ РО ИРЛИ. № 16994. Л. 9 об.; авторская копия: Там же. № 17020. Л. 5 об. Старик (старичок) — домашнее прозвище Владимира Майкова, полученное им «по своему тихому и спокойному нраву» (Старчевский А. В. Один из забытых журналистов: (Из воспоминаний старого литератора) // Исторический вестник. 1886. № 2. Отд. III. С. 376).



Н. А. Майков. Портрет В. А. Солоницына. 1839

неожиданно встретиться нам в Риме! Например: вы с Николаем Аполлоновичем отправились удить в Тибре. Река спокойна, виды очаровательны, солнце погружается в Средиземное море; однако рыба не идет на уду. Вы мечтаете, мысль ваша далеко, может быть, и в Петербурге. В это время кто-то также с удочкой сходит на берег, приближается к вам и, считая вас итальянцами, заранее приготовляет итальянскую фразу: “Вона sera, signore, ловится ли рыбка и как ловится...”» (15, 48).

Постоянный, подчеркнуто *домашний* мотив рыбная ловля составит в письмах Гончарова к Майковым во время плавания на фрегате «Паллада». Николаю Аполлоновичу он сообщал, например, 17 (29) марта 1853 года в письме из Кейптауна: «Рыбы, Николай Аполл<оно>вич, ловится бездна, просто пустят толстый крючок и кусок говядины, сала, чего хотите, и вытаскивают огромных и вкусных рыб, похожих немножко на наших лещей» (15, 141). И в следующем письме от 29 марта (10 апреля) он писал оттуда же: «Между утесами, у камней, плещется такое множество огромной рыбы, что, кажется, руками можно ловить. Я долго думал об Вас, милый мой Николай Аполлонович, и о Вас, Аполлон, — верно, думал я, оба они сидели бы тут, в белых шляпах и таких же куртках, замазанные, загорелые, и копались бы целый день» (15, 147).

Оригинальную модификацию рыболовного сюжета Гончаров создает в «Обыкновенной истории». Разочарованный, обманутый в любви, Александр Адуев доходит до «состояния совершенной одеревенелости», опускается до «дна», до занятия социальных низов — рыбной ловли с Костяковым (ср. в «Обломове» рыболовные интересы жителя Выборгской стороны Мухоярова, «братца» Пшеницыной¹). Затем в роли идиллического рыболова он пытается увлечь и соблазнить «дачницу» Лизу. Водный и дачный ландшафт — декорации, в которые вписан этот любовный эпизод, однако пасторальная «рыболовная» ситуация развивается в направлении, противоположном заданному. Адуев сознает театральность своей «маски», искусственность роли «естественного» человека, маскирующей вполне цинические цели. Внутри идиллических декораций вызревает драма.

¹ «Братец с Михеем Андреичем на тоню ходят, уху там варят, а мы всё дома» (4, 298) — отвечает Агафья Пшеницына на расспросы Обломова. Тоней называлась и ловля рыбы, и место ее ловли «огромными неводами, которые забрасывают, отъезжая на лодках от берега, и вытягивают воротами» (Настольный словарь для справок по всем отраслям знания / Сост. под ред. Ф. Толля: В 3 т. СПб., 1864. Т. 3. С. 688). Городские указатели 1850-х годов сообщали о существовании 18-ти тоней на Неве, в том числе на Выборгской стороне, в районе Малой Охты.

Замечательный пример диалога «понимающих дело» содержит письмо Гончарова к Майковым от 15 июля 1854 года, написанное на борту «Паллады» у берегов Сибири, в заливе Хаджи:

Теперь к вам преимущественно обращаю свою речь, рыболовы, — писал Гончаров. — Как вы упали все в моем мнении, Вы, Николай Аполлонович, который всю жизнь носитеесь со своим лещом, и вы все — Аполлон, Старик, с своими окунями. Знаете ли, что мы *выудили* при выходе из тропиков в нынешнем марте? Акулу! Это уж не ловля, а бой, опасное сражение. Мы с топорами и кольями стояли в круг и при малейшем взмахе хвоста отскакивали — кто куда мог. Я записал всю эту борьбу и посвящаю ее Вам, Николай Аполлонович. Хотелось бы послать теперь этот небольшой отрывок из дневника, да он все-таки величиной с *мой* лист: мучительно переписывать. — Но это всё акула, скажете Вы, а не рыба. А! не рыба, а Вам рыбы надо — извольте. Я не стану говорить о ловле неводом — это Вы презираете, а мы ловим им от 10 до 15 пуд рыбы в каких-нибудь три-четыре часа и не презираем: теперь это наш насущный хлеб. Но мы ловим и крючками. Когда матросам ехать с неводом нельзя, а между тем к столу надо рыбы, тогда возьмут да и пошлют вестовых, то есть денщиков, наловить тут же с фрегата крючками. <...> Вам еще вон надо червей копать да разводить их на зиму в цветах у Евгении Петровны, а здесь приманка — кусочек жиру, мяса или той же рыбы (15, 218—219).

Дневником Гончаров называет свои путевые записки, будущую книгу очерков «Фрегат “Паллада”». «Отрывок из дневника» о ловле акулы в более позднем письме Майковым, от 13 января 1855 года из Иркутска, будет им назван «морской идиллией»: «...я послал *морскую идиллию*, ловлю акулы, отрывок из своих записок для напечатания в “Отечественных” записках” (только там) в “Смеси”, *но без имени моего* (непременно)» (15, 245).¹ Однако «морская

¹ О публикации отрывка Гончаров ранее, в сентябре 1854 г., писал А. А. Краевскому (см.: 15, 237).

идиллия» как самостоятельный текст в печати не появилась. Рассказ о ловле акулы, драматический этюд, редкий в прозе писателя по силе разрушительной живописи, вошел в шестую главу второго тома «Фрегата “Паллады”» (2, 589—593). Идиллическую ситуацию Гончаров трансформирует радикально, превращает в антиидиллию.

И еще один сюжет связывает Гончарова с семьей Майковых и их рыболовной страстью. В августе 1854 года Аполлон Майков опубликовал в фельетонном подвале «Санкт-Петербургских ведомостей» «Отрывок из письма к А. Ф. Писемскому». Проникнутое горячим патриотизмом письмо появилось на страницах газеты в те дни, когда в Петербурге напряженно ждали появления возле Кронштадта и в Неве английской эскадры. «...Эта война разъединяет запад, озлобляет партии, готовые на междоусобия, — писал Майков, — а у нас скрепляет сословия, водворяет единство во всех племенах, живущих под скипетром одного Государя!.. <...> Тысячи мыслей, тысячи взглядов открывает мне наша светлая Русь! тысячу раз благословляю я ее, благословляю Провидение, что Оно родило меня русским и дало жизнь в нынешнее время!»¹ Патриотическую риторику и пафос предваряет в фельетоне неожиданное, казалось бы, странное идиллическое вступление. Национальную пастораль Майков в данном случае смело соединяет с идеей национального величия.

...Теперь лето, — пишет он, — а летом я живу только *космической* жизнью, как вся природа, упиваясь солнцем и укрепляя свои силы в разных похождениях в далекие чухонские деревни около Петербурга, куда кидает меня страсть к рыбной ловле (разумеется, удочкой), вожусь с веслами, как записной рыбак, ночью Бог знает как, и одно у меня на уме — рыбная ловля. Единственное мое любимое чтение — это «Записки об ужении» Аксакова, книга, которую я почитаваю и зимою, когда все мои рыболовные снаряды сложены в углу, когда удить негде и когда только припоминаешь удачи и неудачи лета. В самом деле, книгу

¹ Санкт-Петербургские ведомости. 1854. № 176. 11 авг. С. 1.

Аксакова я прочел, я думаю, раз пятьдесят, и один, и вслух с другими охотниками: уж как же мы полюбили этого незнакомого нам патриарха рыболовов! как бы хотелось удостоиться чести поудить вместе с ним и под его руководством!..¹

С идиллическим материалом Майков, как и Гончаров, достаточно дерзко экспериментирует, соединяя в газетном фельетоне идиллику и героику, интимность дружеского послания и эмоции публициста. Гончаров «Отрывок из письма к А. Ф. Писемскому» прочитал в Иркутске, на обратном пути в Петербург по завершении экспедиции на «Палладе». Патриотический пафос поэта в ответном письме (от 13 января 1855 года из Иркутска; см.: 15, 243) он горячо поддержал, проигнорировав, впрочем, рыболовный фрагмент.

Завершением рыболовных сюжетов может служить следующий эпизод. На юбилейном вечере, посвященном 50-летию литературной деятельности А. Н. Майкова, М. Н. Островский, брат драматурга и министр государственных имуществ, в приветственной речи, обращенной к юбиляру, в частности сказал: «Позвольте же мне приветствовать вас не только лично от себя, но и от имени моего усопшего брата <...> он высоко ценил и горячо любил вас; <...> как вы, он чуток был к языку природы и горячо любил нашу, местами скудную, местами суровую природу севера. Я никогда не забуду, с каким восторгом он читал ваше стихотворение “Рыбная ловля”, посвященное и ему в числе многих других любителей рыбной ловли, помню, с каким умилением он повторял те места вашей поэмы, где вашею художественною, но трезвою кистью рисуются картины нашей природы... Это умиление разделял с ним и я... И теперь, как и тридцать лет тому назад, я не могу без глубокого чувства

¹ Там же. Любопытно, что *летнее* письмо к Н. Ф. Щербине (с датой: «Лето 1853»), целиком посвященное литературно-творческим вопросам, Майков начинает с признания: «Теперь пора летняя, а летом у меня никогда перо в руках не бывало, ибо соблазн великий представляет мне озеро с рыбой и удочка» (*Майков А. Н. Письма* / Публ. И. Г. Ямпольского // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1978 год. Л., 1980. С. 169).

повторять те строки, в которых вы, обращаясь к этой природе, восклицаете:

Картины бедные полуночного края!
Где б я ни умирал, вас вспомню, умирая,
От сердца пылкого все злое прочь гоня;
Не вы ль, мира с людьми, учили жить меня?».¹

¹ Юбилей А. Н. Майкова // Русский вестник. 1888. № 6. С. 302—303.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Близость Гончарова с семьей Майковых — явление нескольких десятилетий. И если начальный этап этой близости в достаточной степени к настоящему времени документирован и изучен, что и составило предмет нашей работы, то исследование дальнейших контактов писателя с Майковыми и их ближайшим окружением — дело будущего.

На текущем этапе биографических исследований имеет смысл подвести промежуточные итоги. Благодаря знакомству с Николаем Аполлоновичем и Евгенией Петровной Гончаров стал частым посетителем нескольких петербургских домов, с которыми старшие Майковы были дружески связаны. Ниже приводятся краткие сведения о лицах из окружения Майковых и Гончарова, которые ранее либо вообще не были упомянуты в биографической и научной литературе (в том числе и в «Летописи...» А. Д. Алексеева), либо сведения о них не были вполне точны.

Азаревичи (Азаревичевы). Александр Аполлонович Азаревич (Азаревичев) (1805—1870), горный инженер, к концу жизни гвардии полковник; по ряду данных, внебрачный сын директора Императорских театров Ап. Ал. Майкова, отца Н. А. Майкова; носил фамилию матери, актрисы (фигурантки) Азаревич.¹ А. А. Азаревич — второй муж

¹ Ср.: «У Азаревичевой были две дочери, воспитывавшиеся в театральной школе. <...> Был, кажется и сын, дослужившийся потом до полковника» (Зотов Р. М. Записки // Исторический вестник. 1896. Т. 65. С. 36). После смерти Ап. Ал. Майкова, его сын Михаил сооб-

Нат. А. Майковой (рожд. Измайловой), в начале 1840-х инспектрисы Екатерининского института (см. выше). Сведения более позднего времени о Нат. А. Азаревич содержатся в воспоминаниях Н. К. Багратион-Имеретинского, относящихся к августу 1854 года, ко времени Крымской войны, когда их автор находился в Петергофе. Проникнутый патриотическими настроениями мемуарист сообщал, что ведет деятельную переписку «с одной почтенной личностью. Это была Наталья Александровна Азаревич, дочь писателя Измайлова, умная, просвещенная и вполне русская женщина». Здесь следовала сноска: «Н. А. Азаревич, супруга богатого московского помещика А. А. Азаревича, находилась в родстве с семейством Майкова. Слог — есть человек, и по выпискам можно судить о наблюдательности и уме этой женщины».¹ Автор имеет в виду выписки из двух ее писем о событиях Крымской войны от начала осени 1854 года, которые он включил в свои воспоминания. «Она жила постоянно в Петербурге, — продолжал мемуарист, — имела возможность выезжать в общество и принимать его у себя».² С семьей Азаревичей старшие Майковы много лет поддерживали родственно-дружеские отношения. В 1840—1850-х годах в доме Азаревичей бывал и Гончаров, о чем имеются упоминания в его письмах (см.: 15, 479).

Бороздны. Василий Петрович Бороздна (1793—1850-е), брат поэта Ивана Бороздны (1804—1858), и его жена Любовь Ивановна Бороздна — участники домашних рукописных изданий Майковых. Бороздны — старинный дворянский род Черниговской губернии.³ В прошлом чиновник посольской канцелярии, автор «Краткого описания путешествия Российско-императорского посольства в Персию

щал брату Александру 20 дек. 1838 г.: «Тебе, я думаю, известно, что покойник был женат на матери Азаревича и жил с ней в одной квартире...» (РО РНБ. Ф. 452. Оп. 1. Ед. хр. 426. Л. 9 об.).

¹ *Имеретинский <Багратион-Имеретинский> Н., кн.* Из записок старого преображенца. 1854 год // Русский архив. 1884. Кн. 3. С. 389.

² Там же.

³ См.: Записки Черниговского губернского статистического комитета. Чернигов, 1868. Кн. 2-я. С. 95.

в 1817 году» (СПб., 1821), В. П. Бороздна в 1840-х годах состоял директором 1-го отделения Экспедиции государственных кредитных билетов (Ассигнационный банк) Министерства финансов. Семья В. П. Бороздных жила в собственном доме на углу Фурштатской (д. 44) и Таврической (д. 12) улиц.¹ Здесь бывали как Майковы, так и Гончаров. Ранее при публикации писем Гончарова и при их цитировании Василий Петрович Бороздна, прежде не названный в числе друзей семьи Майковых, ошибочно идентифицировался как Василий Петрович Боткин.² Поклоны семье В. П. Бороздных Гончаров регулярно передает в письмах Майковым с борта фрегата «Паллады», о контактах с его семьей также имеются упоминания в письмах писателя (см.: 15, 479).

Тепляковы. Алексей Григорьевич Тепляков (1805—1872) — путешественник, дипломат, литератор, издатель сочинений брата, поэта В. Г. Теплякова, автор воспоминаний о нем.³ Н. А. и Е. П. Майковы с конца 1830-х годов поддерживали с ним и его семьей дружеские отношения,⁴ посещая его вечера с танцами, на которых бывали петербургские литераторы. Так, в декабре 1840 года в числе его гостей были П. А. Плетнев и А. А. Краевский.⁵ И сам Тепляков, «презадорный оригинал», как его аттестовал Плетнев, в начале 1840-х был принят в литературных гостиных Петербурга.⁶ Сведения об А. Г. Теплякове имеются в письмах Ап. Майкова начала 1840-х годов.⁷ Сам Тепляков, его сын и доче-

¹ См.: *Нистрем К. М.* Адрес-календарь санктпетербургских жителей: В 3 т. СПб., 1844. Т. 1. С. 122—123; Т. 2. С. 413.

² См., например: *Летопись*. С. 23; и др.

³ *Тепляков А. Г.* Воспоминание о В. Г. Теплякове // *Отечественные записки*. 1843. Т. 28. № 4. Отд. VIII. С. 74—103.

⁴ См.: Из переписки В. А. Солоницына и Е. П. Майковой 1843—1844 гг. / Подгот. текста и примеч. А. Г. Гродецкой // *Лица* 2001. С. 65, 71, 84, 92.

⁵ См.: Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 1. С. 176.

⁶ Там же. С. 133.

⁷ См.: *Майков А. Н.* Путевой дневник 1842—1843 гг. Итальянская проза / Сост., подгот. текстов, ст. и комм. О. В. Седелниковой. СПб., 2013. С. 49, 331—332.

ри¹ неоднократно упоминаются Гончаровым в письмах (см.: 15, 528).

Как уже отмечалось, длительные дружеские контакты связали Гончарова и с друзьями младших Майковых — С. С. Дудышкиным, А. В. Старчевским, И. И. Лъховским. Особое место в жизни писателя занял И. И. Лъховский, университетский сокурсник Владимира Майкова, ставший одним из его самых доверенных корреспондентов.²

Свою историю имеют и отношения Гончарова с младшим Солоницыным (Соликом), сотрудничавшим в 1846—1847 годах по приглашению Вал. Майкова в критико-библиографическом отделе «Отечественных записок», затем — «Современника». После кончины старшего Солоницына Старчевский и Дудышкин поддерживали Солика, «не желая, чтоб он опустился и погиб», поскольку «любил играть в карты не по средствам».³ В 1848—1861 В. Ап. Солоницын служил писцом, затем библиотекарем в Румянцевском музее, регулярно публиковал стихи.⁴ По просьбе Ек. П. Майковой (жены Владимира Майкова) Гончаров безуспешно пытался устроить Солоницына — «заблудшую овцу», по его словам, «40-летнего юношу и недоросля», на службу в редактируемую им (с октября 1862 года) газету «Северная почта».⁵ В январе 1863 года Ап. Майков и Ду-

¹ О дочерях А. Г. Теплякова Софии и Юлии, передавших в редакцию «Русской старины» письма из архива дяди, поэта В. Г. Теплякова, см.: Из бумаг Виктора Григорьевича Теплякова / Сообщил А. Ф. Шидловский // Русская старина. 1896. № 1. С. 177.

² См.: *Гончаров И. А.* Письма к И. И. Лъховскому (1857—1860) / Комм. А. И. Груздева // Литературный архив. Л., 1951. Т. 3. С. 91—165; также: 15, 508—509.

³ *Старчевский А. В.* Один из забытых журналистов: (Из воспоминаний старого литератора) // Исторический вестник. 1886. № 2. Отд. III. С. 374.

⁴ О них в статье «Русские второстепенные поэты» (1850) сочувственно отозвался Некрасов и он же иронически откликнулся на них в шуточном стихотворении о «проснувшихся» забытых поэтах (*Некрасов Н. А.* Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Л., 1990. Т. 11. Кн. 2. С. 38—39, 318).

⁵ См.: *ЛН Гончаров*. С. 388—389.

дышкин обратились в Комитет Литфонда с ходатайством о поддержке Солоницына, у которого к этому времени обнаружались признаки душевной болезни, ставшей причиной его смерти.¹

Творческий диалог Гончарова как с Аполлоном Майковым, так и с рано погибшим Валерианом Майковым, незаслуженно малоизученный, требует специальных глубоких исследований.

¹ См. подробнее: *Гродецкая А. Г., Гаврилова Н. В.* Солоницын Владимир Аполлонович // *Русские писатели. 1800—1917: Биограф. словарь.* М., 2007. Т. 5. С. 773—774.

Приложение I

ТЕКСТЫ «ПОДСНЕЖНИКА» И «ЛУННЫХ НОЧЕЙ»

ЛИРИКА И ПРОЗА Е. П. МАЙКОВОЙ

МАРИЯ

Повесть

Homme? tu n'est qu'un songe rapide, un rêve douloureux; tu n'existes que par le malheur; tu n'es quelque chose que par la tristesse de ton âme et l'éternelle mélancolie de ta pensée.

*Chateaubriand*¹

I

Ах, скоро ли настанет час свиданья?
Когда в твоих пленительных очах
Найду, мой друг, отраду состраданья?..

Неизданное стихотворение

День вечерел. Туман опускался на землю в виде эфирного газа, украшающего милую головку женщины, и женщина, прекрасная, как весеннее утро, задумчиво сидела на балконе своего сельского дома. Она, казалось, прислушивалась к лепету каждого листочка. Какое-то нетерпение, полное грусти, выражали ее взоры, когда она обращала их в ту сторону, где пролегала большая дорога, ведущая к ее поместью. «Чу! колокольчик!» — говорила она про себя, и точно слышался вдали однообразный звук этой дорож-

¹ Человек, ты всего лишь мимолетный сон, горестное видение, тобою движет несчастье, ты являешь собою нечто, только когда душа твоя погружена в скорбь, когда мысль твоя предана вековой печали. *Шатобриан* (фр.; пер. М. А. Хейфеца).

ной забавы. По мере приближения экипажа он становился все громче, слышнее. Вдруг все утихло в окрестности, и Мария (так звали прелестную), мрачно посмотрев вокруг себя, машинально опустила в пуховые кресла свои. «Нет, это не она! — сказала сквозь слезы томная красавица. — О! как бы я желала видеть ее, прижать к моему сердцу! У меня один друг... Елена».

— Мария! — раздался голос, эхо которого раздалось в ее сердце, — и две прекрасные женщины обнимали друг друга.

Какая кисть, какие краски могут изобразить восхитительные минуты свидания после долгой разлуки! Надо быть женщиной, иметь друга, второго себя, испытать ужас разлуки — и тогда только будет понятен восторг друзей, героинь моей повести.

— Тебя ли вижу? — воскликнула наконец Мария С*, — не мечта ли моя представляет тебя? — Нет; ты со мною: я чувствую твое присутствие, оживаю при звуках твоего голоса. Ты меня более не оставишь, не правда ли? Прошло более пяти лет, как мы разлучились с тобою. Письма мои не всегда были искренны. Я знала, что кроме нас есть еще люди в этом мире; я молчала, Елена, — а много таилось в душе моей. Длинна повесть моего сердца, страданий!.. Посмотри на небо! видишь ли ты эту одинокую звездочку? Она, сирая, тускло светит земле; я одна ее вижу; она призывает меня; но я не хотела оставить земную долину, прежде нежели тебя увижу.

— О! да ты большая мечтательница, как я замечаю! — возразила Елена, с лукавой, но грустной улыбкой смотря на свою подругу. — Опасно, мой друг, предаваться мечтам в твои лета, с твоим пылким воображением. Мечты неприемлемо вкрадываются в твою душу, потрясают ее до основания, и пробуждение часто бывает пагубно, ужасно!

— Благодарю за совет, — отвечала Мария, глубоко вздохнув, — но мне поздно им воспользоваться. Оно здесь, — продолжала она, указав на сердце, — зло, о котором ты разумеешь; оно тяготит, давит грудь мою. Источник жизни иссяк на заре моей; давно ознакомилась я с горем, Елена; я дитя злополучия...

МАРІЯ.

ПОВѢСТЬ.

*Homme, tu n'es qu'un songe caprice, un
être douloureux; tu n'existes que par le malheur;
tu n'es quelque chose que par la tristesse de ton
âme et l'éternelle mélancolie de ta pensée.*

Chateaubriand.



I

*Ахъ, скоро ли настанетъ часъ свиданья?
Когда въ твоихъ тучахъ и вѣбѣхъ драго
Найду, мой другъ, отраду состраданья?...*

Неизданное стихотвореніе.

День вечерній. Туманы опускаются надъ землю въ видѣ зорнаго газа, украшающаго имиро головъ и экзекцины, и экзекцины; прекрасная какъ весеннее утро, задумчиво сидѣла на балконѣ своего свѣтлаго дома. Она, казалося, присмиривалась къ легкой каждаго листоюлка. Какое-то кетерлянье, полное грусти, выражали ея взоры, когда она обращала швъ въ ту сторону, гдѣ пролегла бычшая дорога, ведущая къ ея помѣстѣю. „Гу! колюкобынд!“ говорила она про себя, и точно посиышавшая вдали однообразный звукъ этой дорожной забавы. По мѣрѣ приближенія житаюка, онъ становился все громче, свѣшны. Вокругъ все утихло въ окрест-

— Ты вся предана увлекательному романтизму восторженных поэтов, которые воспламенили твое воображение, разочаровали тебя прежде, нежели вступила ты на поприще жизни. Ты бредишь, стонешь, как все страдательные лица романов. Кстати, верно, ты читала Байрона, и Чайльд-Гарольд прельстил тебя?

— Байрона? — сказала тихо Мария. — Читала ли я Байрона! — повторила она дрожащим голосом, и яркий румянец покрыл щеки ее; небесные взоры отуманились, алмаз утренней росы заблестал на черных ресницах. Она молчала... Но вдруг, прервав свое красноречивое молчание, начала говорить, сперва тихо, потом с твердостью. — Она думает, несчастная, что я только читала Байрона!.. Нет, мой друг, нет! я его видела, знала, лю...

Но она не могла кончить рокового слова «люблю»; колебалась излить все свое сердце в душу друга. Грудь ее вздымалась, дыхание становилось реже. Наконец, не могши овладеть чувствами, поразившими ее так незапно, Мария, почти бездыханная, упала на грудь своего изумленного друга.

II

Не выговаривай его имени; оно смертоносно!

Гёте

Есть чувства непостижимые, неопределенные; чувства, которые незапно объемлют душу, ввергают на некоторое время физическое состояние человека в ничтожество, делают его неспособным владеть собою. Но эти чувства созданы, конечно, не для многих; не всякой обладает даром сильно чувствовать. Не менее того, они существуют в душе поэтической, не принадлежащей к толпе. Таковы были чувства Марии. Будучи воспитана пылкой, но слабой, непредусмотрительной женщиной, которая не умела дать надлежащего направления врожденным склонностям юной девицы,

бедная Мария заимствовала от своей наставницы все то, что впоследствии отравило неопытный путь ее жизни.

Прекрасная Мария не понимала, сколь опасно предаваться первым мечтам пылкого сердца; она не понимала, что, блуждая при томных отблесках меланхолического светила, она упитывалась ядом чувствительности; что дикие виды божественной природы, неприступные скалы, темные леса и зрелище бури с ужасными ее красотоми недаром приводили в трепет юную деву; не понимала, наконец, что романтизм высоких ее ощущений будет иметь пагубное влияние на всю жизнь ее. Она вся существовала в мечтании, творила себе миры по воле фантастического своего воображения. Ей было только пятнадцать лет. Она еще не мечтала о том идеале, без которого жизнь покажется ей гробовою и беспредельный мир будет тесен; она, как зефир, еще гонялась за быстрою бабочкою; подобно дикой серне, перепрыгивала утесы; останавливалась на берегах моря, когда оно начинало бушевать и волны выбрасывали серебристую пену его; прислушивалась в упоительном восторге к мелодии любимого ею соловья; восхищалась красотою розы, алмазным блеском слез авроры... Но протекли еще два года после трех пятилетий жизни ее — и Мария не порхала более; прелестная Мария всегда задумчиво блуждала, как небесная поэзия в мире идеальном; искала впечатлений более глубоких, впечатлений сердца; ей нужны были книги, улаждающие душу высокую; она не понимала классических авторов, дремала над творениями древних философов; она желала чего-то нового, таинственного, безумного, невещественного.

— Вы обещали, добрый друг мой, — говорила она однажды своей наставнице, — познакомить меня с творениями величайшего из поэтов нашего века, которого чудесные произведения должны усовершенствовать мои понятия о прекрасном. Признаюсь вам, все, что я прочла до сих пор, не удовлетворяет меня. Я желала бы больше поэзии, увлекательности, огня...

— А я желала бы, милая моя Мария, чтобы вы умилили пылкость своего воображения. Вы еще слишком молоды,

чтоб уметь отличать благородные страсти от вредных. Вы можете быть увлечены и очень ошибаетесь, если полагаете, что страсти составляют существенную цель жизни нашей.

— Без сомнения, — возразила молодая девушка, — это неоспоримая истина! Что была бы наша жизнь без страстей. Все равно что труп неодушевленный. Вы сами говорили мне это, добрый мой друг. Но вы нынче состарелись. А вспомните, прежде вы разве так чувствовали?

И сказав это, Мария остановилась и покраснела, как будто боялась обидеть свою наставницу. Старушка не знала, что отвечать. Подобные невинные выходки молодой девицы часто приводили ее в замешательство, и она, казалось, видела уже пропасть, в которую необдуманное воспитание ввергало ее питомицу; видела... но, надеясь на умственные способности Марии, полагала, что еще может переменить образ ее мыслей, погасить вулкан юного сердца. Несчастливая! как она ошибалась! Когда семена ядовитого растения посеяны, разве можно избежать смертоносных плодов? — Горе девице! Проклятие ее воспитаннице!

III

Она легко бы сделалась счастливою. Простая хижина в альпийской долине и какие-нибудь домашние занятия — были бы достаточны для того, чтобы удовлетворить ее ограниченные желания и наполнить всю жизнь ее. Но я, отверженный Божий, я не мог быть спокоен до того времени, пока не растерзал ее сердца. Мне было нужно, чтобы она соделалась добычею адовоей!

Гёте

Обратимся к повествованию, прерванному нами на той минуте, как Мария без чувств упала в объятия изумленной Елены. При пособии разных оживляющих средств она на-

конец открыла прелестные глаза свои; но увидев около себя лица холодные, ничтожные, ничего не говорящие ее душе, — вздрогнула и, казалось, искала кого-то. «Елена! Елена! — произнесла она томным голосом, — ты со мною, друг мой? Как мне душно! уведи меня отсюда; дай подышать воздухом: он подкрепит силы мои».

И вот они обе под сводом голубого неба, под навесом пушистых деревьев, в очаровательном уединении поверяют друг другу свои сердечные тайны. — О! как упоительно прекрасны были они в эту минуту! Огонь дружбы блистал в глазах Елены; непостижимую приятность выражали голубые взоры нежной Марии. Это был взор Мадонны Рафаэля — той самой, которую так увлекательно-красноречиво описал мечтательный поэт наш Жуковский. Стан ее, подобно стану Венеры Медицийской, представлял что-то изящно-пленительное. Таинственная черная цепь на лилейной шее придавала еще более красоты всей ее особе. Елена не менее была прекрасна. Быстрый взор ее выражал всю прелесть истинных чувств; улыбка, как солнце природу, оживляла ее физиономию; сверх того она имела прелестный голос; а голос, взгляд и улыбка женщины составляют что-то выше земного, сказал один из писателей, с которым в этом случае невозможно не согласиться. Елена и Мария были созданы понимать друг друга, но судьба, упрямая, коварная, часто разлучала их.

— Должна ли я припомнить тебе минуту, в которую мы расстались с тобою? — сказала Мария, — минуту ужасную, когда еще дымилось смертию тело моей матери и когда одна сила дружбы нашей могла оторвать меня от бранных остатков ее? Помнишь ли, как, бросаюсь к тебе в объятия, я должна была и тебе сказать убийственное «прости»? Мне было тринадцать лет, Елена, и я уже осталась сиротой в мире! Но Бог, творец щедрот, не покидает детей своих. В моей наставнице я нашла вторую мать; она, неумолимою дружбою, осушила слезы мои, любила меня, как дочь свою. Мы вместе плакали на могиле покойной; она благом почитала выполнить обет, данный ею при последних минутах жизни моей доброй матушки. Но для чего я повторяю тебе про-

шедшее? Мы переписывались; ты знаешь, как протекли первые пять лет того времени, как я осталась сиротою. Прости меня, что я прервала эту переписку вдруг, так неожиданно. Я тогда сама располагала собою и забыла все — наставления матери, дружбу, тебя: я жила тогда одною любовью, жила только для любви!

Елена! видишь ли там, на холме молодое дерево, которое, кажется, улыбается твоему взору? С каким рачением земледелец ухаживает за ним; он лелеет его, как свое детище. Но тщетны труды его, Елена! Подойди ближе: увидишь, что ветви этого дерева уже не растут; благодетельное солнце только томит его, а не дает жизни; сердцевина испорчена — и скоро, скоро оно упадет на землю, не развив вполне красоты своей, не освежив усталого путника прохладой своей тени. Это дерево, Елена, это дерево — я!

Непредвиденные обстоятельства принудили мою наставницу разлучиться со мною и ехать в Лозанну, где ее ожидало большое наследство. Если она решилась им воспользоваться, это единственно для того, чтобы передать мне. Добрая женщина! она думала, что земные сокровища имеют какую-нибудь цену в глазах моих. Я была всегда богаче, нежели она воображала. Солнце, луна, вся божественная природа — вот мое богатство, мои алмазы и золото! — Много было пролито слез при прощании, но... мы расстались. Я увидела себя в одиночестве, с природою, поэзией и мечтами. Свобода и уединение так мило мне улыбались! Отдаленный от хижин земледельцев наш домик, на верху поэтических Альпов, имел вид очаровательный, он казался висящим над бездною; около его зелень, вдали снежные горы, тут рощи, там возделанные поля, ручейки и источники — и все это оглашалось песнями и свирелями пастухов, радостным шумом стад, веселыми криками дерзких звероловцев. Я таяла от восторга, любуясь этою обворожительною картиною, каждый день открывала в ней новые красоты и — была счастлива.

Между тем прошел целый год; наставница моя все не возвращалась. Чтобы наполнить чем-нибудь мое уединение, она всякую неделю присылала мне новых книг и жур-

налов. Журналы познакомили меня с современными происшествиями, и из них же узнала я странную, печальную участь Байрона. Я не могла без содрогания видеть, как он был гоним соотечественниками своими, как зависть бросала в него свои ядовитые стрелы. Я читала и перечитывала творения великого поэта, учила наизусть неподражаемые стихи его, проникала в каждую его мысль, разгадывала болезненные чувства, которые водили пером его, страдала с ним вместе... Мне было удивительно, непонятно, как соотечичи Байрона не постигли этого великого гения, этого друга человечества, который, поэзией души своей, указывал даже врагам своим истинный путь к высокому и прекрасному. Я достала его портрет. О! сколько слез умиления пролило мною на благородные черты певца Чайльд-Гарольда, предпринимавшего тогда возратить славу и свободу забытой Греции, — Греции, стенавшей на обломках древнего своего могущества, как жертва эгоизма веков и народов!*

Как велик он был в глазах моих, когда, с чудесным самоотвержением, решился защищать в греках святое, правое дело! Увлекаемый единственно порывами высокой души своей, он презирал личные свои выгоды, свою безопасность и стремился к великим подвигам. Мне казалось, что он должен был испытывать адские мучения, не находя никакой симпатии между им и людьми и не встречая на всей поверхности земного шара ни одного существа, которое бы умело понять его, оценить его или хотя немного утешить в печалях, беспрестанно наносимых заблуждениями и ничтожностью людей. Для чего я не сестра его, которую он так много любил и так жалобно вспоминал в своем горьком, безотрадном уединении! — Ты знаешь, Елена, страсть мою к музыке, но, быть может, не знаешь песни, которую Байрон сочинил своей сестре. Я сделала для нее голос и каждый вечер, по закате солнца, пела, аккомпанируя себе арфою. Не знаю,

* В 1823 году Лорд Байрон решился всем своим богатством и самою жизнью пожертвовать стране, которая была вдохновительницей его пламенного воображения. Он умер в Миссолунги в 1824 году. Говорят, что скорбь о неудаче этого предприятия ускорила его кончину. (Примеч. автора).

отчего каждый раз я рыдала при пении этой песни; не знаю, отчего пастухи останавливались, слушая звуки моего голоса. Казалось, в то время птички умолкали и серебристые рыбки не плескались в водах; вся природа внимала прощанию нежнейшего брата. — Вот смысл этой песни:

1.

«Хотя скала, на которую опирались последние мои надежды, разрушилась и обломки ее покрылись волнами; хотя душа моя отдалась навсегда в неволю мучениям, — нужды нет! она не покорится железному року! Страдания горькие, многочисленные будут свирепствовать в моем сердце. Они могут меня истерзать, но не победить; умертвить, но не унижить. — Я думаю не о страданиях своих, о тебе.

2.

Порождение человека — ты не обманула меня; женщина — а не изменила; любима мной до безумия — а никогда не подала мне повода к огорчению; была оклеветана и зловлена — и осталась покойна. Доверенность моя к тебе не встречала холодности; разлука наша последовала не оттого, чтобы ты хотела покинуть меня; сокровенный источник моей горести ты старалась проникнуть не с тем, чтобы насмеяться над нею или пребыть равнодушною.

3.

Прошедшее погибло, но я спас от крушения несколько печальных воспоминаний. Они доказывают мне, что та, которую я любил, заслуживает всей привязанности человека. Так иногда в пустыне встречаешь одинокий ключ или деревцо; птичка поет в безмолвии угрюмой дубравы; ее голос, таинственными путями, беседует с душой моей о тебе».

Однажды я пела эту песню с особенным чувством и, когда кончила, то услышала, что какая-то незнакомая гармония повторяет последние звуки романса. Этот случай был совершенно новым в моем уединении; я хотела бежать, но вдруг раздаются слова: «Остановись! не беги несчастного! Взгляд твой прольет бальзам в мою душу, усмирит бурю

моего сердца. Скажи, неужели ты принимаешь участие в судьбе изгнанника, что с таким чувством выражаешь песни его? На земли ли я? смертная ли передо мною?.. Но вымолви хоть слово! Не беги, прелестная!» — повторял он.

Этот голос потряс мою душу. Черты незнакомца рождали во мне какое-то воспоминание, но его пламенный взор приводил меня в такое оцепенение, что я не могла дать себе отчета. Я хотела говорить, хотела идти: голос замирал на устах моих, ноги не повиновались. С трудом, едва не лишаясь чувств под влиянием его магического взора, произнесла я наконец: «Кто вы?» — «Кто я?» — сказал незнакомец. — Я не скрываю имя мое. Ты видишь у ног своих — Байрона».*

IV

Il s'arrêta tout court, car il venoit d'exprimer une conviction de son coeur et non de son esprit.

*Victor Hugo*¹

Рассказ утомил Марию. Он вылился прямо из сердца, полного воспоминаний о незабвенном. Долго она молчала и наконец, после глубокого вздоха, решила продолжить:

— Конечно, ты станешь упрекать меня; зачем, при электрическом имени знакомого поэта, я не удалась. Елена, Елена! как мало ты знаешь сердце человеческое, сердце женщины! что такое рассудок, когда вопиет сердце! Не самолюбие мое заговорило в его пользу, не чувства сестры

* Далее в рукописи: («Окончание обещано») — и примечание в сноске: «Редакция "Подснежника" очень жалеет, что не может объявить имени той особы, которая доставила ей эту повесть. Особа эта, как видно, гораздо скромнее Байрона. Но мы полагаем, что читатели узнают ее по слогу и мыслям» (*Подснежник* 1835. Л. 14).

¹ Он остановился, потому что внезапно высказал убеждение сердца, а не разума. *Виктор Гюго (фр.)*.

к брату, нет! я давно его любила — любовью пылкой фантазии. Не его ли голос призывал меня в тиши ночной к берегам моря, когда оно стенало в отдалении от людей? Везде я встречала его поэзию: раскаты грома и мелодические трели соловья говорили мне языком любимого поэта. Я презирала всех мужчин, считая его одного достойным любви моей. Я жила одним мечтанием и не имела самой надежды встретить любимца мечты моей в юдоли смертных. И что же? я увидела его, простирающего ко мне свои взоры, говорящего языком сердца. «Природа, Творец Природы, — говорил он, — свидетели, что ты обворожила меня, прелестная незнакомка! я у ног твоих!».

Более двух недель я каждый день его видела, любила и была любима так, как ни одна женщина в мире... Елена, Елена! пощади меня, не требуй объяснений. Твой сострадательный взгляд уничтожает меня... О! не гляди, не презирай меня; я достойна сожаления, я жестоко наказана им самим, судьбою. Пощади, пощади несчастную!

Елена плакала, видя страдания своего друга и сама страдая с ним вместе.

— Вдруг, — продолжала между тем Мария, — получаю я письмо из Лозанны. Моя воспитательница через несколько часов должна была возвратиться. Это письмо поразило меня. Казалось, я вдруг пробудилась от упоительно-блаженного сна. Совесть моя, могила моей матери, моя добрая наставница, невинные дни моей юности, ты, бесценная Елена!... все это предстало моему воображению, и преступление мое, во всем своем ужасе, явилось глазам моим; все мысли мои слились в один мрачный хаос; пропасть разверзлась предо мною; я закрыла лицо руками и сказала: «Скройся, обожаемое чудовище! будь счастлив, если можешь. Умоляю об одной слезе на моей могиле. Прощай!..»

Друг мой, я пережила эту минуту; я не видала, как он удалился; опомнившись, я нашла только эту цепь и привязанную к ней записочку. Вот здесь, у сердца, я ношу слова гордого любовника. Прочти.

Елена взяла записку и прочла следующее:

«Я люблю тебя как женщину обыкновенную. Ты, как вижу, дорого ценишь любовь свою, и я оставляю тебя, будучи обижен твоею гордостью. Прощай! не проклинай

Б.

Р. S. Не говори обо мне своей наставнице. Этого требуют политические обстоятельства, в которых, ты знаешь, я играю немаловажную роль. Но верь, милая Мария, что воспоминание о тебе будет отныне лучшим эпизодом в моей жизни. Любовь твоя светит душе моей, как солнце небесам».

При чтении этих слов негодование разыгрывалось во взорах Елены. Мария рыдала; кровавые слезы орошали ее ланиты.

— Друг мой! — произнесла она наконец, — горе, горе той женщине, которая его видела, познала сердцем! — О! ее существование кончилось на земли, и ежели ей суждено еще носить земную оболочку, так это для того, чтобы испытать самое жестокое наказание. — Елена! вот тебе моя исповедь. Она так же искренна, как была искренна любовь моя к незабвенному. Но ты молчишь, Елена? Ах, как красноречиво твое молчание! Испытующий взор твой томит мою душу. Я знаю, что ты хочешь спросить; знаю, что тебя более всего удивляет. Да, Елена, я замужем. Почему вышла я замуж — не знаю; обиженное ли самолюбие, минутная ли гордость, может быть, мщение, слезы моей наставницы или видение на могиле матери решили мою участь, — я не берусь объяснить. Мне казалось, что мать моя простирала ко мне умоляющие взоры и, показывая на молодого человека, возле нее стоящего, говорит: «Мария, успокой прах несчастнейшей матери, которая и в могиле оплакивает твое заблуждение. Вот человек, который будет любить тебя. Он спасет твою честь». — И я повиновалась.

Un songe... et puis mourir... voilà notre existence! C'est le but de la vie... il trompe l'espérance!

*Lestrelin*¹

«Мария не существует более, — писала Елена к своей сестре, — ее могила и моя горесть — вот все, что осталось в память моего друга! Несчастлива та женщина, которая полюбила мужчину, ценящего свою гордость выше ее добродетели! Но... ни слова более! Есть Судия выше нас: Ему предоставим судить слабости смертных. Однажды ты справедливо заметила, добрая сестра, что я слишком полагаюсь на свой рас судок, которого я совсем лишилась с потерей единственного моего друга. Нет, Фанни, и у меня таилось некогда чувствительное сердце, но оно превратилось теперь в грубый кусок камня, который давит грудь мою. Душа моя летит к ней. Я так много любила ее на земли, что без нее земля кажется мне безлюдною пустынею, а бренное существование мое кораблем без руля, носящимся по волнам без всякой цели. Поэзия моей жизни была — Мария; с нею я лишилась всего. Не ропщи на меня, добрая сестра! Ты не знала Марии. Одно время может смягчить мои стенания.

Сообщаю тебе последнее признание моего друга, который теперь покоится на ложе сна непробудного, сна ангелов дружбы и любви. О Фанни! страшно подумать, что мы простились навеки. Навеки! чувствуешь ли ты это слово, Фанни? Ах! оно возмущает всю душу мою!»

Письмо Марии к Елене.

«Сердце мое меня обмануло: мы с тобою снова должны были расстаться, и, веришь ли, добрый друг мой, что эта разлука была тяжелее первой? Я вверила тебе тайну моего сердца, страдания души. Ты плакала со мною, великодуш-

¹ Сон... а потом умереть... вот наше существование! В этом смысл жизни... он обманывает надежду! *Лестерлин (фр.)*.

ная Елена! Сладостны были слезы твои для несчастной; но так хотел муж мой — и я выполнила его желание, сказав тебе с твердостью: прости! Елена! можно ли выразить чувства, которые объемлют душу в минуту разлуки с любимой особою? Душа теряется, сердце леденеет, подобно могиле; одно тело остается без страдания и движется, как неодушевленная машина; но душа долго не участвует в его жизни: она не мыслит, не живет. И в этом-то мучительном состоянии я...»

Письмо Марии было не кончено, замечает Елена; Мария занемогла и долго страдала изнеможением души и тела. Наконец религия восторжествовала: бедная Мария начала быть немножко покойнее; но, конечно, есть люди, которые созданы или избраны Провидением для одного страдания в здешней жизни и для вечного блаженства в будущей.

Последнее письмо Марии к Елене.

«Я жива еще. Прошло много дней после нашей разлуки; болезнь ввергла меня в постель: я не могла писать к тебе. Теперь я совершенно здорова и начинаю новую жизнь: живу для него — смерть дает мне право на это. — Вчера, утомившись посещениями добрых соседей, ничтожностью их беседы, я вышла на берег моря. Луна отражалась в зеркале вод; я любовалась красотой блистательной ночи; она была прекрасна, как поэзия вдохновенного поэта. В эту минуту, казалось мне, образ незабвенного парил надо мною. В первый раз, может быть, совесть моя примирялась с небесами; я сближалась с гармониею вечности. Вдруг вижу, всадник, подобно стреле дикого, летит и останавливается предо мною, соскакивает с коня и говорит: “Если это ты, прекрасная Мария, так вот тебе послание. Прими его из рук верного паж Байрона. В третьи сутки, вечером, на этом самом месте, я буду ожидать твоих повелений”. Сказав это, он исчез, прежде нежели я могла отвечать ему. — Елена! он, конечно, не знает, что я принадлежу другому: он не удостоил бы меня воспоминанием. Елена! чрез три дня паж его придет за ответом... Друг мой, я не могу жить долее. Прости! там, на том холме, где я в первый раз его увидела, куда паж

придет за ответом, там я прерву мою жизнь. Хладный мой труп скажет ему более, нежели слова земные. Прощай, друг души моей. Я понимаю горесть твою — благодарю тебя. Не проклинай моего воспитания: я прощаю злополучного друга моей матери».

Послание Байрона к Марии.

«Нет! я не могу начертать, не могу произнести твоего имени. Мне больно его выговаривать, мне будет грешно его объявить. Но посмотри на меня: эти горячие слезы выскажут тебе ясно, какие печальные мысли таятся в молчаливой глубине души моей.

Кратки для нашего благополучия, долги для наших страданий были те часы, о которых воспоминание, горестное и вместе приятное, никогда не изгладится в моем сердце. Мы разорвали соединявшую нас цепь, когда увидели свое преступление; мы расстались с тобою — расстались, чтобы соединиться снова, и еще расстанемся, чтобы опять кинуться друг другу в объятия.

Да обрушится на меня одного вся тяжесть преступления, а тебе — пусть достанется только счастье! Прости меня, бесценная! прости!.. Но, ежели хочешь, беги от меня. Сердце, которое тебе принадлежит, не понесет укоризны в могилу. Ты, одним словом своим, можешь умертвить это бедное сердце; но люди никогда не растерзают его.

Как бы ни были мрачны причины страданий души моей, она всегда останется горделива с надменными и покорна с тобою. Наши дни полетят с прежнею скоростью; удовольствия наши будут по-прежнему сладки. О моя милая! когда я сидел подле тебя, мне казалось, что целый мир у ног наших.

Один вздох твоей скорби, один взор твоей несравненной любви может меня удалить и привлечь, быть моим наказанием и отрадою. Безумная толпа изумится, увидев меня преклоняющего колена; но ты скажешь ей: это сделала я!

Р. S. Мария! одно слово — и я у ног твоих; одно слово! Умей победить свою гордость; стань выше обыкновенной

женщины; не унижай себя раскаянием. Ты любима мною:
я раб твой — здесь и за могилой.

Б.....».

Прошло несколько лет — не стало и доброго друга Марии: неумолимая похитила ее на заре жизни. Вот два отрывка из записок, найденных в ее бумагах.

«Май.

Справедливо думают, что привычка есть замена счастью. Конечно, можно ко всему привыкнуть, даже и к самому страданию. Я привыкла оплакивать Марию, и эта привычка обратилась в потребность души моей. Не знаю, была ли бы я счастлива, если б могла забыть моего друга. Нет! теперь я живу воспоминанием; я люблю эту томную, сладостную боль моего сердца; оно полно... оно преисполнено чувствами; а тогда — оно походило бы на уголок пустой степи, в котором никогда не раздавался голос человека, на мячик, который ничего не чувствует, когда дети безжалостно ударяют его о камень. Лучше страдать и любить свое страдание, нежели обладать холодною душою и ничего не любить. Это состояние ужасно: оно мертвит все предметы в глазах наших.

Ноябрь.

Так, это он! Я его видела. Можно ли было мне ошибиться, не узнать его — убийцу Марии?.. Я видела, как он обнимал крест над прахом моего друга; я видела, как текли слезы его, видела это гордое чело, поникшее над могилой. Он рыдал как дитя, но дитя, потерявшее любимую куклу свою, — не более.

Конечно!... Что была Мария в жизни Байрона? Один прекрасный миг, одна чуть приметная звездочка. Он восхи-

щался этою звездочкой, когда она светила ему, и пожалел о ней, когда черные тучи ее заслонили.

Жить и любить есть предназначение женщины. Любовь — ее жизнь. Отнимите у нее любовь — она не может жить. Мария жила, пока любила; Марии не стало, когда она должна была отказаться от любви, не смея признать ее пред лицом Бога и вселенной».

ИЗ ЛИРИКИ
И ПРОЗАИЧЕСКИХ ОТРЫВКОВ
(1835—1839)

ВОПЛЬ НЕСЧАСТЛИВЦА

Из пределов тесных мира
Дух мой рвется к небесам,
Стонет воплем моя лира,
Слезы льются по струнам.

Закатился месяц ясный,
Звезды тучей занесло, —
Где же тень моей прекрасной?
Все исчело, все прошло!

Миг один цвела в долине
И — как ландыш полевой,
Подкошенный на равнине, —
Отнята была судьбой.

Где ж любовь, где ожидания?
Все на свете мне обман!
Нет нигде мне упования:
Хаос вечный здесь и там!

Разгромите, разнесите,
Тучи, бурею меня;
Только милой донесите,
Что терплю в разлуке я.

Из пределов тесных мира
Дух мой рвется к небесам,

Стонет воплем моя лира,
Слезы льются по струнам!

1835

РАЗОЧАРОВАНИЕ

Тебе, мечта! и грусть моя и слезы;
Тебе последний стон моей души!
Я отжила; не устилали розы
Мой путь; жила как будто бы в глуши.
Я свет всегда пустынею считал.
Ничтожна я иль беден пышный свет —
Но равнодушно я в толпе блуждала,
Безжизненно жила так много лет.
А годы все еще идут, и время
Морщины быстро режет на челе!
Где ж счастье? где бытие не бремя?
Не уж ли нет блаженства на земле?
Увы! настал конец всем ожиданиям;
Для искушенья посланы на свет,
Они нам льстят одним пустым мечтаньем:
Я верила — но веры больше нет.
Теперь томлюсь у жизни на пороге,
Надежд разбился пенистый бокал!
Усталый путник ждет одной дороги,
Дороги в мир, к Началу всех начал!

1835

ABI! NULL' ALTRO CHE PIANTO AL MONDO DURA

Видали ль вы, в долине одинокой,
Дитя весны, растет цветок?
Он поцветет, но вдруг волной жестокой
Его умчит с собой поток.

Видали ль вы звезду на тверди ясной?
Как бриллиант она горит,
Но долго ль блеск ея мы зрим прекрасной —
Вдруг туча горизонт затмит.

Видали ль, на скале сыпучей
Сосна зеленая висит?
Вдруг пронесется вихрь могучий —
В пучину дерево летит.
Видали ль, мотылек порою
Играет весело с огнем? —
Не так назначено судьбою! —
Он станет жертвою потом.

И все, что дышит под луною,
Исчезнет, также пропадет:
Одна душа своей красою
Для жизни новой расцветет.

1836

ТЕРПЕНИЕ

Терпение есть одна из тех добродетелей, которые по большей части уклоняются от внимания людей как достоинство скромности. Терпение! кто первый указал на тебя? Кто доказал, что посредством святого терпения преодолевают все муки ада? кто тот великий из мучеников, не сам ли спаситель рода человеческого? Конечно, люди не могут уподобиться Великому силою души; но для чего же, по мере сил своих, не подражать Тому, Кто шел премудрою стезею к истине и достиг ее венцом страдальческого терпения? «Скучно, несносно терпение!» — скажут мне. — «стыдно, бесчестно быть малодушным и роптать», — возражу я. Зачем же Господь Бог и отличил нас от прочих животных, как не для того, чтобы мы могли, отличая хорошее от дурного, прилепляться к первому; чтобы мы с терпением внимали гласу нашей совести, которая есть не что иное, как отголо-

сок Божества, невидимо управляющего нами? Иногда сила господствующей воли или ошибочное направление разума заглушают в нас искру святого, божественного чувства; но это, конечно, оттого, что человек не довольно вооружен терпением, без которого нельзя иметь власти над собою.

Все говорит нам, самое сердце убеждает, что терпение есть прекраснейшая добродетель, что она ведет часто к достижению нашей цели. Будем примерами доказывать эту истину:

Посмотрите на двух бедняков, умоляющих вас о сострадании; взгляните в выражение их физиономий. Тихая покорность, безропотное спокойствие души напечатлены на лице первого; гордость, досаду выражают нетерпеливые взоры второго. Кому из них назначите вы монету, которую найдете в своем кошельке? Конечно, первому. — Теперь посмотрите на этих несчастных женщин, которых вы встречаете толпящихся у дверей богоугодных заведений. Кому благодетельный начальник скорее подаст руку помощи? Конечно, той смиренной старушке, которой богобоязненный вид и голос выражают терпение и доверенность к Промыслу. — Горе тому, ко вступает на поприще жизни, не вооружась силою терпения. О, если б он мог предвидеть все обстоятельства, все случаи, где терпение будет ему так полезно! Верно, он добровольно отказался бы от познания многих премудрых наук, для того чтоб изучить тверже науку терпения. —

Женщины! вы, которых гордые мужчины не считают, может быть, в числе людей; — женщины! к вам исключительно обращаюсь я. Вооружайтесь с юных лет ваших щитом терпения: оно для вас столько необходимо; как воздух, которым вы дышите. Это оружие предохранит от многого зла. Иногда спокойствие, счастье целого семейства зависит от терпения одной женщины. Не вам ли предназначено воспитание детей ваших? не вы ли управляете порядком дома вашего? не вы ли обременены тысячью мелочных, ни-

чтожных обязанностей, которые, без терпения с вашей стороны, отравят все дни вашей жизни?.. Женщины! оставьте слезы, ропот: это принадлежность ребенка, лепет младенца. Будьте достойны вашего предназначения; переносите терпеливо все испытания, посланные вам свыше. Утешайте себя мыслию, что вы любимы Творцом Всемогущим: он, испытывая вас, доказывает любовь свою. Не он ли ниспослал вам терпение — достояние добродетели? «Но где найти его? где кроется эта небесная добродетель», — спросят меня, может быть, некоторые из малодушных? — Где! взгляните на голубое небо, взойдите на холм, окиньте взглядом божественную природу, углубитесь в таинство премудрого Создателя и спросите себя: «Есть ли Бог»? Когда в сердце вашем отзовется религиозное «да», то молитесь, просите того Бога, жизнь которого вы видите в каждой былинке, ощущаете собственным сердцем; просите Его, да ниспошлет вам терпение, без которого не может существовать счастье земное, потому что без религиозного терпения нет ничему опоры, нет основания и самой высокой добродетели.

1836

* * *

Когда с надеждой легкокрылой
Придет пора проститься нам,
И бури свист, и гул унылой
Предел напомним тем мечтам —
Мечтам, что юность веселили,
Питали душу столько лет,
Блаженство райское сулили,
Любовь прекрасную, как свет:
Тогда исчезнет чарованье,
Сольется жизнь и смерть в одно;
Тогда нам жизнь — души страданье,
Душа — разбитое стекло.

1836

ПТИЧКА

Птичка, птичка, ты свободна;
Ты живешь, как Царь, в полях,
Ты порхаешь так привольно:
Мы невольники в цепях.

Птичка, птичка, дай мне крылья!
Полечу я к небесам;
Свод небесный, как мантилья,
Будет кров моим плечам.

Птичка, птичка, там блаженство,
Звезды, солнце и луна,
Красота и совершенство,
Кроткий мир и тишина.

Птичка, птичка, как мне скучно!
Как завиден жребий твой!
Я тоскую; мне здесь душно;
Слез молю... нет ни одной!

Птичка, птичка, облегчают
Слезы жителей земных,
Если только упадают
В сердце добрых и не злых.

Птичка, птичка, добрых мало,
Счастье редко, нет друзей...
Все, что юность обещала,
Все поблекло меж людей.

Птичка, птичка, спой мне радость,
Облегчи печаль мою:
Я твоих напевов сладость
С моим голосом солью.

Птичка, птичка. Бог с тобою!
Ты не хочешь мне пропеть,

Ты, довольная судьбою,
Хочешь к небу улететь.

Птичка, птичка, я не смею
Ни сердиться, ни роптать:
Улетай, я не жалею
Утешенье потерять.

Птичка, птичка, все пустое,
Что ни тешит в свете нас;
Все измена, что земное;
Верен только смерти час.

1836

ТАЙНА

Есть дни, когда я счастьем горжуся;
Как беззаботное дитя,
Пою, шалю, дурачусь и смеюсь,
И трачу жизнь мою шутя.

Есть дни, печаль по сердцу разольется,
Померкнет свет, конец мечтам,
Душа болит, душа грустит и рвется,
Не доверяя небесам.

Есть дни опять — счастливое созданье —
Как ласточка, беспечна я;
Смешон мне мир, и я его стенанья
Гоню далеко от себя.

Есть дни, людей и света убегая,
Брожу, как путник в темноте;
Огонь и лед в душе моей вмещаю,
Стремлюсь к неведомой мечте.

Когда ж придет тот день, всем дням корона,
Который тайну разрешит,

Зачем порой и сам властитель трона
Среди всех благ мирских грустит?

1836

НА МОРЕ

Море, море! воспоминанья
Ты оставило в душе:
Волн прозрачных колебанья
Накликали думы мне.
Думы, думы золотые,
Вы счастливили меня,
Вы напомнили былые
Дни утекшие шутя!
Вот и пристань величава —
Память русского Царя!
Флот России, ее слава
Манит взор мой, как заря.
Сколько мыслей, вдохновенья
Поселяет Царь Царей!
Петр Великий — исключенье
Был из избранных людей.
Царь могучею душою,
Словом — царство созидал,
И — подобной нам стезею
Русских царство покидал.
Вот что мысль мою волнует:
Разве люди все равны?
Все умрут — а кто же будет
Награжден за все труды?
Море, море, ты не знаешь;
Ты о вечности молчишь;
Где наш Царь, зачем скрываешь,
Иль бессмертен — говоришь?
Да... волнение и тревога,
Что я вижу среди волн,

Отвечают вместо Бога:
«Царь на небо унесен».
Море, море, я спокойна;
Я не верю в прах земной,
Верю в вечность и довольна:
Там найду душе покой.
Там отрада думам скорбным;
Там узнаем мы людей;
Сердцем новым, сердцем полным
Мы избегнем их сетей!
Море, море, вспоминанья
Ты оставило в душе...
Волн прозрачных колебанья
Накликали думы мне.

1836

ВИДЕНИЕ

Прочь земное! ты не прельстишь меня
Своей обманчивой красою:
Дышу я жизнью другою
И пламенем горю — не для тебя!
Прочь обольщенье! мне милее
Мой сон ничтожной жизни вашей
И все, что вы зовете сферой нашей,
Уже не для меня. — Яснее
Теперь я вижу все: взошла луна,
Ко сну склонились мои вежды,
И вдруг я. полная надежды,
Увидела... Божественна она!
Все в ней не жизнь, а все прекрасней,
Что видела я здесь дотоле,
В ней есть душа — она на воле...

То дочь фантазии была... к себе
Заветная! с улыбкою манила,

За жизнь мне рай небес сулила...
Прочь земное: раба я — не тебе.

1836

ВЕСЕННЯЯ МЫСЛЬ

Уж птицы поют и зефиры порхают,
Земля веселится возвратом весны;
Но светлый эфир мне тоску предвещает
И гонит надежды приятные сны.
Когда бы с весною и мы оживали
От временной смерти — и новой душой
Под солнцем весенним опять расцветали,
Как роза, роскошной и юной красой!
Когда бы в осеннее мрачное море
Нам сбрасывать тяжких недугов печать,
Зимою — с слезами выплакивать горе
И жизни от лета иной ожидать!
Но мы все дряхлеем! Весна улетает,
И солнышко теплое нас не живит;
В природе приволье, а сердце страдает,
И лето со счастьем нас не дружит!

Уж птицы поют и зефиры порхают,
Но в душу теснится унылая весть,
Что резвый зефир мне тоску навевает,
Как будто бы хочет куда-то унесть.

1837, апрель

ОБМАНЧИВОСТЬ

Душа доверчива весною;
За светлой гонится мечтой;
Но ранней, утренней порою
Уже встречается с тоской.

Взгляните: звездочки блистают
И вдруг померкли в облаках;
Зефиры розу лобызают:
Она увяла — пыль и прах!
Не то, что ароматом дышит,
Богов амброзию сулит;
Не то, что блеском злата пышет, —
Не то нам счастье дарит.
К чему ж обманываться вечно,
Всего от жизни ожидать,
Всегда быть мотыльком сердечным?
Чтоб ту же участь испытать:
Чтобы в огне страстей мятежных
Сгореть и пеплом после быть,
Излить ручьи потоков слезных
И Стикс внезапно переплыть...

Так это жребий наш: весною
Всех благ от жизни ожидать,
Любить всей пламенной душою
И вечно счастья не знать!

1838

КОГДА МЫ ЛЮБИМ ЖИЗНЬ

Мы любим жизнь, когда бежит она
Веселую тропинкой перед нами
И счастья прекрасная страна
Вдали блестит приветными лучами.

Мы любим жизнь, когда невинность нам
Мир золотит и душу согревает,
Когда сам Бог нас ожидает *там*,
А *здесь* Его десница охраняет.

Мы любим жизнь, когда закон святой
Избытком счастья в сердце не изглажен,

Когда любви, доверия слезой
Наш трудный путь на небеса увлажен.

Но жизнь скучна, когда ее цветы
В толпе людей поблекли безвозвратно,
Когда ее заветные мечты
Рассеялись перед судьбой превратной.

Но жизнь мрачна, когда нам совесть — враг,
Когда она — нам судия нещадной,
Преследует наш каждый взор и шаг
И нашу грудь рукою давит холодной.

Но жизнь страшна, когда молить Творца —
Преступные, мы боле не дерзаем,
Со страхом ждем последнего конца,
На светлый мир душе — не уповаем.

1838

ЧТО ДЛЯ МЕНЯ СВЕТ?

Пустыня людная, где я с толпой блуждаю,
Но где душе моей приюта нет;
Где вижу то, чего я убегаю,
Ищу — чего не даст мне свет.

1838

ЧЕЛОВЕК И СУДЬБА

Ужели мы судьбы своей достойны?..
Но если так — зачем же нам даны
Высокий ум, понятие прямое,
Чувствительность и сила отличать
Добро от зла, несчастье от счастья?
Когда нам суждено страдать — зачем

Мы созданы? — Не уж ли для того,
Чтоб целый век не знать ни в чем отрады,
Чтоб все страдать, страдать — и наконец
Угаснуть от изнеможенья? —
Кто здесь счастлив? Глупец богатый,
Лукавый эгоист, всеильный деспот.
А чуть душа в ком мало не черства —
Уж счастья нет! Она страдает,
Ее грызет, как ржавчина, судьба!
О, страшно думать, как несправедливо
Разделено благое на земли!..
Но — пусть идет все чередой своею!
Роптанье низко. Пусть тяжелой цепью
Условий и преград к блаженству
Судьба нас тяготит. Душа
Высокая достойно соблюдает
Всегда, везде величие свое
И под тяжелыми цепями рока
Страданием возвышенным живет!

1838

СОВЕТ

Зачем с разочарованной душою
И с горестным уроком прежних лет
Безжизненно-увядшею красою
Являешься ты снова в шумный свет?
Чего искать? Какого утешенья
Там сердцу ожидаешь ты,
Где нет другого наслажденья,
Как только блеск и суеты?

Поймут ли грусть души увядшей,
Слезу страдальческих ночей
И этот взор, в тоске погасший,
Как день без солнечных лучей?

Нет, нет! живи без упования,
Без поэтической мечты;

Забудь игривые желанья
И юной радости цветы.
Смирись пред грозною судьбою
И молча жди — ударит час:
Гостей минутных под луною,
Смерть скоро, может быть, к покою
Отсюда призовет всех нас!

1838

ПОЭТ

Не тот поэт, кто в жизни только счастье
Вкушал, не ведая душевного ненастья,
И кто поэт не для себя.

Не тот поэт, кто в шумном вихре света
Скользил меж дам по зеркалу паркета,
Срывая с струн блестящий звон,

Кто чувствами, и лирой, и душою
Делиться рад с бессмысленной толпою
И песни ей свои дарит.

Нет! мой поэт не знает обольщенья
Мирских забав: он друг уединенья,
Он жизнью иной живет.

Он не бежит за ветреною славой,
Страстей земных пред суетной державой
Не клонит головы своей;

Жрец истины, дитя природы дикой,
Он только им в своей душе великой
Нерукотворный зиждет храм;

СОВѢТЪ

Зачѣмъ съ разогариванной душою
И съ горестивыми угаками прежнихъ летъ,
Безжизненно-увлдишю краю
Авляеишся ты снова въ изрѣвнѣй свѣтъ?
Его искать? какого утѣшенья

Тално сердцу ожидаишъ ты,
Тотъ нѣтъ другаго наслажденья,
Какъ только блескъ и суеты?

Стихотворение Евг. Майковой «Совет»

Беседуя с небесными громами,
Паря умом над миром и веками,
Он тверд, как Божий произвол.

Вот мой поэт! — Но здесь, в юдоли брэнной,
Не существует он, сей идеал священный:
Увы! ему здесь места нет.

В обители эфира, меж звездами,
Осыпанный превечными лучами,
Он светлую звездой горит.

1839

МЫСЛИ

I.

Есть люди, которые завидуют богатству; есть люди, которые с завистью смотрят на почести; знаю людей, которые не могут равнодушно видеть могущества владык земных. А я — я завидую только одной нечувствительности людей. Мне кажется, одна бесчувственность может сблизить нас с людьми: не замечая их недостатков, мы видим в них себя; а кто не любит смотреть в зеркало или даже в тусклый источник ручья?

II.

Доверчивость, которая не влечет за собою раскаяния, — лучшее доказательство уважения к человеку, которому мы доверяем.

III.

Мысли, давно погребенные в душе, не обращаются в прах: иногда благодетельная рука сострадания или дружбы обрывает дикую крапиву, которая поросла на их могиле, — и они возвращаются к новой жизни.



МЫСЛИ

I

Есть люди, которые завидуютъ богатству; есть люди, которые съ завистью смотрятъ на погосты; есть люди, которые не могутъ равнодушно видѣть несправедлива владыка земныхъ. А я — я завидую только одной нечувствительности людей. Мне кажется, одна безчувственность можетъ соединить насъ съ людьми: не замечая ихъ недостатковъ, мы видимъ въ нихъ себя; а кто не любитъ смотреть въ зеркало, или даже и въ тусклѣйшій источникъ ручья?

II

Довѣрчивость, которая не вѣщаетъ за себя раскаянія, — лучшее доказательство уваженія къ человеку, которому мы доверяемъ.

III

Мысли, давно поселившіяся въ души, не обращаются въ прахъ: иногда благотворная рука сообра-

IV.

Счастье делить мысли с человеком, который нас истинно любит и понимает, так велико, что в минуты свидания, кажется, лишаешься способности говорить; обыкновенные слова замирают на устах: ищешь других в сердце; но сердце не говорливо: оно часто выражает себя одним молчанием.

V.

Страсти — это машины, которые приводят в движение сердце человека с первой минуты жизни. Иногда повреждаются эти машины, и тогда горе бессильному работнику — рассудку! ему не совладеть с ними, и он очень счастлив, ежели дружба подаст ему руку помощи, а любовь не посмеет вмешаться, чтобы не опрокинуть в огненную лаву сосуд любви нашей.

VI.

Первая любовь похожа на прекрасное дитя, гонящееся за легкокрылой бабочкою. Когда оно поймает ее, то от всей души радуется; но эта радость мимолетна: ощипав крылышки, дитя бросает пойманную бабочку и бежит за другою. Напротив того, любовь зрелых лет не гоняется за прельщающим призраком, но этот призрак сам преследует ее до тех пор, пока бедное сердце не изберет его своим постоянным пенатом.

VII.

Снисходительность в дружбе есть признак прекрасной, благородной души; снисходительность в любви доказывает ограниченную привязанность одного предмета к другому.

VIII.

Часто смерть была бы приятнее жизни, если бы жители того мира могли передавать мысли и чувства свои жителям здешнего.

IX.

Мы ищем целый век спокойствия и боимся смерти. Как же это согласовать? разве есть что-нибудь покойнее могилы?

Х.

Вопрос. Кому нужно менее всех места на земле? *Ответ.* Тому, кто желает умереть. *Вопрос.* А кто может желать смерти? *Ответ.* Тот, кто не ожидает ничего от земного своего поприща.

ХІ.

Что земное в сравнении с небесным? Капля воды, которая блестит только тогда, когда солнце на нее смотрит. Этот взор есть любовь Божия: она согревает нас. Горе нам, если солнце закатится! с ним угаснет и любовь Вседержителя; а что земля без этой животворной любви? Печальное и мрачное заточение.

ХІІ.

Я никогда не говорила бы «здравствуй», если бы умела сказать «прости» так, как сказал его Бенедиктов в своем вдохновенном стихотворении «Прости». — Читайте, читайте эти удивительные стихи: они прольют бальсам утешения в душу каждого, кто может чувствовать и понимать высокое, кто имеет нужду в утешении, кто потерял милое, кто сказал из глубины души последнее земное «прости».

1838

ИЗ РАННЕЙ ФЕЛЬЕТОННОЙ ПРОЗЫ

Ан. МАЙКОВА

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛУНУ

Чего нет на свете? чего человек не выдумал? Узнавши Землю, как свою ладонь, недовольный владычеством над стихиями, он вздумал покорить планеты, побывать на Солнце. Признаюсь, во всю жизнь мою не видал ничего подобного человеку. Кому, кроме его, придет в голову измерить океан, плавать по воздуху, завести города, делать паровые машины или целую жизнь корпеть над решением какой-нибудь метафизической задачи?

Есть у меня приятель Александр Васильич. Мы с ним вместе выросли. Он из детства отличался изобретательностью и смелостью ума, пылким нравом и необыкновенным прилежанием к естественным наукам, особенно к физике и механике. Вследствие этого дедушка мой часто говорил, что из Сашеньки выйдет со временем великий философ. Дедушка был человек умный; он никогда не ошибался. Александр Васильич, достигши совершенных лет, тщетно искал пищи своему уму в преследовании и анализировании всех видимых, близких предметов: он вздумал построить воздушный шар и пуститься на нем на Луну. Бывало, голова у меня закружится, как он начнет фантазировать о своем путешествии — о том, как поднимется он над землею, как залетит за облака, как причалит к Луне, как увидит новый свет, новые растения, новых зверей и людей, новую литературу, новые искусства. Впрочем, Александр Васильичу

казалось, что лунцы должны быть очень глупы и что он сделается у них королем.

Прошлого года летом я был на одном званом вечере. Танцевали, играли в карты; было вообще довольно... скучно; однако протянули до четырех часов за полночь. На другой день у меня страшно болела голова. Пришедши от должности, я кинулся на постелю с твердым намерением выспаться как нельзя лучше; но лишь только сон начал опускаться на мои вежды, как вдруг входит Александр Васильич.

Он объявил мне с восторгом, что ему наконец удалось сделать чудесный аэростат, и без дальних околичностей предложил отправиться вместе с ним в гости к Луне. Я долго отговаривался от этого дерзкого визита, потому что природа одарила меня нравом тихим, незаносчивым, статским; но Александр Васильич, своим очаровательным красноречием, умел склонить меня дать ему честное слово; а надо заметить, что я — черт на подобные вещи: если дам кому-нибудь обещание, то меня уже ничто в свете не заставит отказать от исполнения. — Мы сговорились о малейших подробностях поездки, взяли у начальства отпуски на другой день, рано утром, я приехал на извозчике в гавань воздухоплавания, на Крестовский остров, в чухонскую деревню, где бывает так весело по воскресеньям, в атмосфере, напитанной благовонным дымом сигарок и сладкими звуками немецкого языка.

Не помню, как мы поднимались, не помню, много ли было зрителей: эти обстоятельства совершенно ускользнули от моей памяти, потому что я в то время, по причине своего статского нрава, находился, так сказать, в обмороке. Помню только, что когда я очнулся, мой новый Монгольфьер, сидя напротив меня в лодочке, привешенной к шару, с самодовольною улыбкою посматривал вокруг себя и очень прилежно убирал прекрасную часть телятины, запивая ее лафитом. Это ободрило мою душу: я перекрестился и пошел вослед за Александром Васильичем.

Через несколько часов благополучного плавания в отдаленнейших пределах эфира мы наконец стали подходить

к Луне. Тогда была ночь, и Луна бросала от себя длинные, острые лучи. Не поверите, какой опасности подвергаются путешественники, приближаясь к Луне в эту пору. Легче пройти без лоцмана между Стокгольмскими шкерами, чем не наткнуться на какой-нибудь гибельный лунный луч. Александр Васильич употребил все свое искусство, чтобы достигнуть благополучно лунной поверхности, но — увы! какой мудрец на своем веку не подвергался ошибкам! — Нам следовало взять выше и привести себя в такое положение, чтобы Луна находилась прямо под нами. Тогда если бы и случилось несчастье, что наш шар наткнулся бы на один из лучей и мы полетели бы вниз, по крайней мере, мы имели бы удовольствие упасть на Луну. Вместо того Александр Васильич решился подойти к Луне между ее лучами в диагональном направлении. Шар наткнулся на острый луч, воздух из шара вылетел, и бедный Александр Васильич упал стремглав назад на Землю. Со мною непременно последовало бы точно такое же бедствие, если бы я не успел ухватиться за один луч руками и ногами. И тут еще гибель была у меня на носу, потому что луч скользил подо мною и я уже начинал съезжать по нем вниз. Но, к счастью, набежало довольно густое облако. Запутавшись в лунных лучах, оно приостановилось в своем полете и удержало меня от падения. Я имел время собраться с духом; обнял луч что есть силы, сел на него верхом и начал так быстро карабкаться, что в несколько минут достиг матерой Луны.

Иду сам не знаю куда; иду все дальше, дальше. Наконец приближаюсь к одному домику; вокруг него садик. Я постучался в двери; хорошенькая девочка отворила их; спрашиваю хозяина; он вышел.

— Что Вам угодно, милостивый государь?

— Ежели у Вас на Луне есть гостеприимство, то позвольте мне укрыться здесь на время.

— Можно ли сомневаться в гостеприимстве лунца?

— Извините, я чужестранец; только сию минуту приехал с Земли.

— С Земли? это другое дело. Знайте, милостивый государь, что мы, лунцы, охотно принимаем у себя всякого

встречного и поперечного. Может статься, это не комплимент, когда сказано иностранцу, но таков наш обычай. Во всяком случае (он взял меня за руку), душевно радуюсь Вашему посещению.

— Покорнейше благодарю. Мне совестно войти к Вам в таком странном наряде.

— А что такое?

— Разве Вы не замечаете, что мое платье все в лохмотьях. Я имел несчастье чуть не упасть опять на Землю и, карабкаясь по лучу, видите, как изорвался. Вероятно, у Вас есть дамы.

— Ха, ха, ха! Не беспокойтесь. Дамы не найдут в Вас ничего чрезвычайного. По всему заметно, что Вы земной житель. Оставьте эти пустые сомнения, войдите.

— Если уж Вам так угодно.

Мы вошли в прекрасные комнаты; хозяин посадил меня на диван и велел подать «самолюбия». Я остолбенел.

— Вы, конечно, удивляетесь моему приказу? — сказал он.

— Признаюсь, милостивый государь, я этого не понимаю.

— А нет ничего проще. Самолюбие — это род вашего табаку. У нас люди, знакомые или незнакомые между собою, сойдясь вместе, всегда курят самолюбие и таким образом беседуют очень приятно. Случается также, что какой-нибудь добрый лунец остается один. Что ему делать от скуки? Курит самолюбие и — доволен.

В это время животное, род собаки, вошло в комнату и подало нам по трубке. Я взял, затянулся и нашел, что дым самолюбия чрезвычайно усладителен. Наш табак и на подметки не годится.

— Нооно! — сказал мой хозяин, обращаясь к животному, — принеси нам по стакану веселости. Вам, без сомнения, чудно видеть этого слугу, — прибавил он, заводя речь опять со мною, — но скажите сами, господин земной житель, можно ли положиться на верность слуги человека? Люди, служа один другому, всегда подвергаются искушениям зависти, оскорбленной гордости и других человеческих страстей: следовательно, никогда не могут быть верны. Напротив того, животное, принадлежа к породе совершенно отличной, не имеющей ничего общего с породою челове-

ской, не встречает в жизни своей никакого повода к измене и служит верно, если человек его кормит.

Нооно принес два стакана какой-то искристой влаги. Мы ее выпили. Я почувствовал необыкновенное удовольствие на душе; хозяин мой также сделался гораздо веселее. Покуривая самолюбие, мы продолжали разговаривать между собою и я, признаюсь, не раз отпускал кой-какое красное словцо, чтобы представить лунцу в заманчивом виде нашу Землю.

— Что ваша Земля перед Луною? — говорил он, затягиваясь самолюбием, — у вас все подчинено какой-то таинственной власти, которую называют иные судьбою, иные умом и которая производит то, что обитатели Земли не все равно счастливы. Напротив того, у нас благосостояние разделилось между людьми в совершенно равной степени от чрезвычайно высокого просвещения: судьбы мы не знаем, а ум у нас выделяется просто на фабриках, подобно другим жизненным потребностям, как то — добродетелям, самолюбию, которое Вы курите, и веселости, которую Вы сейчас кушали.

— Это для меня непонятно.

— Не мудрено: Вы «земляк». Я, однако, постараюсь объяснить, сколько можно. Ум, изволите видеть, есть вещь, как и все другое, потому что он составляется из наблюдений, понятий и рассуждений, рождающихся в мозгу, а мозг, уж разумеется, есть материя, а не дух, как Вы и сами, верно, согласитесь.

— Очень хорошо-с.

— Ну, теперь слушайте: наблюдения, понятия, рассуждения — все это смешивается вместе, перегоняется на солнечном свете и потом, с помощью разных других процессов, превращается в ум. Для этого устроены, как я имел честь сказать, особые фабрики.

— Удивительно!

— Эти фабрики, однако, производят ум в сыром виде, брутто. Для употребления в жизни он переделывается в различные формы. С простых умственных фабрик его везут огромными партиями на другие заведения и там дают ему совсем новый вид: он является или в виде мыслей, что

в сущности есть не что иное, как «крошенный ум»; или в виде ума «толченого», что у вас называется философией; или в виде «тертого», что у вас математика; «просеянного», что у вас *bel esprit*, и так далее. География, естественная история и другие науки, требующие особенно памяти, суть также маленькие кусочки ума, нанизанные на мочалки, в виде баранок. Их носят по улицам.

— Но скажите пожалуйста, ведь все эти роды ума только материалы, и, чтобы употреблять их с пользою, конечно, надо еще раз переделать.

— Без сомнения. На это есть фабрикация книг. Мелочные умственные промышленники, по-вашему «сочинители», закупают на рынке известное количество мыслей или ума и составляют книги. Если книга составлена из «мыслей» в собственном значении, то есть из кусочков ума всякого рода, эта книга литературная; если она составлена из мыслей, нарубленных из ума философского, это книга философическая, и так далее, смотря по роду ума. Это очень просто. Что касается до словесности, то есть до книг изящных, то они состояются из отборных мыслей, которые выбираются преимущественно из ума просеянного, а также из других сортов, но меньше. Проза делается посредством подбирания мыслей в порядке — так, чтобы большие были с большими, маленькие с маленькими, или каким-нибудь другим образом, по узору. Поэзия составляется посредством укладывания мыслей по их фигуре: стараются, чтобы мысли приходились одна к другой и чтобы на концах строчек были тупые или острые, для составления того, что вы называете рифмою.

— Следовательно, у вас нет ничего легче, как быть хорошим поэтом или прозаиком.

— Разумеется. Но дело в том, что вы, жители Земли, совершенно посадили нас на мель в этом случае.

— Как это?

— А вот как. Есть у вас какой-то Жуковский. Летая воображением по вышним пределам небесного мира, он успел завести связи с нашими богатейшими фабрикантами поэтического ума, и эти злодеи отдают ему все свои лучшие мысли в этом роде, оставляя нам одни оборыши. Вот при-

чина, по которой Жуковский так часто обращается к Луне в своих сочинениях. Он сам сознается в одном стихотворении, что ни о чем не писал так много, как о нашей планете. А отчего? Просто из благодарности.

— Вообразите? я совсем не знал этого.

— Но это еще не все. С недавнего времени у вас завелся еще какой-то барон Бран... Баран... Бер... Бур... черт его знает? Это адское чудовище, с помощью подвластных ему злых духов (между нами сказать, мы на Луне все признаем его за главного сатану остроумия), похищает весь наш годовой запас просеянного ума, берет все лучшее из нашего ума философского, отнимает кучу ума других родов и оставляет нас ни при чем.

— Ах, Боже мой!

— Посудите же о нашем положении! Уж добро бы они брали сор, дрянь, а то нет! берут самое лучшее. Надо Вам сказать, что при сортировке мыслей у нас много бракуют. Мысли забракованные обыкновенно сметаются в кучи, сваливаются в помойные ямы и потом выбрасываются с другими нечистотами на Землю. Этими мыслями живился, бывало, лорд Байрон, и как они все-таки лучше мыслей, выделанных у вас на Земле, то сочинения Байрона и были лучше многих земных сочинений. Теперь во Франции вся изящная словесность живет этой грязью: Гюго, Альфред де Виньи, Дюмас и некоторые другие пользуются настоящими лунными мыслями; прочие переколачивают поддельными.

— Признаюсь, милостивый государь, Вы меня приводите час от часу в большее изумление.

— Не мудрено: для Вас это новость. Но когда поживете с нами подольше, то Вам все покажется очень естественным. Ум — безделка; мы торгуем не только умом, но даже дружбою и любовью. Пошлите в мелочную лавочку: за две учтивости Вам отпустят целый фунт дружбы, а за три Вы получите бутылку любви.

— Как за учтивости?

— Да. Учтивость — наша ходячая мелкая монета, наши деньги.

— Но как же любовь, дружба, эти священные чувства, эти возвышенные страсти души человеческой...

— Ха, ха, ха! перестаньте! ради Бога, перестаньте! Вы меня уморите со смеху. — Впрочем, Вы правы, любовь и дружба точно имеют особенное таинственное начало, как у вас золото, которого вы знаете составные части, но не можете сделать сами. И любовь с дружбою — вещества ископаемые. Я вам расскажу их историю: когда Земля была только что создана, на ней обитали непорочные люди, которые не знали никакой другой пищи, кроме любви и дружбы. Они ели дружбу и пили любовь. Но впоследствии род человеческий развратился, и дружба с любовью перестали существовать на земной поверхности. Зевес поместил их в центр Луны, чтобы сберечь для нового, лучшего поколения. Теперь некоторые наши сопки извергают по временам эти два вещества — дружбу в виде камней, а любовь в виде лавы. Промышленники собирают их и продают по мелочи кому нужно. За фунт самой прочной дружбы, которого хватит на целые сутки, берут две учтивости. Любовь немножко дороже: бутылочка горячей любви, которая не остынет в продолжение двадцати четырех часов, продается по три учтивости. Впрочем, любовь бывает разного рода, и, что удивительно, та, которая горячее, не всегда бывает самая крепкая; напротив, мы приняли общим правилом, что горячая любовь скорей остывает; хорошая, добротная любовь бывает обыкновенно ни слишком горяча, ни слишком холодна, а, так сказать, впрохолодь: эта выдерживает гораздо дольше.

— Я в совершенном остоленении.

— То ли еще узнаете у нас на Луне! Возьмем, например, женщин. Отчего они у вас по большей части так некрасивы, так вялы, холодны, бездушны? Оттого, почтеннейший, что они у вас просто сырое произведение, существа без всякой искусственной обработки. Не говорите мне о вашем воспитании! Научить женщину лепетать на нескольких языках, танцевать, петь, играть на каком-нибудь инструменте — разве это воспитание? Это карриатура.

— Но помилуйте, сударь! — сказал я горячо, — *quel diable de l'education voudriez-vous encore?** У нас женщины милы

* какого черта вы хотите от образования? (*фр.*)

как нельзя более, умны, как книги, добродетельны, как ангелы.

— И скучны, как наш тертый ум. — Нет, любезный земляк, позвольте Вам сказать, что Вы ровно ничего не смыслите в женщинах. Таково ли должно быть это чудесное создание Бога, ниспосланное нам для украшения нашей временной жизни и для вселения в нас понятия о вечном блаженстве? Посмотрите-ко на наших женщин: вот это другое дело! Мы изобрели способы совершенствовать их искусственным образом. Для этого у нас есть особые фабрики, которые у вас называются пансионатами, институтами. Женщина, лишь только родится, тотчас поступает на одну из подобных фабрик. Там, до семилетнего возраста, кормят ее соком цветов и росой; на восьмом году начинают давать ей приемы умственной пищи, например, всякий день по одной баранке географии, по маленькому кусочку истории, нравственности и проч. Между тем сажают ее в ванну из утренней зари и морской пены; на ночь складывают всех вместе на пурпуровых вечерних облаках и пересыпают просеянным умом и фантазиею; язык всякой день мажут решением задачи о непрерывном движении. Когда женщине минет пятнадцать лет, заключают ее в золотой сосуд и, крепко закупорив, ставят на огонь, чтобы она хорошенько раскалилась; потом вынимают, обливают любовью, дают скушать полфунта дружбы — и она готова. Уверяю Вас, что эти женщины выходят несравненно лучше ваших, а чтобы Вы не имели никакого повода сомневаться, то я сейчас представлю Вам дочь мою, которая только вчера воротилась с фабрики.

Лунец позвонил и вошла... Боже мой! что я увидел! Никогда, нигде, ни в одной женщине на нашей бедной Земле я не встречал такого очаровательного совокупления прелестей. Она остановилась у дверей; вид незнакомого человека привел ее в замешательство. Ах! вся кровь во мне бросилась к сердцу, и оно затрепетало так сильно, так сильно, что... я проснулся.

Гляжу вокруг себя. Я в своей комнате, на постеле, голова моя болит по-прежнему, и мне по-прежнему скучно.

ИЗ АНОНИМНОЙ ПРОЗЫ В «ПОДСНЕЖНИКЕ»

ПРИВИДЕНИЕ

Московская легенда

В час полунощных явлений
Я не стану в виде тени
То внезапно, то тишком
С воплем в твой являться дом.

Батюшков

I

Лет за шесть пред сим, в Москве, в приходе у Николы... не то в Сапожках, не то в Башмачках, в доме у диакона случилось пречудное приключение.

Тут жил один добрый человек, вечнотитулярный советник Тимофей Анкудинович Пчелкин, служивший в какой-то палате повытчиком. Он был весьма небогат: несколько штук довольно ветхой крашеной мебели, немногочисленная посуда, две пары поношенного платья, два или три горшка с цветами да семнадцатилетняя дочь — составляли все его достояние. Правда, юноша с сердцем горячим, посмотрев на миловидное лицо Кати, назвал бы старика Пчелкина богачом, но Тимофей Анкудинович был не юноша: зрение его притупилось над перепискою протоколов, и он уже не мог видеть, что лицо Кати было свежее майского утра, краше всех ее розанов.

Однажды, накануне какого-то праздника, добрый старик сидел за своим дубовым столом и дописывал предлинное «сообщение», в котором, несмотря на многолетнюю

свою опытность, не понимал ни слова, — потому что не был одарен остроумием или потому что нельзя было понять, — это Бог знает. Он спешил кончить, ибо на другой день был намерен отправиться с утра вместе с Катей в Казино и пробыть там до вечера; а между тем сердитый секретарь сказал, что бумага непременно нужна к следующему присутствию.

«Странное дело: какая нужда может быть в бумаге, в которой нет смысла?» — думал про себя Тимофей Анкудинович; однако писал и писал и вот уже приближался к концу. Катя сидела напротив, перекалывала ленты на старой шляпке и также про себя думала: «Как жаль, что у меня нет к завтраму новой шляпки!» Катя была добра как ангел, неприхотлива и кротка как овечка, но она была девушка, и при этом ее сердце... Но вот начинает говорить Тимофей Анкудинович: из уважения к его сединам должно оставить милую Катю.

— Посмотри: не разберешь ли ты, что за каракули наставил тут Прохор Пафнутьич, — сказал старик Пчелкин, представив лист к свечке и смотря издали на гиероглифы секретарского почерка.

Катя бережно отложила на сторону свою шляпку и прижав усиливалась распутать сцепление бесчисленных и разнообразных крючков, по которым, если верить мнению какого-то знаменитого писателя, доказывавшего, что почерк есть зеркало души, — нельзя было возыметь доброго мнения о душе секретаря Прохора Пафнутьича.

— Я ничего не могу разобрать, — сказала наконец Катя.

— Прекрасно! — отвечал сердито старик. — Чему же учили тебя в доме нашей благотельницы княгини? Ох уж, мне это модное воспитание! Барышни лепечут, как сороки, прыгают и вертятся, как просители перед председателем, вздыхают, плачут, когда нужно, будто истцы, потерявшие тяжбу, а дашь им прочитать деловую бумажку... та-та, да-да, не тут-то было!

Тимофей Анкудинович хотел продолжать филиппику свою против того, что молодых девиц не приучают к приказным делам, но, взглянув на доброе личико Кати, смягчился.

— Кажется, это ферт, это он, это мыслете, это аз, — сказал он тихо.

— Да, папенька, это эф, это о, это эм, это а, — проговорила Катя, следуя за пером, которым старик указывал ей на буквы.

— Ну, итак это Фома; а что же дальше? не... не...

— Не... — повторяла Катя своим гармоническим голосом. — Не... не... предъявил при следствии никаких законных доводов; вследствие чего, хотя и следовало бы по точной силе нижеследующих Указов...

— Хорошо, хорошо, тут я и сам разберу, — сказал старик Пчелкин и занес уже руку, чтоб обмакнуть перо в чернильницу, как вдруг стукнуло в стекло того окошка, близь которого происходила вся эта сцена. Тимофей Анкудинович и Катя оба оглянулись.

Бледное, словно мертвое, лицо было видно за стеклом при мерцании догоравшей свечки; оно стояло неподвижно, устремив прямо перед собою мутный безжизненный взор. — Над черными, густыми, сросшимися бровями приметен был белый колпак, шея была голая, а плеча покрыты чем-то белым, похожим на саван. Катя, увидев это привидение, упала на спинку своего стула и с криком закрыла руками глаза свои. Старый Пчелкин также в великом страхе отскочил от окна. Волосы на голове его шевелились, в глазах было зелено, и он долго стоял, вытаращив их на страшное лицо, так что можно было подумать, не хотят ли они выскочить. Между тем привидение подняло свою сухощавую руку и начало опять стучать пальцами по стеклу. «Ай, ай!.. — закричал Тимофей Анкудинович, не устояв на дрожащих ногах и рухнувшись на пол, — пропали мы! Катя, спасайся!» Старик совершенно потерял свой рассудок, но когда эта крошка нашлась, то страшного лица за стеклом не было, Катя боязливо сидела, склонясь над отцом, и свечка почти догорела, а на дворе было слышно полночное пение петуха.

Вот какое чудное происшествие случилось в квартире Тимофея Анкудиновича в приходе у Николы... Оно, конечно, не важно но, будьте благосклонны, послушайте далее.

На другой день рано утром надзиратель того квартала, в котором жил Тимофей Анкудинович, оделся в самый праздничный свой мундир с золотым шитьем в виде <...>¹ орлиного — символа орлиной зоркости. Не забыть бы сказать, что этот надзиратель был страшное исключение из всех квартальных надзирателей от учреждения полиции до наших времен. Никодим Аристархович Метемпсихоз происходил из духовного звания, учился в бывшей некогда в Москве Славяно-Греко-Российской Академии, доходил уже до звания студента философии, но не захотел вступить на поприще назидания духовного над слабым человеческим родом, а движимый славолубием, определился в военную службу, из которой потом перешел в штат московской полиции, и на этом новом поприще, исполняя свято свой долг смотреть за чистотою тротуаров, хватать по домам беспаспортных бродяг и проч., не забывал в остальные часы беседовать с Virgiliem, Горацием, Цицероном; вследствие чего начертил мелом над дверьми своей спальни: «Otio et musis», т. е. «досугу и музам».

Итак, Никодим Аристархович надел праздничный мундир, посмотрелся в зеркало и вышел на улицу. Первый взгляд его упал на стоящую против самых его ворот с другой стороны улицы будку, у которой находившийся страж, лишь только заметил своего начальника, вытянулся сколько мог и сделал ему честь алебардою. Метемпсихоз, взыскательный в отношении к подчиненности, одобрил милостивою улыбкою движение будочника, который был один из тех вырожденков мордвы или чувашей, которые не умеют говорить ни на каком языке.

— Что нового? — спросил он, подошед к будочнику с поднятою головою и устремив на него гордый взгляд чрез острую конечность своего носа.

— Все обстоит благополучно, ваше благородие, — отвечал будочник исковерканным наречием, которому мы не будем подражать.

— Кто был кустодия минувшей ночи?

¹ Пропуск в тексте. — *Ред.*

— Не могу знать, ваше благородие.

— Как, разве ты не был на посту, вверенном твоему наблюдению?.. Ну, что ж ты разинул рот? Я хочу знать, где ты был ночью и кто стоял на часах.

— Так бы и спросить изволили, ваше бл<агородие>. А то — по-немецки; мы таких речей не понимаем. На часах стоял я; приходилось Макарову, да его крепко с вечера прихватило.

— Ну, что же ты видел, стоя на часах? У меня был сегодня диаконов жилец, титулярный советник Пчелкин, и скзывал, будто к нему ночью в окошко глядел мертвец. Я не верю этому вздору. Однако под видом мертвеца, может быть, прячется какой-нибудь негодяй, беглый господский человек, воришка, плут... понимаешь?

— Не могу знать, в<аше> благородие.

— Надобно задержать этого мертвеца.

— Слушаю, ваше благородие.

— Не видал ли ты его?

— Помилуй Бог, ваше благородие, хоть бы и увидел, так бы зажмурился: провалился он сквозь землю.

— Не крался ли ночью кто-нибудь к дому диакона?

— Я никого не видал, ваше благородие.

— Правда ли? Ты, может статься, заодно с ним... Но у меня... знаешь? *Amicus Plato, sed magis amica veritas*,¹ люблю моего друга Платона, а правду люблю еще больше!

С этими словами квартальный Метемпсихоз погрозил значительно пальцем, удалился от будки, стоящей против его ворот, перешел к другой, находящейся с противоположной стороны вверенного ему квартала. Там он сделал будочнику такой же строгий допрос, перемешанный с латинскими фразами; но все его старания узнать о страшилище, напугавшем Пчелкина и его милую дочь, были напрасны.

— *Oleum et opera perdidit*, всё по-пустому!² — сказал он, входя к Пчелкину и с рыцарскою ловкостью кланяясь Кате,

¹ Платон — друг, но истина — больший друг (*лат.*); Аммоний Саккас (III в.). Жизнь Аристотеля. — *Ред.*

² *Правильно: Oleum et operam perdidit* (*лат.*); *букв.*: потерял масло и труд — трудился без пользы. — *Ред.*

которая в то время надевала перед зеркалом шляпку, чтоб идти к обедне, ибо по случаю ночного испуга отложено было путешествие в Касино. — Если бы вы знали, Тимофей Анкудинович, с каким жаром я старался открыть следы этого происшествия!.. Но не было никаких средств: мои подчиненные все в один голос объявили, что они не видали ничего. К тому ж эти жалкие плебеи так суеверны, что лишь только я сказал им о мертвеце, то каждый из них чуть не умер от страха.

— А что же, почтеннейший, — сказал Тимофей Анкудин, — я не знаю сам, что делать... но поверьте, что это обстоятельство точно заслуживает всякого уважения. Я сам испугался не на шутку, хотя в свой век много, много бумаги исписал на экстракты из уголовных дел, где смертоубийство на смертоубийстве.¹ Писать не то что быть очевидцем. Нет, у меня и язык отнялся, как я...

— Понимаю, Вы хотите сказать с Виргилием:

Mini frigidus horror
Membra quatit, gelidusque
formidine sanguis,

т. е. «хлад ужаса оковал мои члены, и кровь застыла в жилах моих».

— Не знаю, почтеннейший, не знаю, что я могу сказать; а попросту, у меня свет из глаз выкатился. Однако не прикажете ли чашечку пуншу? Мы с Катей только что сию минуту кончили чай; но для компании дорогому гостю я не откажусь выпить еще одну чашечку с водочкой. Катя, полно тебе охорашиваться; дай-ко из шкафа полштоф, что стоит на левой стороне.

Катя пошла исполнить приказание Тимофея Анкудиновича, а старик между тем налил две чашки чаю и, подавая одну из них Метемпсихозу, говорил:

— Прошу покорнейше, Никодим Аристархович! Этот чашек хотя не из лучших, однако и сама княгиня Ксения Львовна третьего дня, завезя ко мне Катю, не изволила прене-

¹ Два слова вписаны над строкой. — *Ред.*

бречь одной чашечкой. — Катя, Катя!.. Что ж ты не даешь водку!

Но Катя между тем стояла в другой комнате и смотрела пристально в окно, как будто стараясь узнать что-то знакомое в дали улицы. Услышав голос отца, она поспешила вынуть полштоф, захлопнула дверцы шкафа, прищемила пальчик, вскрикнула и побежала к отцу.

— Что с тобою там случилось? — спросил Пчелкин.

— Я прищемила палец, папенька.

— Экая ветреница! Ну, налей прежде гостю, а потом мне.

Метемпсихоз блистал удовольствием, глядя на Катю. Она ли сама или полштоф с кизлярскою водкою были причиною этого удовольствия, но ученый муж с преуморительной ужимкой подставил ей свою чашку и видимо наслаждался, когда нежная, белая ручка Кати заставила хранившуюся в полштофе влагу литься быстрым потоком в душистый чай.

— Довольно, довольно, сударыня, — сказал он наконец. — Довольно, Катерина Тимофевна; чай льется на блюдечко. Ай, вы пролили мне на колени!

С этими словами Метемпсихоз поставил чашку на стол, а Катя все еще продолжала лить водку, не слыша его восклицаний; потому что все ее внимание в ту пору отвлечено было на улицу: щеки пылали, глаза устремлены были в окно, на розовых губках мелькала улыбка.

— Что это, Катя? ты вовсе с ума сошла! — сказал ей отец, не замечая, впрочем, что делалось на лице его дочери; потому что благодетельные поля шляпки защищали его от пронизательных родительских взоров.

Катя опомнилась, скрыла свое смущение и старалась какую-то несвязную речь извинить свой проступок.

— Ветреность! Ветреность, сударыня; надобно ее бросить, — бормотал сердито отец.

— И, Тимофей Анкудинович! что за беда! «Formasis Cevitas semper amica fuit», — говорит сладкозвучный Проперций во второй книге, в элегии тринадцатой, — сказал Метемпсихоз, вытирая свое нижнее платье, — то есть, — примолвил он, с самодовольною улыбкой и молодецватою ухват-

кой обратиться к Кате, — легкомыслие всегда было подрукою прекрасного пола.

Катя поцеловала у отца руку и, поклонясь небрежно латинскому квартальному, вышла из комнаты. Через минуту брякнуло кольцо калитки: милая девушка, вышед на улицу, посмотрела направо, улыбнулась и пошла по дороге к церкви. Когда она проходила мимо того окна, у которого сидел наш квартальный, то Метемпсихоз, посмотрев ей вслед, сказал:

— *Vera incessa partuit dea*¹ И видом, и поступью — богиня! — и потом, хлебнув пуншу, прибавил: — О, божественный Вергилий... Тимофей Анкудинович, хотел я сказать, как бы завидна была моя участь!..

II

Бывали ли вы в Москве? — Если не бывали, то не имеете и понятия о русском праздничном утре. — В Петербурге все дни как две капли воды похожи один на другой: всегда одна и та же суета на Невском проспекте; магазины отперты; фельдъегери и курьеры скачут взад и вперед, купцы хлопчут о своих спекуляциях, — и вся разница между праздничным и будничным утрами заключается в том, что по праздникам на паперти католической церкви стоит толпа молодежи, ожидающей выхода богомольниц, а на тротуаре прохаживаются несколько таких лиц, которых в будни вы и не увидите иначе как около девяти часов утра да в четвертом часу дня или после обеда, потому что от девяти до трех часов эти лица бывают только видимы стенам своих департаментов, канцелярий и проч. — Но в Москве праздник — подлинно праздник! По целому городу раздается звон колоколов: это наполняет воздух какую-то торжественностью, отзывается стариной и ласкает сердце русское. Станьте на отдаленнейшей точке города и медленно приближайтесь оттуда к Кремлю: чем более будет сокращаться расстояние

¹ Походка являет в ней истинную богиню (лат.); Вергилий. Энеида, I, 405. — *Ред.*

между Кремлем и вами, тем громче и веселее будет разда<ва>ться в ушах ваших этот всеобщий звон, тем чаще вы встретите веселые лица, пестрые, цветные наряды. Многолюдство и движение постепенно увеличивается до центра города; торговая площадь кипит народом, в Кремле все торжественно. Мне часто случалось в большие праздники проводить по целому часу на ступенях Красного крыльца. Бывало, стою, опершись на каменную его ограду, смотрю на окружающие меня древние здания, слушаю колокольный гул, и в воображении моем оживляются картины и старинного русского быта, и великолепия наших царей: я мечтаю видеть многочисленную свиту, состоящую из юношей в белых одеждах и воинов; вот посреди ее величественно идет сам Царь в златотканой парчовой ризе с короною на голове; вот раздались радостные клики народа; царь приветливо кланяется; ближние бояре очищают ему путь между теснящимися подданными и принимают от некоторых челобиття, суля правду и милость царскую. — О русская земля, что тебя краше и милее в мире!

Но обратимся к рассказу. — Катя, при звоне колоколов и всеобщем праздничном шуме, скромно шла к церкви, потупив голову. В некотором отдалении следил ее молодой человек приятной наружности, весьма опрятно одетый. Когда Катя повернула за угол, молодой человек увеличил шаги и через несколько секунд уже приветствовал красавицу учтивым поклоном, на который Катя отвечала ласковою улыбкой.

— Как же это случилось, что вы не в Касине? — спросила она.

— Я был готов туда ехать, но хотел прежде увериться, поедете ли вы. С шести часов брожу по переулкам в надежде вас увидеть. Кажется, вы не едете?

Катя рассказала молодому человеку причину, помешавшую богомолью. Они вместе старались постигнуть ночное явление, но так как церкви встречаются в Москве столько же часто, как в Петербурге винные погребы и табачные ла-

вочки, то дорога молодого человека и Кати до церкви Николы... не могла быть длинна, и разговор о явлении не мог долго тянуться. Вошед в церковь, Катя заняла свое обыкновенное место, а молодой человек стал неподалеку от нее в таком положении, что мог беспрестанно ее видеть. Набожность или другие причины действовали на него, но обедня показалась ему очень непродолжительна. По окончании службы он подошел к одной бывшей в церкви старой барыне, разряженной в пух и окруженной тремя молодыми девицами. Он вполголоса сказал ей несколько слов, получил в ответ какую-то французскую фразу, сопровождаемую благосклонным наклоением головы, и удалился. Между тем нарядная барыня, заметив между толпившимися около священника Катю, пригласила ее знаком подойти к себе. Катя приблизилась с почтением, получила от нарядной барыни поцелуй, поцеловала у ней руку и, обратясь к трем молодым девицам, была принята в дружеские объятия.

— Cato, Cato! — говорили они все три в один голос, — *comme vous êtes intéressante aujourd'hui! Il y a trois jours... Maman va d'ici chez vous. Elle parlera a votre père... nous vrons tous ensemble...*¹

Ласковые девицы продолжали бы лепетать с Катей, если бы нарядная дама не спросила у нее, дома ли ее батюшка.

— Мне нужно с ним говорить об одном важном деле, моя милая, — присовокупила она, глядя с улыбкою на Катю. — Поедем с нами.

Они сели в большую карету; два лакея в ливрее с широкими галунами вскочили на запятки, и великолепный экипаж, влекомый четвернею прекрасных лошадей, покатился к жилищу титулярного советника. В продолжение этого кратковременного переезда ласки молодых девиц в отношении к Кате были неистощимы, они осыпали ее вопросами, рассказывали ей свои новости, шутили, смеялись. Что касается до нарядной дамы, то она, с своей стороны, хотя

¹ Като, Като, как вы интересны сегодня! Три часа... Маман едет отсюда к вам. Она будет говорить с вашим отцом... мы возвращаемся все вместе... (*фр.*).

не принимала деятельного участия в разговоре молодых девиц, храня важность своих лет и своего звания, но сделала Кате несколько вопросов насчет здоровья ее отца, занятий, которые она имела в то время, пока они не видались, и проч.

Старик Пчелкин подскабливал ошибки в написанных вчера бумагах, когда форейтор богатой кареты, в которой ехала его дочь, вдруг закричал на тянувшегося шагом мимо диаконского дома извозчика и, круто поворотив в ворота, чуть не опрокинул извозчицких дрожек.

— Ах, никак это княгиня! — сказал Тимофей Анкудинович. — Эй! Настасья, Настасья! Убери скорее рогожку из прихожей! Черт тебя побери! вечно ты оставишь ее после мытья полов. Да смахни пыль с дивана, не то княгине и сесть нельзя будет; а также прибери немножко в Катиной комнате: молодые девицы, верно, уйдут туда. Не забудь обереть зеркало.

Говоря это, Пчелкин поспешил сложить бумаги, сунул их в стол, кинулся в свою спальню, сбросил с себя затасканный сюртук и, надев праздничный фрак, выбежал навстречу к княгине.

— Ах, ваше сиятельство, что за честь! что за милость! — Так приветствовал он с крыльца нарядную барыню, которая между тем выходила из кареты. — Прошу сюда, мои благодетельницы, вот сюда, к стороне, не замарайте башмачков! — Шт! — Так он говорил молодым девицам и в то же время отгонял петуха с курами, которые всегда, лишь только завидят Тимофея Анкудиновича, имели привычку бежать к нему со всех ног; потому что в свободные часы от занятий по службе он любил забавляться своими наседками, бросая им горсть крупы или пшена.

— Здравствуйте, Тимофей Анкудинович, — говорила княгиня, — здоровы ли вы?

— Всё слава Богу! милостями вашего сиятельства. Ах, княгиня Софья Борисовна, Зинаида Борисовна! Как это вам вздумалось удостоить этакой чести! Княжна Наталья

Борисовна! мое всенижайшее почтение! — Катя, Катя, подавай скорее их сиятельствам кресла!

Княгиня со всеми дочерьми вошла в ненарядную гостиную Тимофея Анкудиновича и села, не обращая внимания на то, что старик Пчелкин ужаснейшим образом суетился: она имела вид женщины, привыкшей к подобным ласкательствам, и даже ее не удивило бы польское: <...>¹

— Послушайте, мой добрый Тимофей Анкудинович, я заехала к вам по одному делу, о котором хочу по секрету говорить с вами. *Cato, sortez, ma chère, dans votre chambre.*²

Катя и молодые девицы вышли. Тимофей Анкудинович в почтительном положении остановился перед креслами нарядной барыни и ожидал ее приказаний.

— Ваша Катя премилая девушка, Тимофей Анкудиныч, — сказала княгиня.

— Не смею хвалить своей дочери, ваше сиятельство, — отвечал Пчелкин. — Это одна моя утеха под старость. Вы изволили призреть несчастную сироту; она всем одним вам обязана. Бог да наградит ваше сиятельство, а мне, старику, и моей Кате остается только молить Всевышнего о долголети и здравии вашем.

— Ну, полно, полно, Тимофей Анкудиныч, — сказала княгиня, показывая вид, что ей тягостно слышать изъявление благодарности старика Пчелкина, но не будучи в состоянии скрыть своего удовольствия, потому что добро, делаемое богатым бедному, не всегда происходит от любви к добру, а часто от тщеславия, самолюбия, желания видеть раболепную благодарность — и, может быть, княгиня, хотя добрая женщина, не была чужда таким недостаткам. — Полно, Тимофей Анкудиныч, — сказала она, — от чего бы ни было, но Катя твоя премилая девушка. Я люблю ее как дочь и желала бы устроить навсегда ее счастье; у меня есть жених. Что вы на это скажете?

Пчелкин отвесил княгине пренизкий поклон и пустился в новые изъяснения своей признательности, но черты лица его почти не выражали той радости, которой можно бы

¹ В рукописи пропуск. — *Ред.*

² Като, выйди, моя милая, в свою комнату (*фр.*).

ожидать при таком предложении. Он даже немного смутился, и когда княгиня повторила свой вопрос, отвечал:

— Катерина очень молода, ваше сиятельство; я, право, не знаю... Лучше бы, кажется, подождать...

— А чего ж дожидаться? Кате семнадцать лет: настоящая пора для замужства.

— Все так, ваше сиятельство; я не смею иначе думать, как вы.

— Так что же мешает вам согласиться?

— Ничего, ваше сиятельство. Если угодно, я сейчас согласен Катерину под венец.

— Итак, дело кончено?

— Но она еще молода, как я уже имел честь донести вашему сиятельству; она ветрена; я желал бы...

— Опять заговорили свое! Что за «молода», что за «ветрена»? Ни то ни другое. Сами же вы за минуту согласились, а теперь спорите.

— Смею ли я спорить с вашим сиятельством! Все готов сделать, что изволите приказать.

— А если так, то слушайте, Тимофей Анкудиныч. Знаете ли вы Александра Феодоровича Аполлонского, того, что был гувернером при моем сыне Льве?

— Нет, ваше сиятельство.

— Прекрасный, преумный человек. Он был тогда лекарем, учился в здешнем университете. Теперь его сделали доктором, скоро получит место в каком-нибудь казенном заведении и сверх того будет иметь практику в домах. Я уже взяла его к себе в годовые. Нравится ли вам этот жених?

— О! ваше сиятельство, чрезвычайно! Я не знаю, как возблагодарить...

— И не беспокойтесь о том: я делаю это из любви к Кате. Александр Федорыч от нее без ума; даже и сегодня в церкви он напоминал мне, что я взялась хлопотать за него. Катя, надеюсь, будет также довольна. Как Александр Федорыч еще жил у меня, то я несколько раз имела случай заметить, что он ей нравится. Итак, вы согласны?

— Ах, ваше сиятельство! Александр Федорыч, может быть, превосходнейший человек, если вы изволите быть

о нем такого мнения, но я с природы не люблю докторского ремесла; и можно ли быть доктору женатым?

— А почему же не можно? Разве доктора к тому не способны? разве они не имеют таких нужд, как прочие мужчины?

— Они, без сомнения, всё имеют, ваше сиятельство. Но докторское житье хуже писцовского: всякую минуту будь готов туда и сюда; а сколько опасностей от разных болезней! Жена заживо с тоски умрет!

— Фи, Тимофей Анкудиныч! Какой вздор вы забрали в голову! Посмотрите, как много счастливых докторских жен. Право, никто, кроме вас, не видит в звании доктора ничего неприятного для его жены.

Княгиня как женщина, избалованная угождениями в свете, не привыкшая к противоречиям, начинала уже терять все свое важное спокойствие, и на лице ее показалось выражение нетерпеливости; но простодушный Пчелкин не замечал происшедшей в нем перемены и продолжал всеуниженнейше доносить, что Катю вовсе неприлично выдавать за доктора.

— Сверх того, ваше сиятельство, — присовокупил он наконец, сделав поклон, который был ниже всех прочих, — сверх того я считаю долгом доложить вашему сиятельству, что у меня есть на примете другой жених для Катерины, с которым мы уже и порешили дело: осталось только отобрать сведение от невесты.

— А что это за человек? — спросила княгиня с досадой.

— Наш квартальный надзиратель Никодим Аристархович Метемпсихоз.

Княгиня презрительно улыбнулась.

— Квартальный, — сказала она сквозь зубы, — хорош же жених для Сато! O mon Dieu! Comme il est insupportable, ce vieillard!¹

Княгиня была готова забыться: щеки ее покрылись багровым румянцем, глаза засверкали. Но привыкнув к притворству, необходимому в большом свете, она умела пода-

¹ О Боже мой! как он несносен, этот старик! (фр.)

вить в себе чувство гнева и, не противореча более Пчелкину, сказала ему сухо:

— Как хотите, Тимофей Анкудиныч. Я желала устроить счастье Катеньки; но ежели у вас есть свои виды, ежели вам особенно нравится какой-то квартальный (ah, — c'est horrible!¹), — то... как хотите, я больше не вмешиваюсь в ваши дела.

Пчелкин, казалось, немного струсил: он стоял неподвижно, будто перед секретарем, делающим ему выговоры. Между тем княгиня встала с своего места, кликнула дочерей и приказала им готовиться ехать. Прощание было гораздо холоднее встречи; княгиня почти ни одного слова не сказала Тимофею Анкудиновичу и даже забыла бы взять с собой Катю, если бы не напомнили ей о том дочери.²

III

А Катя много бы потеряла, если б не поехала с княгинями: они в этот день сделали прогулку за город, и нашей красавице было очень весело, потому что в числе многочисленного общества, сопровождавшего княгинь, находился Александр Федорович Аполлонский, тот самый молодой человек, который провожал ее в церковь и, на которого засмотрясь, она облила водкою платье Метемпсихоза.

Уже солнце давно сокрылось за рощами, а княгиня Ксения Львовна, начальница этой прогулки, не объявила еще, что пора возвратиться в Москву. Вечерний сумрак начинал покрывать природу, звезды загорались на высоте, и луна, плывя по безоблачному небу, как лебедь по тихому озеру, сыпала какой-то чудно-прекрасный блеск на вершины деревьев ветвистых. Вдали от других бродила милая Катя, отдыхая после удовольствия, испытанного ею в тот день, припоминая себе все сказанное возлюбленным и наслаждаясь отголоском чувств, которые наполняли ее сердце при изъяснении чистой и горячей его любви. Голова красавицы

¹ ах, — это ужасно! (*фр.*)

² *Под текстом:* Окончание в следующей тетради.

была потуплена, грудь тихо волновалась, на устах играла улыбка. То было счастливое состояние души, в котором она не находится дважды; то было мечтательное, отвлеченное упоение первой любви, сладкое трепетание чувств, пробужденных впервые от сна. Сердце наше подобно сорванному цветку, который чем дольше лежит, тем более теряет свой запах. Оно только раз в жизни может дарить нас блаженством, и этот раз есть самый первый: впоследствии, хотя рождаются в нас новые склонности и хотя эти склонности бывают иногда вознаграждены взаимною любовью, но мы уже не чувствуем их с такою силою, как прежде, и не находим в них прежнего наслаждения.

Проходя между кустарниками, Катя вдруг увидела перед собою Александра, который стоял, опершись на сухой пенёк, и задумчиво смотрел в землю. Стыдливая девушка покраснела от мысли, что Александр мог подумать, будто она нарочно его искала, но воротиться было нельзя, потому что Александр заметил Катю и тотчас же бросился к ней навстречу.

— Я не думала, что вы здесь, — сказала Катя, стараясь оправиться.

— Ах, я и сам не знаю, где я; мне хотелось бы быть на краю света, в могиле! — отвечал Александр.

— Что с вами случилось?

Молодой человек молчал. Он взял руку Кати, покрыл ее поцелуями.

— Что же с вами случилось, скажите мне? — повторяла между тем прекрасная девушка.

— Что со мной случилось? Боже мой! со мной случилось величайшее несчастье, которое тем более для меня ужасно, что я не ожидал его. Вы позволили мне искать вашей руки. Зная, что ваш батюшка очень уважает княгиню, я просил ее быть моею предстательницею и имел тщеславие положить на ее уверения, что батюшка ваш не будет противиться моему счастью. Но сию минуту княгиня сказала мне, что Тимофей Анкудиныч не соглашается принять меня в свое семейство, потому что нашел для вас другого жениха, какого-то квартильного.

При этих словах Катя побледнела и чуть устояла на месте. Несчастья сближают людей, разрушая все существующие между ни оплоты приличия, робости и стыдливости. Скромная Катя, красневшая при мысли, что ее любезный мог ее подозревать в желании быть с ним наедине, чуть не бросилась в объятия Александра, когда он сказал о несогласии отца ее на их брак и о намерении отдать ее за другого.

— Никогда, никогда! — сказала она, закрыв одною рукою глаза, как будто Метемпсихоз уже стоял перед нею.

— О милый друг мой! бесценный мой друг! — говорил Александр, прижимая Катю к своему сердцу. — Дай же мне слово, что ты не будешь принадлежать никому, кроме меня, — и судьба, может статься, будет еще к нам благосклонна.

Катя плакала; сердце ее замирало. Видя в Александре бесчисленные достоинства, она и сама была уверена, что отец ее согласится на их соединение. Отказ старика обдал каким-то холодом ее душу, согретую доселе надеждою и любовью.

— Боже мой, Боже мой! — говорила она рыдая, — как же мне теперь жить? Я умру без тебя, мой милый! Не отдавай меня этому несносному Метемпсихозу, защити меня от него. Я твоя вечно, вечно. Никто не будет моим мужем, если не ты!

Катя хотела взглянуть на Александра, но при этом движении уста любовников встретились и сольнулись на долгий, пламенный поцелуй.

Если бы княгиня подсмотрела и подслушала эту сцену, то взаимная нежность Александра и Кати, может быть, заставила бы ее переменить суровое намерение, которое она приняла, оскорбившись противоречием Тимофея Анкудиновича, и которое состояло в том, чтобы ни под каким видом не мешаться более в сватовство Кати за Александра и предоставить судьбу ее воле отца. Бедный Александр сколько ни старался отклонить княгиню от этого ужасного для него решения, полагая с своей стороны, что Пчелкин,

может быть, согласился бы наконец его осчастливить из угождения своей благодетельнице, однако ж не мог переломить ее упрямства, ибо оскорбленное самолюбие гордой женщины ничем не может быть укорощено.

Надобно, впрочем, объяснить, почему Тимофей Анкудинович заупрямился выдать свою дочь за доктора, а хотел ее сделать женою квартального надзирателя Метемпсихоза, тогда как первая партия казалась бы выгоднее и по степени, на которой звание доктора стоит в табели о рангах, и по участию, которое принимала в этом деле княгиня Ксения Львовна, благодетельница Тимофея Анкудиновича. Упрямство это основывалось на особенном толке, свойственном многим из тех людей, которые известны под техническим названием «чиновников», — жалкого класса полуграмотных обломков старого века, проводящих свою жизнь в аккуратном хождении к должности, сидении вечно на одном стуле, переписке бумаг с такою точностию, что в белой вы найдете все ошибки, могшие закрасться в черновую, сличивании дел, сообщении друг другу приходских новостей и плоских между собою шуточках над начальниками, которые моложе их, воспитаны совсем иначе и имеют свой образ мыслей, а потому кажутся им детьми, ничего не знающими. Эти господа часто думают, что вне их занятий нет никакого спасения и что человек не человек, если он не служит, как они, в статской службе. К числу этих-то господ принадлежал и добрый наш Тимофей Анкудиныч. Он верил от всей души, что докторское звание есть одно из самых пустейших званий на свете, но что, напротив того, звание квартального надзирателя есть титул достойное и почтенное. К этому присоединялись и некоторые расчеты. — «Что толку в докторстве? — думал Пчелкин. — Посмотрим, когда еще получит Аполлонский казенное место; а езда с визитами, много денег не наберешь. Больные, конечно, не переводятся, да и докторам счету нету. Позовут к одному: он умрет либо выздоровеет; тогда опять без денег. К другому — и там то же, к третьему — то же. То ли дело житье квартального надзирателя? у него всегда верные доходы: каждый обыватель в годовые праздники шлет подарочек; и трак-

тирщики, лавочники во всякое время готовы услужить чем угодно: все даровое».

Вот как думал Тимофей Анкудинович и решил, что Катя должна быть женою Метемпсихоза.

— Бог с нею, с этой княгиней Ксениею Львовною, — говорил он своему нареченному зятю. — Она знатная барыня и толкует как знать, но нам куда за знатью тянуться! Да и что проку в знати? Видал по делам я много баричей, у которых сегодня горы золотые, а завтра — от лишнего крючка в апелляционной жалобе, от лишней справки по запретительным книгам — ничего нет.

— Сушая справедливость, — поддакивал Метемпсихоз. — Гораций в книге второй, в оде седьмой именно говорит:

Auream quisquis mediocritatem
Diligit, tutus caret obsolet:
Sordibus tecti, caret invidenda
Sorbibus aula.

То есть: кто знает цену златой посредственности, тот предпочитает скромное, но спокойное жилище самым великолепным палатам. И это вполне подтверждается тленностью всего сущего на земле, потому что, как говорит Ювенал, *quandoquidem data sunt ipsis quoque fata sepulchris*; самые гробы подвержены разрушению. — Не прикажете ли еще чашечку пуншу, почтеннейший Тимофей Анкудиныч?

Между тем как подобные сцены происходили у Тимофея Анкудиновича с Метемпсихозом, Катя жила в доме княгини и участвовала во всех удовольствиях ее дочерей: посещала с ними гуляния, бывала в спектаклях, ездила к бесчисленным княгининым знакомым и родственникам; но все это нисколько не веселило милую Катю; ибо с той поры, как она узнала, что отец не хочет выдать ее за Александра, сердце ее беспрестанно тосковало и ныло. Кто любит со всем жаром первой склонности, тот вдвое чувствует любовное горе: если первая любовь доставляет нам наилучшие наслаждения, то и скорби, от нее происходящие, бывают несравненно сильнее тех, которые встречаются при

второй, третьей любви, когда уже сердце привыкает к тревогам и загрубеет в бурях, подобно юноше, который, летя впервые под знамена ратные, пленяет своею красотою, а возвращается, хотя здоровым по-прежнему, но загоревшим, худым.

Одно утешало Катю: это посещения Александра, который, как по званию своему годового княгинина доктора, так и по прежнему знакомству с нею, довольно часто являлся в великолепной гостинной. Но визиты Александра были подлинно докторские: княгинина гордость противоречила его желанию проводить время у нее в доме; он это видел и сокращал свои посещения; между тем Катя грустила, и грусть ее тем более была тягостна, что влюбленная девушка почитала обязанностью скрывать ее.

В один день уведомили Катю, что ее желает видеть отец. У Кати затрепетало сердце: она любила и уважала родителя своего как дочь самая добрая; но на этот раз приход Тимофея Анкудиновича ее испугал, потому что влюбленные трусливы, а несчастные — еще более.

— Я хотел засвидетельствовать почтение княгине, — сказал старик, — но говорят, что она почивает.

— Не знаю, папенька; я не более как за четверть часа была у нее: тогда она не спала.

— Ну так меня просто не пустили. У знатных ведь не всегда такой час, в который их можно видеть. Послушайко, Катерина Тимофеевна, я пришел сюда недаром, хочу поговорить с тобой об деле.

Сердце Кати чуть не выскочило от страха.

— Что вам угодно, папенька?

— А вот что, сударыня. Я нашел тебе жениха и мне угодно, чтоб ты вышла за него замуж. — Ну, что же ты то краснеешь, то бледнеешь? жених ведь не председатель и даже не секретарь: с ним можно ладить и вести компанию. — Да полно, Катерина! будь посмелее, брось эту девичью ухватку. Разве я не знаю, что девке жених так же мил, как моему помощнику красненькая в конце месяца. А твой жених — че-

ловек подлинно что хороший: и лицом, и умом, и поведением; к тому же служит в хорошей службе; занимает доходное местечко: одним словом, это наш Никодим Аристархович Метемпсихоз.

Но Катя почти не слушала долгой речи Тимофея Анкудиновича: она обливалась слезами.

— К чему все эти причуды, моя любезная? — продолжал Пчелкин. — Возьмись-ко за ум, перекрестись да и говори «да».

— Нет, папенька, нет, я ни за что в свете не выйду за Метемпсихоза.

— Как «не выйду»? Да ты, верно, с ума сошла, Катерина, почему так?

— Я его не люблю, я его терпеть не могу.

— Вот еще какие речи! пустое, моя красавица! Стерпится, слюбится. Когда я был молод, куда иной раз, бывало, не хочется идти к должности! а теперь привык так, что тянет к ней.

— Нет, папенька, ради Бога, пощадите меня. Могу ли я быть счастливой с этим несносным Метемпсихозом?... Могу ли я забыть...

— Что?

— Ах, папенька, я никак не могу с ним быть счастлива.

— Вздор, я сказал, вздор! Да что тебе засело в голову? уж не думаешь ли ты выйти за какого-нибудь князя или графа, которых у вас тут столько же, сколько букв в Уложении?

— Нет, папенька, я ничего не думаю; но только не люблю Метемпсихоза. Ради Бога, не выдавайте меня за него: лучше я век останусь в девках.

— Как бы не так! По-твоему, чай, легко в девках просидеть целый век? Спроси-ко об этом у них, так ау тяжело! Без мужа женщина как писец без пера: короче, недостает самого нужного. «Не люблю Метемпсихоза, не люблю Метемпсихоза!» Да ведь я тебе говорю — стерпится, слюбится!

— Нет, папенька, я никогда не буду его любить, сердце мое отдано и вечно, до гроба, и даже за гробом, принадлежать будет другому.

— Как, что это значит, я этого не понимаю.

- Я люблю уже.
- Ну.
- И не могу, не буду любить никого, кроме его.
- Да кого же ты любишь?
- Ах, папенька, перестаньте меня спрашивать.
- Пустое, я хочу знать. Говори, кого любишь... Ну...
- Ах! я люблю... я люблю, папенька, бывшего учителя молодого князя, доктора Александра Федорыча.
- Полно, полно, сударыня! Я уж слышал об этом Александре Федорыче и от самой княгини. Все это пустячки, я никогда не соглашусь отдать тебя за людореза, за человека, у которого нет прочного куска, который не занимает никакой дельной службы... Нет, нет, и слушать не хочу: этому не бывать.
- Без него я умру, папенька.
- Неправда, не умрешь, а выйдешь за Никодима Аристарховича и родишь мне внучат.

Катя почти утонула в слезах. Не надеясь убедить и не смея просить отца, чтоб он соединил ее с Александром, бедная старалась по крайней мере отвратить его от намерения выдать ее за Метемпсихоза; но старик был неумолим, и все, что она успела сделать, состояло в том, что получила от отца позволение обдумать в продолжение нескольких дней свою участь, с условием, однако ж, воротиться на другой день к отцу.

IV

В августе ночи в Москве иногда хоть глаз выколи; а фонари не горят, потому что еще не началась осень. В такую-то темную как могила ночь шел наш Тимофей Анкудинович в свое укромное жилище. Голова старого приказного была обременена кучею разнородных мыслей: свадьба дочери, выписки, экстракты, перья, просители, сандарак — перемешаны были в ней точно так же, как иногда секретарь Тимофея Анкудиновича нарочно перемешивал обстоятельства дела, чтобы сломить судейский ум на ту или на другую

сторону. Вот наконец он достигает до дома, в котором совершаются таинства в честь Фемиды; луна проглянула из-за туч и одарила своим серебряным светом окрестность. Тимофей Анкудинович отворяет калитку, входит на двор, идет мимо садика, отгороженного деревянной решеткой, и — что же видит при мерцающем свете луны?

— Фу, пропасть!.. Господи Иисусе Христе! — бормотал он, творя крестное знамение и с робости остолбенев, но не спуская между тем глаз с предмета, его поразившего. — Это опять то же самое страшилище. Ну! пропала моя голова! что теперь делать? куда деваться?

Пчелкин готов был закричать караул, если бы шевелился язык его, или бежать со двора, если б двигались ноги. Но и то и другое не слушалось. Между тем страшилище отворило садовую калитку, вышло на двор и направило шаги свои прямо к окну Тимофея Анкудиныча, в котором оно и прежде являлось. Это было нечто подобное человеку: как человек, шло на двух ногах и имело голову наверху туловища; но ни рук, ни ног его не было видно: длинная белая одежда, подобная савану, упала с его плеч до самой земли и скрывала формы этого таинственного существа. Тимофей Анкудинович с ужасом смотрел, как лучи светлого месяца скользили по чудному наряду, как они терялись в густых складках его и как эти складки, омраченные тенью, резко отделялись от тех частей белого савана, которые были обращены к луне. Видали ли вы резные фигуры из бумаги, которые, будучи поставлены перед свечкою, бросают на стену составленные из света и тени изображения лиц, голов и других предметов? Чудное существо, явившееся Тимофею Анкудиновичу, было подобно этим обманчивым изображениям: оно так же казалось составленным из света и тени, в некоторых местах прозрачным, в других темным. Никакой шум не возвестил его твердых шагов, никакое колебание тела не сопровождало его движения: прямо, гордо, не оборачиваясь ни на ту, ни на другую сторону, оно приблизилось к окну, простояло несколько минут неподвижно и пошло назад. Когда достигло оно садовой калитки, Тимофей Анкудинович ободрился и хотел подметить, куда денется

это удивительное видение, но вдруг густое облако задвинуло собою луну, и видение исчезло во мраке. Тимофей Анкудинович остался впотьмах, в ушах его зазвенело, голова начинала кружиться; он каждую минуту ожидал, что невидимые руки с ужасными когтями всхвоят и увлекут его в преисподнюю, — и рад, рад был, что кое-как мог добратся до крылечка, на котором старая работница, вызванная его стуком и криком, встретила его словами: «Ах, батюшки светы! что с вами поpritчилось? вы на себя не похожи».

На другой день Катя действительно воротилась домой, но с минувшей ночи странное существо, два раза напугавшее Тимофея Анкудиновича, каждую ночь стало являться то под окном, то в саду, то на улице, и старик, обеспокоенный этим чудом, не спешил делать приготовления к свадьбе, которая, однако же, была решена в его мыслях. Целый околоток видел какое-то белое страшилище, бродящее около диаконова дома и по другим близлежащим местам; но никто не знал, что это за страшилище, и все боялись его преследовать. Однажды видение подошло к будочнику, с которым некогда говорил о нем квартальный Метемпсихоз, но будочник, вместо того чтоб посадить видение в будку, так перепугался, что упал замертво, и наутро рассказывал своим товарищам, будто он своими ушами слышал и своими глазами видел, как мертвец, говоря каким-то дьявольским языком, взял алебарду, стал на часы, отдавал честь (вероятно, главному черту) и потом с бранью провалился сквозь землю, а на месте его вырвалось из-под земли пламя, причем раздался хохот, свист, гром, и целая стая ведьм с хвостиками пронеслась по воздуху.

Товарищи будочника слушали разинув рты и дивились; но не так думал ученый Метемпсихоз, которому донесено было об этом происшествии. Он за несколько дней пред тем читал Сенеку и затвердил выражение языческого философа: *post mortem nihil est, ipsaque mors nihil*.¹ Вооружась этою великолепною фразою, он решил в следующую ночь

¹ По смерти ничего не будет, и самая смерть — ничто (лат.; *примеч. в рукописи*).

сам, своею особою караулить привидение; караулил — но привидение не явилось. «Вот, — думал Метемпсихоз, — не значит ли это, что все толки о привидении — вздор: трусам мерещатся черти, и они рассказывают разные глупости, а от этого может случиться то, что полицеймейстер, узнав о их рассказах, подумает, будто худо я смотрю за своим кварталом. Нет, сегодня же обойду всех обывателей моего квартала и докажу им *a priori* и *a posteriori*, что мертвеца нет и быть не может».

Метемпсихоз исполнил свое намерение, обошел все дома и везде доказывал. Неизвестно, поверили ли его доказательствам; известно только, что привидение опять являлось и под окном Тимофея Анкудиновича, и на дворе у него, и в саду, и на улице. Некоторые соседи говорили даже, будто оно вошло в ворота к Метемпсихозу и там пропало. Метемпсихоза это взорвало. «Как! — вскричал он, — даже ко мне, а я до сих пор не могу узнать, что это за проклятое привидение! *O Dei Deaque!*¹ Но да будут прокляты все древние поэты и философы, если нынешнюю же ночь я его не поймаю, будь оно хоть не только из воздуха, даже хоть из тончайшего эфира!» — С этими словами Метемпсихоз надевает мундир и отправляется из дому.

Было уже четыре часа. Благовестили к вечерне. Отобедав со знакомым купцом в трактире (история не говорит, за чьи деньги), Метемпсихоз возвращался домой и по дороге завернул к Тимофею Анкудиновичу, чтобы выпить с ним чашку пуншу, полюбоваться прекрасною его дочерью и попросить старика об ускорении свадьбы.

— Все ли слава Богу, Тимофей Анкудинович, — сказал он, войдя к Пчелкину.

— Живем помаленьку да пописываем, Никодим Аристархович, — отвечал Пчелкин, — одно только сокрушает: дьявольское наваждение, что является каждую ночь.

¹ Боги и богини! (лат.)

Метемпсихоз поднял с важностию голову, нахмурился, улыбнулся и — промолчал, но с таким видом, который ясно выражал, что он, если бы захотел, мог сказать очень многое.

— Нет ли чего новенького? — спросил Пчелкин.

— Ничего, так... все безделки, одни еще предположения, распоряжения, которые до времени содержатся втайне.

— А что это такое, буде смею спросить?

— Пустяки... я хочу успокоить обывателей моего квартала...

— Каким же образом? Уж не относительно ли приви...

— Тс, тс, Тимофей Анкудиныч. О таких важных предприятых не говорят громко.

Метемпсихоз подвинул свой стул ближе к Пчелкину и продолжал вполголоса:

— Вы угадали, дело идет, точно, о привидении. Уважая вас как будущего моего тестя, я открою вам великое предприятие, которое намерен совершить нынешнею ночью. Вы, верно, никому не расскажете?

— О! как это возможно! помилуйте, Никодим Аристархович!

— Итак, выслушайте, Тимофей Анкудинович.

Метемпсихоз кашлянул, поправил свой галстук, поднял правую руку наравне с глазом и, устремив указательный перст к потолку и взоры на Пчелкина, начал следующим образом:

— *Post mortem nihil est, ipsaque mors nihil*. Так говорит Сенека-*tragicus* в одном из своих бессмертных творений, не упомяну, однако, где и на которой странице и строчке.

— Да что же это значит, почтеннейший? — спросил Пчелкин.

— Позвольте, не мешайте мне. *Post mortem nihil est, ipsaque mors nihil*. На этом мудром изречении я основал свое предприятие, ибо оно, то есть изречение, значит в переводе, что после смерти нет ничего, т. е. все превращается в ничтожество; ergo видение, или белое существо, которое является по ночам, не есть мертвец; ut как все, что не мертвец, должно быть живое, то упомянутое видение, имеющее

форму человека, также должно быть — живой человек. Силлогизм правильный — вы не спорите, так ли?

— Так, так, почтеннейший, я не спорю. Но скажите, пожалуйста, почему так и что все это значит?

Метемпсихоз улыбнулся с видом сожаления к простоте будущего своего тестя и продолжал:

— В восемь часов нынешнего вечера, по распоряжению моему, нижние чины пожарной команды займут назначенные им мною места и будут наблюдать за появлением мнимого привидения, а когда оно явится, то задержат его и представят ко мне. Неправда ли, что это прекрасно? О! удивительно! Я клянусь вам, Тимофей Анкудинович, что наше привидение просто какой-нибудь плут и что тот ошибается, кто принимает его за духа: *aminuni pictura pascit inani*; они довольствуются пустым призраком, как говорит Virgilius в первой книге Энеиды, стих, если не ошибаюсь, четыреста шестьдесят осмой; следовательно, ничего нет легче, как поймать это привидение; а между тем какая честь, какая слава распорядителю! Завтра, отведа духа к частному приставу, я кликну к себе тех, которые будут участвовать в поимке, и с важностью произнесу: *cuncti adsint, meritaque exspectent praemia palmere* — Да предстанут и да судятся по достоинству. Знаете ли что, Тимофей Анкудинович? Мне очень жаль, что вам неизвестен язык Virgilius. В нем так много красот, так много...

— И, Никодим Аристархович! Куда нам, старым и темным людям, забиваться в ученость? Катя, Катя! велико Настасье поставить поскорей самовар да попотчуй нас пуншиком.

— *In vino veritas*,¹ — продолжал Метемпсихоз. — Апостол Павел также говорит, между прочим, что вино веселит сердце человека, и сверх того я помню латинское изречение: *dulce est desipere in loco*,² то есть приятно пошалить кстати. Гораций же учит: *vita summa brevis spem nos vetat incohare longam* — жизнь коротка: итак, не будем прости-

¹ Истина в вине (лат.).

² приятно вовремя подурчиться (лат.); Гораций. Оды; IV, 12, 28. — *Ред.*

рать вдаль наши надежды, то есть станем пользоваться настоящим.¹

В таких разговорах Метемпсихоз и Пчелкин провели время до семи часов вечера. Ученый квартальный запивал каждую латинскую фразу глотком чаю, как бы для того, чтобы смочить и согреть свое горло после произнесения холодных и сухих звуков мертвого языка римлян; а добрый Тимофей Анкудинович в то время прихлебывал из своей чашки, будто в знак согласия со словами Метемпсихоза.

Между тем Катя что-то необыкновенно суежилась у себя в комнате. Прежде всего она написала какую-то маленькую записочку, которую бросила за окошко в то время, как под ним проходил некто, завернувшись в шинель; потом начала рыться в своих ящиках, разбирала свои платья, некоторые из них откладывала особо на стул и вообще казалась очень встревоженной. Иногда посреди этих хлопот она останавливалась, складывала руки, взглядывала на небо и вздыхала. Уста ее шептали невнятно слова, между которыми чаще всего слышалось слово «папенька»; на глазах пробивались слезы. Наконец она села и задумалась. Мы сейчас объявим причину ее хлопот.

Александр, избранный Катина сердца, не видя возможности с согласия старика Пчелкина получить руку своей любезной, решился предложить ей побег. Катя сначала не хотела слышать об этом: ее ужасало непослушание воле родительской. Но Александр умел представить такие убедительные доводы, умел так ясно доказать, что побег есть одно для нее средство избавиться от замужества за Метемпсихоза, просил так нежно, умолял так пламенно, — что Катя наконец стала колебаться. Сердце ее было совершенно за Александра. Она не могла найти в своих мыслях ни одного сильного против него возражения, вздыхала, плакала, просила, чтоб он оставил свое предприятие, и наконец — согласилась. Решено было, чтобы в ту самую ночь,

¹ Гораций. Оды; I, 4, 15—16. — *Ред.*

в которую Метемпсихоз без их ведома распорядился поймать привидение, они обвенчались и на другое утро явились к отцу просить прощения. Александр не осмелился княгиню сделать участницей своей тайны, но он надеялся, что когда дело будет кончено, княгиня не откажется быть предстательницей за них у оскорбленного отца, и эта надежда немало ободряла милую Катю.

V

Вот наконец стенные часы Метемпсихоза ударили восемь. Никодим Аристархович надел по форме треугольную шляпу, вышел на двор, обозрел с важным видом собравшихся там пожарных солдат, пересчитал их и назначил, кому где быть в карауле. После этой церемонии, которая во мнении нашего ученого квартального заменяла развод, он сказал своим солдатам пароль: «Виргилий и привидение», поднес им по чарке водки и, отступив на несколько шагов, произнес следующее: «Квириты... друзья! хочу я сказать. Наконец приспела решительная минута; мы готовы выступить против чудовища, которое нарушает спокойствие мирных граждан сего квартала. Мужайтесь, квириты, то есть друзья! Мужайтесь, говорю вам! Ибо Квинт Курций, в шестой книге Александра Македонского говорит устами знаменитого полководца, что легко победить врага уstraшенного, коего ум смущен. Я даю вам слово, квириты, что мы победим, возьмем, уничтожим мнимого духа. Ура! идите на поле чести!»

С этими словами Метемпсихоз хотел вынуть из ножен свою шпагу, но она не вынулась, несмотря на все его усилия и гримасы. Оставив бесполезный труд, он велел дать солдатам еще по чарке, которые действовали на них гораздо лучше всех воззваний, и потом расставил лично все караулы, а сам воротился домой, приказав, чтоб ему немедленно донесли, когда лишь только появится привидение.

Но время приближалось уже к полуночи, а привидение еще не являлось. Никодим Аристархович начинал уже те-

рять терпение и отчаиваться в успехе. Он осмотрел свои караулы, разбудил и побранил большую часть солдат, потом пришел опять домой, взял Цицерона, стал читать... однако мысли его были так расстроены, что он ничего не понимал в латинском витии, а мундир казался ему так тесен и беспокоен, что он никак не мог хорошенько усесться. Чтобы привести себя как физически, так и нравственно в лучшее положение, он вытащил из-за кровати бутылку с настойкой, выпил, скинул мундир и галстук, надел свой спальный колпак, подвинул свечку к постели и, взяв книгу, лег. Несколько страниц на этот раз были прочтены как должно; но скоро глаза Метемпсихоза стали пробегать по буквам без всякого участия в том умственной его силы; скоро буквы начали двигаться и выходить из своих мест, скоро они задернулись туманом, сквозь который полузакрытые глаза Метемпсихоза ничего уже не могли видеть, кроме какой-то смешанной пестроты. Потом рука Никодима Аристарховича, держащая книгу, начала тихо опускаться, книга из нее выпала; он вздохнул — и заснул.

Совсем другое происходило в это время в жилище старика Пчелкина.

Катя была уж похищена: Александр, в половине двенадцатого часа, оставив коляску в другом переулке, прокрался мимо спящего караульного под окном ее комнаты, и милая преступница, услышав условленный знак, вышла за ворота. Ничто не мешало побегу любовников, благоприствуемых темнотою ночи. Они благополучно прошли переулок, повертели за угол, но здесь поставленный Метемпсихозом солдат поразил их восклицанием: «Кто идет?»

Катя испугалась, Александр также. Впрочем, не подозревая особенного, молодой человек тотчас успокоился и, ободряя свою подругу, продолжал идти с нею вперед, как вдруг окликавший солдат грозно загородил им дорогу и требовал от них пароля.

— Какой тебе пароль? — сказал Александр с удивлением.

— Да такой пароль, какой надобно, — отвечал солдат, — без пароля никого не велел пускать надзиратель.

— Что это за новость?

Между тем Катя чуть не умерла от испуга, подумав, что Метемпсихоз нарочно расставил своих часовых, узнав как-нибудь о их намерении — скрыться. Так совесть начинает упрекать невинную душу в самую минуту первого ее преступления.

— Этого быть не может, — говорил Александр своей невесте. Отчего Метемпсихозу узнать то, что кроме нас двоих никому неизвестно? — Но, послушай-ко, приятель, — сказал он, обращаясь к солдату и опустив руку в карман, — вот здесь у меня есть пароль, который, верно, не оставит в тебе никакого сомнения.

Он вынул несколько серебряных денег и, отдавая их часовому, сказал:

— Теперьпустишь ли?

Солдат улыбнулся, и, сколько можно было различить в темноте, на лице его ясно выразилось и желание получить деньги, и боязнь наказания.

— Оно бы так, ваше благородие, да все будет неладно. Надзиратель сказал, что тому и на свете не жить, кто пропустит кого-нибудь без пароля.

— Ну, полно же! Вот тебе к прежнему паролю еще другой.

— Нет, ваше благородие: право, боюсь. Ну, если вы с барыней та самая чертовщина, которую велено нам поймать?

— Какая чертовщина? Что ты за вздор говоришь?

Солдат начал было объяснять Александру, в чем дело, но Катя, догадавшаяся о всем и дрожавшая, как голубка, предупредила неискусного рассказчика и просила Александра или идти вперед и уехать, или проводить ее обратно домой.

— О нет! все, кроме последнего, — сказал Александр, — мы сделали уже слишком много, чтобы оставить предприятие наше. Поздно. Надобно во что бы то ни стало кончить его. — Слушай, приятель, пускаешь ли нас за деньги? не то я управлюсь иначе. Вот тебе еще и еще; это такие ясные пароли, как солнце.

— Право, ваше благородие, радым бы радехонек, да неравно...

Но Александр не дал ему кончить и, оттолкнув его в сторону, быстрыми шагами пошел вперед, увлекая за собой Катю, которая плакала и была готова пожертвовать всем, чтоб воротиться под родительскую кровлю.

В самое это время раздался в переулке ужасный крик. «Здесь, здесь, вот оно! держи, держи, хватай его!» — вопили многие голоса. Несколько человек бежали навстречу нашим любовникам. Александр хотел еще удвоить шаги, но Катя решительно потеряла силы; он хотел взять ее на руки, но она упала. Два пожарные солдата подоспели к ним на эту пору.

— Вот и тут какие-то привидения, — сказал один из них своему товарищу. — Бери и веди их на надзирателей двор.

VI

Надобно рассказать причину этой суматохи и тем кончить нашу историю.

Во время спора, который произошел у Александра с солдатом, один из часовых подошел к другому и, толкая его, сказал:

— Трофимов, проснись! Ведь надзиратель-то правду сказал, что ходит какой-то дьявол. Вон видишь, подле калитки диаконовой шевелится что-то белое. Я стоял на своем месте и обоими глазами видел, что это мертвец в саване; да побоялся идти к нему. Хочешь ли, пойдем вместе?

— Вот те на! а я что за выскочка! Будет и того, что караулили. Ведь это не с туркой и с французом возиться. Басурмана как раз на штык, а нечистый-то и тебя так скорючит, что прости господи. Нет, брат Иванов, спасибо.

— Ну что ты мелешь? Иное дело французы: про них правду или неправду говорят, будто они также крещеные. А турка-то ведь нехристь, тот же дьявол, а ты, бывало, не трусил.

— Нет, Иванов, не пойду. Что прибыли отдать душу без покаяния.

— Да глупая ты башка! двух смертей не будет, а одной не миновать.

— Нет нужды. Пускай я умру как следует доброму русскому человеку, не у черта в лапах.

— Вот еще какие разборы! Через богадельню или через что другое, все равно попадешь на том свете туда, куда на роду написано. Полно же, не упрямясь, Трофимов; а мне, сказать правду, куда хочется посмотреть, что это за диво такое черт, про которого нам, бывало, рассказывал барабанщик... помнишь?

— Да где он?

— Вон, вон, видишь, белеется? пошел влево. Скорей, Трофимов, ну, с Богом!

Они в самом деле перекрестясь выступили в поход. К ним присоединились еще три солдата, стоявшие на другой стороне переулка и также заметившие привидение. Между тем это таинственное существо медлительными и важными шагами двигалось мимо жилища Тимофея Анкудиновича, как бы не замечая или презирая устроенный против него замысел. Когда оно проходило мимо одного окошка, в котором горела свеча, то блеск ее, отразившись на бледном его челе, представил опять то страшное зрелище, которого за несколько времени перед этим временем так испугался старик Пчелкин. На этот раз он не мог быть испуган, потому что занимался совсем другим предметом. Он слышал тихий скрип калитки при выходе Кати и, желая узнать, кто так поздно входит к нему на двор или выходит оттуда, встал с постели. Проходя мимо комнаты Кати, старик заметил в полурастворенную дверь, что ее там нет. «Куда же она девалась?» — подумал он, обошел все уголки в комнатах и не нашел нигде своей дочери. «Настасья, — сказал он, разбудив спавшую в кухне работницу, — не видала ли ты Катерину?» Настасья отвечала, что не видала. «Катя, Катя, где ты?» — кричал он, ходя из одной комнаты в другую; но Катя ниоткуда не подавала голоса. Не зная, что делать, и начиная подозревать истину, Тимофей Анкудинович вышел за ворота в то время, как за углом его дома происходила сцена между привидением и солдатами. Эти люди, хотя твердо решились поймать черта, однако дрожали и толкались от ужаса. Привидение, сделав несколько

шагов, воротилось к окну, в котором горела свеча; остановилось, устремило свой мутный, неподвижный, безжизненный взор в окончину и не шевелилось ни одним членом.

— Ну, ну! — шептал Иванов, толкая в бок стоявшего возле него по правую руку товарища.

— Начинай ты, а я за тобою, — отвечал товарищ.

— Трофимов, начинай-ко с Богом! — сказал Иванов другому солдату, находившемуся у него с левой стороны.

— Нет, брат, тебе знакомее эта дьявольщина.

— Эх, трусы! смотрите же!

С этими словами Иванов сделал два шага вперед, но в ту же минуту отскочил на четыре назад, потому что привидение обернулось и пошло вдоль переулка.

— Что же, удалая голова? или не с той ноги выступил? — говорили товарищи Иванова, смеясь потихоньку.

— Разве не видите, — промолвил один из них, — что Иванов забыл перекреститься, так воротился, чтоб сотворить крест.

— Нет, у него, видно, в глазах зарябило, — сказал другой.

— Он думал, что нечистый будет стоять смирно и поддастся ему, да еще и поклонится, — прибавил третий.

Все это ужасно кололо самолюбие Иванова. «Чтоб у вас языки отсохли, злые пиявицы! — ворчал он сквозь зубы. — Ну да, хорошо же! узнаете, каков я».

— Ребята! — произнес он, отойдя немного, — вы надо мной смеетесь? Нет нужды. Кто из вас молодец, тот от меня не отстанет!

Иванов перекрестился и, бросившись вслед за привидением, догнал его и схватил.

— Стой, проклятый! Да воскреснет Бог и расточатся врази его! Говори человеческим голосом, веруешь ли ты в Бога?

Привидение встrepенулось; белое покрывало его упало.

— Ну, ну, нечистая сила! — кричал Иванов. — Покоряйся! а не то как раз перекрещу!

И с этим последним словом Иванов занес уже руку, чтоб положить на чудовище знамение креста.

Прочие солдаты, ободренные подвигом Иванова, поспешили к нему на помощь. Раздался ужасный крик: «Здесь, здесь! держи, хватай его!» Самые отдаленные караульные слышали эти вопли и отвечали им своими громкими голосами. Сделалась общая суматоха; все бежали к Иванову и к его чудному арестанту. Робость исчезла; всякий смело хватался за костлявые руки и плеча страшилища, которое между тем стонало и произносило какие-то невнятные слова, которых нельзя было разобрать посреди всеобщего шума.

— Тащи его на двор к надзирателю, — сказал наконец Иванов с торжествующим видом.

— Ладно! — отвечали другие солдаты, и через несколько секунд чудный арестант был уже на дворе Метемпсихоза, где Катя, лишь только его увидела, то вскрикнула с видом изумления: «Что это значит? как это случилось?»

— А, Катерина Тимофеевна, и ты здесь! — произнес голос старика Пчелкина, расталкивавшего солдат и подходившего к своей дочери. — А это что значит? Вы, Александр Федорыч... какими судьбами!..

— Наконец с вами должно объясниться, — сказал Аполлонский, скрывая свое замешательство и беря у Пчелкина руку.

— Папенька! — говорила Катя, осыпая эту руку поцелуями и роняя на нее крупные слезы.

— Постой, постой, — отвечал Пчелкин, вырываясь от Александра и Кати и теснясь опять в толпу, скрывавшую арестанта. — Вот, насилу-то поймали это дьявольское наваждение! Да где же Никодим Аристархович? Послушайте, братцы! Где же Никодим Аристархович?

Он пробрался в середину и, взглянув на лицо арестанта, ахнул:

— Нет, нет, — говорил он, протирая глаза, — не верю, это все штуки врага рода человеческого.

— Какие штуки? — с усмешкой сказал один из солдат, тот самый, который не взял от Александра денег. — Тут нет ничего шутовского; а просто: ловили черта, поймали квартового. Вот и все.

Страшилище, привидение, черт — все это было в самом деле не что иное, как сам высокопочтенный Никодим Аристархович Метемпсихоз, задушевный друг Пчелкина, нареченный жених Кати. С помощью докторских познаний Александра загадка объяснилась тем, что Метемпсихоз был лунатик, и как, сверх того, лунатик влюбленный, то обыкновенная ночная прогулка его была под окном Пчелкина и в его сад, куда вела от него калитка.

— Неужели, Тимофей Анкудинович, вы и теперь еще думаете отдать вашу дочь за Метемпсихоза? — сказал Александр старику Пчелкину.

— Ну уж, нечего сказать, Александр Федорыч, — отвечал Пчелкин, — я от роду своего так не трусил, как в тот раз, как этот проклятый латыш (чтоб ему провалиться!) устави́л свою харю ко мне в окно, или когда он попался мне ночью на дворе.

— Об этом мы поговорим в другой раз, почтенный Тимофей Анкудиныч, но теперь сделайте милость, решите, неужели что и после того, что случилось в эту ночь, вы не согласитесь меня назвать своим сыном?

— Папенька! — повторяла между тем Катя, нежно пожимая его руку.

— У меня вся кровь застыла, — продолжал Пчелкин, — душа хотела вон выскочить! Расскажу завтра в палате все это происшествие.

Но завтра, как говорит предание, Пчелкин не был в палате, потому что в двенадцать часов утра княгиня Ксения Львовна приехала к нему с Александром и в звании посаженной матери благословила Катю на давно желаемый ею брак. Через две недели Катя и Александр приехали к княгине с свободным визитом. Княжны лукаво смотрели на молодую. Она была в замешательстве. После они долго шептались.

ДРУЖЕСКИЙ «ДАГЕРРОТИП» СЕМЬИ МАЙКОВЫХ

**В. А. Солоницын
ТАК ОНИ НАНЯЛИ ДАЧУ!**

Господа сочинители повестей делают большую ошибку, когда начинают рассказ прямо описанием действия, не предупредив читателя, где оно происходит и что за люди действующие лица. Подобное начало обличает в авторе отсутствие всякой аккуратности. Чтобы не подвергнуться такому упреку, мы начнем свою повесть очертанием места и лиц.

Дело идет о небольшом деревянном доме — там, где-то за Лиговкой, на самом пороге Петербурга, возле гнилого забора и топкого пустыря, «в местах, напоминающих сельскую природу», — говорила Надежда Федоровна.

Вообразите себе комнату довольно просторную, даже и очень просторную, но загроможденную до такой степени множеством разных ширм, цветочных перегородок, маленьких черненьких столиков и других мебели, что между ними трудно пройти, как между стокгольмскими шкерами.

В этой комнате, на диване, обложась девятью подушками и спрятав под себя одну ножку, сидела дама в чепце, который она сама сделала в то же утро. Перед нею на столике было складное зеркало, подле зеркала какие-то исписанные бумаги, а на бумагах чернильница с загустелыми чернилами и выпачканными перьями. Картина дополнялась полдюжиной начатых книг и неконченных рукоделий, раскиданных в живописной небрежности около упомянутой дамы. — Эта дама Надежда Федоровна, хозяйка дома.

Вокруг нее, на креслах и стульях различного вида, устройства и величины, помещалось трое молодых людей

от семнадцати- до двенадцатилетнего возраста, каждый с книжкой в руках; но читал ли кто из них свою книжку, об этом нельзя судить по наружности: только то верно, что у каждого нос был очень плотно прилажен в самый шов книжки. — Это хозяйские дети — Леонид, Валентин, Всеволод.

От времени до времени в комнате являлся и исчезал человек в замасленном архалухе, без галстука и с небритой бородою. Он, по-видимому, не обращал большого внимания на то, что вокруг него делалось; войдя в комнату, он равнодушно останавливался перед сидящими или сам садился верхом на стул и через несколько секунд опять уходил, напевая громко и жалостно какое-нибудь одно слово, по большей части последнее из тех, которые были при нем сказаны. — Это Павел Иванович, муж Надежды Федоровны, но не хозяин дома.

Наконец, тут было еще одно лицо, человек с наморщенным лбом, с сигарой во рту, в широком и длинном байковом сюртуке с огромными костяными пуговицами. Он сидел важно, раздувшись, как будто готовился произнести приговор над вселенною. — Это Лука Тихонович, приятель семейства.

Павел Иванович и Надежда Федоровна принадлежали к числу людей, какие редко встречаются в обществе. Надежда Федоровна особенно отличалась добротою души: у нее был род болезни одолжать всякого, и часто она брала на себя или навязывала другим такие хлопоты в пользу какого-нибудь жителя Камчатки или Барабинской степи, что ни ей, ни друзьям ее — было невмочь. За всем тем, имел ли кто надобность до высших властей, хотел определить детей своих в учебное заведение или выписать из Петербурга дамский чепчик, Надежда Федоровна была готова услужить каждому и жестоко гневалась, когда говорили, что одного ее доброго мнения о человеке еще не довольно для того, чтобы он был прав в своей тяжбе; что попечения о детях — по всей справедливости принадлежат не посторонним, а их родителям; и что делать в Петербурге покупки для провинциалов — значит добровольно напрашиваться на неприятности из-за какого-нибудь цвета, покроя, а иногда — хуже

ТАКЪ ОНИ НАНЯЛИ ДАЧУ !

ВУ W. SALTBOX, ESQ.



основа сочинителя повестей дѣлать большую ошибку, когда начинаютъ расказъ при описаніи дѣйствія, не предупредивъ читателя, гдѣ оно происходитъ и кто за люди дѣйствующіе лица. Подобное начало обитаетъ въ авторѣ отсутствіе вѣской ажурности. Этобы не подвергнуться колу цуреку, мы наклинь свою повѣсть оскотанить мѣста и лицъ.

Дѣло идетъ о небольшомъ деревянномъ домѣ — тамъ, гдѣ-то за Лиговской, на самомъ порогахъ Петербурга, возлѣ елиаго забора и теплаго пустыря, — въ маленькомъ, напольномъ жилищѣ сѣвную природу, говорила Надежда Федоровна.

Повесть В. А. Солоницына «Так они наняли дачу!»,
первый лист

того — из-за одной мнимо не сбереженной копейки. Лука Тихонович больше всех страдал от нее в этом отношении: мы до сих пор еще весьма живо помним, как она разбранила его за то, что он не взялся доставить одному приезжему довольно важное место, тогда как бедный Лука Тихонович и сам чуть-чуть держался в каком-то департаменте.

У Павла Ивановича была та же слабость: и он, подобно Надежде Федоровне, брался за все, о чем его ни просили, а порой и сам вызывался на услуги, без просьбы. Но в Павле Ивановиче этот недостаток смягчался по крайней мере тем счастливым сгибом характера, что он имел благоразумную привычку — от лени не выполнять и от рассеянности забывать свои обещания, хотя бы давал их от чистого сердца, — «с сердцем на ладони», как говорили древние.

Вообще между Надеждою Федоровною и Павлом Ивановичем было весьма много сходства, несмотря на их частые споры о вкусе некоторых блюд и взаимные улики в неаккуратности по случаю недостатка варенья к чаю у Надежды Федоровны или нечистоты пола в кабинете у Павла Ивановича. Оба они были, как сказано выше, люди до крайности добрые; оба были люди умные, высоко ценившие просвещение, с любовью встречавшие каждый новый успех человеческого ума, а что всего лучше, не принадлежавшие к толпе существ положительных, этих полуавтоматов с сухим воображением и черствым сердцем, но умевшие понимать прекрасное и уважать таланты. То же можно сказать и насчет детей. Вообще все семейство носило резкие отпечатки одного характера, одинаких склонностей и привычек; но всего поразительнее в этих фамильных чертах было одно общее свойство — род какой-то задумчивости, в которую они все были погружены целый день. Бог знает, о чем они думали. Злоречивые языки говорили, будто Павел Иванович думал о разных предположениях и преобразованиях, которые иногда мешали ему заниматься настоящим делом и пользоваться готовыми выгодами жизни; будто Надежда Федоровна мечтала о каком-то идеальном мире, который возмущал ее чувствительность против мира существенного, ничуть не уступающего грезам беспокойного воображения;

и будто бы дети терялись вечно в каких-то сомнениях, останавливаясь с замешательством перед каждой новой идеей, тогда как только смелый и постоянный труд ума ведет к познанию истин, столь любопытных в их возрасте. Но так говорили одни злоречивые языки, и мы не выдаем этого за правду, будучи готовы согласиться и с тем, что задумчивость Павла Ивановича, Надежды Федоровны и детей их — была, может статься, просто рассеянность. По крайней мере нам достоверно известно, что их второй сын, Валентин, казался наиболее задумчивым именно в те минуты, когда он ни о чем не думал.

Как бы то ни было, только при рассеянности Павла Ивановича, Надежды Федоровны и детей их Лука Тихонович, друг семейства, казался им человеком чрезвычайно дельным и основательным. У Надежды Федоровны валялось множество начатых работ; Павел Иванович считал на душе своей несколько брошенных предприятий; дети также редко выдерживали принятое намерение, хотя бы им напоминали о нем по десяти раз каждые сутки; напротив того, Лука Тихонович ничего не оставлял без конца, потому что почти ничего не начинал; он жил очень однообразно, потому что не любил тревожить себя никакими переменами; он никогда не изменял своему слову, потому что никогда не давал обещаний; он был точен во всех мелочах, потому что не занимался ничем важным, — и вот Надежда Федоровна, Павел Иванович провозгласили его образцом аккуратности, тогда как аккуратность их друга, сказать по совести, была еще очень не верная гипотеза, требовавшая сильного подтверждения.

Не говоря о других промахах, о которых знала только щекотливая душа самого Луки Тихоновича, довольно указать на один, подмеченный и Надеждой Федоровной. Это вечный промах в его хозяйстве. Лука Тихонович был обеспечен как нельзя лучше, вел жизнь самую скромную, но между тем у него не было никогда ни гроша в запасе, и послушали бы вы, как Надежда Федоровна бранила бедного Луку Тихоновича за эту нерасчетливость! Бывало, он вертится перед ней, словно пойманный бес перед монахом; но

Надежда Федоровна, однажды заняв позицию, с которой могла обстреливать Луку Тихоновича, неохотно прекращала убийственный огонь своего дружеского негодования и, отделив Луку Тихоновича за небрежность к хозяйству, начинала потом упрекать его в гордости, в эгоизме, в нечувствительности, в мелочности. «Вот, например, мой сын Валентин, — говаривала она, — этот мальчик имел решительную склонность к поэзии, но вы, суровый мужчина, своею холодностью убили в нем дарование. Вы не понимаете ничего прекрасного; вы, например, не хотите ехать в поэтическую Италию, а собираетесь в Константинополь, где живет бестия турка; вы пристращаетесь вечно к каким-нибудь пустякам, тратите время и здоровье на мелочи; просиживаете целые дни, отыскивая происхождение какого-нибудь немецкого князька; сшиваете в одну тетрадь все письма, которые к вам пишут, или стоите с утра до ночи с удочкой...». И при этом случае Надежда Федоровна, по обыкновению, весьма живописно и выразительно представляла в лицах, как Лука Тихонович стоит с удочкой, вытянув шею и руку. Но этого еще мало: послушать все, что она иногда приписывала своему приятелю, так он выходил такой злодей и глупец, какого земля не производила. Должно заметить, однако ж, что и ей в свою очередь доставалось от неучитового Луки Тихоновича, который, как, бывало, примется уличать Надежду Федоровну в рассеянности, неаккуратности, нетерпеливости, так она сердится, сердится, а потом и заплачет. Впрочем, эти побранки никогда не поселяли между ними решительной ссоры; напротив, при некоторой смелости в умозаключениях можно полагать, что они служили доводом их взаимного доброжелательства и едва ли не навязывали новых узелков на их дружбе; по крайней мере Лука Тихонович сам несколько раз нам признавался, что он, разруганный, любил Надежду Федоровну еще более, чем обласанный. — Что касается до Павла Ивановича, то он не мешался в их споры, приняв, кажется, за первое правило хранить со всеми постоянный мир. Жаль этого очень! мы с Лукой Тихоновичем держимся той теории, что брань есть единственное человеческое средство дружить.

Теперь, когда читатель знает, с кем он имеет дело, мы приступим к повествованию.

— Вы говорите вздор, — сказала Надежда Федоровна.

— Позвольте, — возразил Лука Тихонович, — во-первых...

— Во-первых, я не хочу вас слушать.

— Слушать или не слушать, это ваша воля. Я полагаю, что вы ничего бы и не услышали, потому что я уж не хотел ничего сказать.

— Как глупо! Скажите лучше, где вы сегодня закапались и почему не пришли к нам обедать?

— Потому что...

Но прежде надобно объяснить с читателем о произнесенном Надеждою Федоровною слове «закапались». Это слово — как бы вам растолковать? — оно все равно, если бы Надежда Федоровна сказала: «пропали», «увязли», «затерялись» или что-нибудь в этом роде. «Закапались» на ее языке значило именно то же самое. У нее, изволите видеть, при всей ее образованности, было несколько любимых слов чрезвычайно странного качества, которые придавали много оригинальности ее речи.

— Потому что я обедал дома, — отвечал Лука Тихонович.

— Еще глупее! — возразила Надежда Федоровна. — Так приходите завтра: у нас будут макароны.

— Поэтому-то я и не приду: мне нездоровы макароны.

— Так послезавтра.

— Начиная с послезавтра я буду очень занят и не могу прийти.

Надежда Федоровна замолчала, но через несколько минут у нее на глазах показались слезы.

— Что это значит, Надежда Федоровна?

— Ничего.

— Как ничего! вы плачете?

— Нет, это так. — Я не знаю, что у вас за неделикатная манера. Вас дружески зовут обедать, а вы, словно обухом по лбу, отвечаете — «нет!» Почему бы не сказать «постарюсь» и потом не прийти, если вам некогда.

— Потому-то я и не сказал «постараюсь», что меня зовут дружески. Впрочем, ежели вам угодно, вперед я буду вас обманывать.

— С вами не сговоришь.

— А мне кажется, с вами.

— Вы привязываетесь к словам.

— Я понимаю каждое слово в том смысле, как оно обыкновенно употребляется. Виноват ли я, что вы составили себе особое понятие о смысле некоторых слов и говорите иногда не то, что хотите сказать?

Надежда Федоровна сделала знак головою.

— Что вам угодно? — спросил Лука Тихонович.

Надежда Федоровна повторила знак.

— Этого я уж и вовсе не понимаю, — сказал Лука Тихонович.

— Ах, Боже мой! как это скучно! Неужели вам надо всякое слово читать по складам! Придвиньте скамейку, — прибавила она, расставляя слоги.

Лука Тихонович наклонился за скамейкою, но второй сын Надежды Федоровны, желая избавить его от труда и услужить своей маменьке, поспешно вскочил, увлек за собой коврик, лежавший возле него на столе, и рассыпал все, что было на этом коврике: он был удивительно ловок. Принялись подбирать рассыпанное. Чтобы загладить немножко свою беду, Валентин вздумал помогать и поднял стул, под который закатились иные вещи. Между тем Лука Тихонович, не отличавшийся большой быстротой движений, только лишь в это время успел благополучно вытащить из-под дивана скамейку для Надежды Федоровны. Выпрямляясь, он, за неимением глаз на затылке, ударился спиною об стул, который Валентин держал прямо над ним, смотря между тем в сторону. Стул выскочил из Валентиновых рук, упал на Луку Тихоновича, зацепил за цветочную перегородку и вместе с нею опрокинулся на этажерку, в которой с большим вкусом, рукою самой Надежды Федоровны, представлен был фарфор и хрусталь. Все попадало, запрыгало, зазвенело; Надежда Федоровна в отчаянии; старший сын ее вынул нос из книги и разинул рот; Лука Тихонович почесы-

вал спину и голову; а Павел Иванович, пользуясь этим удобным случаем, начал блистательно развивать свою любимую теорию, по которой посуда, всякая домашняя утварь и даже многие вещи из платья — признавались сущою прихотью. «Видишь, — говорил он жене, — сколько тут потеряно денег! а отчего? оттого что ты, сама не знаешь за чем, накупила этого хламу! Долго ли мне твердить, что гораздо приятнее и дешевле брать чай, кушанье и все — из трактира? тогда не нужно ни чашек, ни тарелок, ни стаканов: все оттуда же принесут, да и чай, и кушанье — несравненно вкуснее домашнего!»

Но мало-помалу спокойствие восстановилось.

— Завтра двадцать первое февраля, — сказал тогда Лука Тихонович, с особенно важным и глубокомысленным видом.

При этих словах Павел Иванович встал и пошел, запев: «Фе-е-ев-раля! фе-е-е-ев-ра-ля!»

— Так что ж — двадцать первое февраля? — спросила Надежда Федоровна.

— Как что ж! а вы хотели нанимать дачу.

— Но мы переедем на дачу не раньше мая месяца.

— Потому-то я и говорю о ней в феврале. Если вы станете искать дачи в мае, так, разумеется, ничего не найдете.

— Ох, уж вы с своей аккуратностью! Ну кто теперь нанимает?

— Люди, которые хотят нанять.

В это время Павел Иванович опять пришел в кабинет Надежды Федоровны, лег на кушетку и с каким-то особенным жаром, с особенною живостию начал петь: «Ко-то-рый! ко-ото-о-орый!» Но слова Луки Тихоновича привлекли его внимание, и он тотчас пристал к его мнению, что ежели нанимать дачу, так надо теперь же о том позаботиться. Надежда Федоровна, после нескольких возражений, должна была уступить, и наконец общим советом назначено ехать завтра, в восемь часов утра.

— Куда прикажете нанимать лошадей? — спросил человек.

Все взглянули друг на друга, потому что об этом еще никто не подумал. Павел Иванович, следуя старинной привычке, стал упрекать Надежду Федоровну, что она не умеет ничем распорядиться; та, в свою очередь, упрекала своего супруга в рассеянности; дети обратились с вопросами к Луке Тихоновичу; а Лука Тихонович, чтобы вывернуться из промаха, в котором и он был виноват наравне с другими, отвечал, будто бы он потому не говорил о месте дачи, что считал это давно уже конченным.

Впрочем, выбор места тянулся недолго, так как трудно было удовлетворить всех присутствующих, из которых каждый требовал от дачи чего-нибудь особенного, например: Павел Иванович — рыбы, которая бы шла на удочку, Надежда Федоровна — грибов и прекрасных видов, а дети — ягод, то решились последовать совету Луки Тихоновича, который, не ручаясь за рыбу, грибы, прекрасные виды и ягоды, уверял, что всего лучше жить в окрестностях Ораниенбаума, «ибо там, — присовокупил он, нахмурившись, что весьма шло к его байковому сюртуку, — там высокое и сухое место».

— Послушай, Лука Тихоныч, — сказал тогда Павел Иванович, — у меня есть к тебе просьба.

Лука Тихонович, который от всего сердца любил семейство рассеянных, взглянул радостно на Павла Ивановича и спросил:

— Что такое?

— А вот что, — отвечал тот, — ежели мы найдем дачу, так надобно будет хорошенько осмотреть все удобства и неудобства. Поезжай же, пожалуйста, с нами, чтобы нам сделать дело поаккуратнее, а то Надежда, того гляди, что-нибудь просмотрит.

— Да, Лука Тихоныч, — подхватила Надежда Федоровна, — Павел Иванович исконибе очень беспамятлив и наивно чего-нибудь недоглядит: так уж поезжайте, пожалуйста, с нами.

Выслушав эту обоюдную просьбу, Лука Тихонович нахмурился еще пуще прежнего, скрылся в огромном облаке

табачного дыму и оттуда, как Юпитер сквозь громовые тучи, сказал: «Очень хорошо-с».

На другой день, еще не было шести часов утра, он, в своем байковом сюртуке, нагруженный сигарами и огнедобывательными снарядами, зазвонил в колокольчик у дверей Павла Ивановича. Там все спало. Испуганный слуга отступил шага на три, увидев перед собой такого раннего гостя.

— Неужли у вас еще спят?

— Почивают-с.

— А ехать?

— Господа говорили — в девятом часу, а теперь, я чаю, только четвертый.

— Нет, уж не четвертый, а шестой, — возразил с негодованием Лука Тихонович, — пора собираться.

Он прошел в детскую и перебудил всех детей. Понемногу движение проникло до спальни; Павел Иванович вскочил и велел готовить чай; Надежда Федоровна также проснулась и, не вставая с постели, раздавала приказания, от которых девочка, служившая при ней на побегушках, едва не переломала ног. Таким образом пролетело неприметно более часа; Лука Тихонович ворчал, наполняя детскую удушливым дымом сигары; дети перешептывались, браня Луку Тихоновича за ранний приход и за дым. Наконец подали самовар и кофейник: Надежда Федоровна принудила себя встать и вышла в гостиную, Лука Тихонович прибыл туда же, и лишь только они увидели друг друга, как закричали в один голос:

— Помилуйте, Надежда Федоровна!

— Помилуйте, Лука Тихоныч!

— Можно ли так поздно вставать, когда собрались ехать!

— Вы, верно, с ума сошли, что всполошили нас ни свет ни заря!

Этот спор не помешал, однако, Надежде Федоровне трудиться над разливанием чаю и в то же самое время прилаживать на голове чепчик, помыкать упомянутой выше девочкой и записывать для памяти, что надобно осмотреть и о чем условиться при найме дачи. Она так привыкла к побранкам с Лукою Тихоновичем, что могла очень свободно

бранить его и заниматься своими делами. — Вдруг растворилась дверь: вошел Павел Иванович.

— Я готов! — сказал он.

На Павле Ивановиче был вчерашний архалух, картуз и перчатки; галстуха не было.

— Помилуй, батюшка! — возопила с отчаянием Надежда Федоровна, увидев его в этом домашнем костюме, — ведь может быть, тебе придется сходить к хозяевам дачи, к порядочным людям: как же ты им покажешься в своем масляном архалухе?

Павел Иванович стоял задумавшись и не слушая, что ему говорят; но Надежда Федоровна между прочим помянула о галстухе: это слово случайно повисло на крючке его слуха; он запел: «Галс-галс-тух! га-а-алстух!» — и ушел из комнаты.

Когда он вышел, Лука Тихонович с сардонической улыбкою посмотрел на Надежду Федоровну и произнес: «Гм!»

— Ну что вы на меня смотрите? — спросила она сердито.

— Удивляюсь, какими вы занимаетесь пустяками, — отвечал тот хладнокровно.

— У вас все пустяки! А кто же позаботится о хозяйственных принадлежностях для будущей нашей жизни за городом? не вы ли, добрый хозяин?

Лука Тихонович почувствовал всю горечь этого намека и отвечал со смирением:

— Разумеется, в хозяйстве я не большой знаток, Надежда Федоровна; однако ж послушайте, что я вам предложу: передайте мне свою записочку, и как станем осматривать дачи, то думайте сами только о местоположении, а я уж займусь всем прочим, чтоб избавить вас от скучных разговоров и беспокойства.

С этими словами Лука Тихонович взял записку Надежды Федоровны и прочел в ней по порядку следующее: «Насчет сливок; грибы; простокваша; есть ли в роще фиалки?» — и так далее.

Тут воротился Павел Иванович в сюртуке и галстухе. Человек пришел с докладом, что лошади готовы. Надежда

Федоровна тотчас приказала выносить что нужно, не забыв о съестном. Через несколько минут вся компания вышла на улицу; влезли в возок, уселись, оправились, но лишь только слуга захлопнул дверцы, как открылось, что все дети без шапок. Послали отыскивать — не нашли. Надежда Федоровна, в справедливом негодовании, объявила, чтобы разини сами пошли искать свои шапки. Второй и третий сын ее беспрекословно повиновались этому приказанию; старший, по привычной лености, остался в возке, поручив одному из братьев принести его шапку. Но поиски продолжались по крайней мере с полчаса; Павел Иванович уснул на втором слоге какого-то недопетого слова, Надежда Федоровна сердилась, Лука Тихонович ворчал. Наконец, слава Богу, Валентин и Всеволод показались на ступеньках подъезда, и оба в шапках.

— А принес ли мою? — спросил Леонид.

— Принес, — отвечал Валентин и, распахнув шинель, хотел подать, но в руке его ничего не было.

— О Боже мой, что это за бестолочь! — вскричала Надежда Федоровна.

— Признаюсь! — проворчал Лука Тихонович.

Валентин в смущении стоял перед растворенной дверцей.

— Я ее взял с собой, — сказал он, — точно взял; не знаю, куда она делась.

По настоятельному требованию Надежды Федоровны Леонид наконец явил такое примерное к ней уважение и послушание, что поднялся с места и лениво полез из возка, бормоча что-то себе под нос. Оставшимся пришлось ждать еще с четверть часа, потому что Валентин забыл Леонидову шапку в таком месте, где никому не приходило в голову ее отыскивать. Но вот наконец опять все в возке; дети в шапках, Лука Тихонович с сигарою. Извозчик крикнул на лошадей, возок покачнулся, Павел Иванович воспрянул от сна и, поймав последнее слово Луки Тихоновича, запел: «По-е-ха-ли! по-е-ха-ли!».

Мы не считаем за нужное описывать все подробности переезда, в продолжение которого Павел Иванович и мень-

шой сын его почивали, Лука Тихонович жестоко курил, Надежда Федоровна красноречиво доказывала ему, что это вредно для груди, а Леонид с Валентином кашляли от сигарного дыму. — Вот наконец ораниенбаумская застава; разбуженный Павел Иванович приказал ехать прямо в гостиницу и, вошед в нее, тотчас потребовал чаю, к большому неудовольствию Надежды Федоровны, которая не могла надивиться, как можно в первом часу дня пить чай, хотя сама располагалась кушать кофе.

— А что ж дача-то? — спросил предусмотрительный Лука Тихонович, заметив, что Надежда Федоровна с своим супругом, толкуя о чае и кофе, совсем, кажется, позабыли настоящую цель путешествия.

— Дача? — повторил Павел Иванович, — мы ее найдем после чаю.

— Да где же найдем? ведь надо прежде найти.

— Ах, какие вы скучные! — перебила Надежда Федоровна. — Дайте мне сперва напиться кофе, а там и поедем искать. Уж не путлякайтесь, пожалуйста, а подите лучше похлопочите, чтобы дали сливок погуще.

Лука Тихонович отправился за сливками и при этой okazji расспросил у трактирщика, где тут в окрестностях есть отдаточные дачи. К счастью, расспросы его увенчались успехом самым блистательным: весь морской берег за Ораниенбаумом усажен дачами, как бородавками, и трактирщик говорил, что многие из них отдаются внаем. Думать нечего: все общество принялось скорее пить чай и кофе, чтобы после того пуститься в дорогу. Погода была прелестная; золотое солнце катилось по голубому небу и горячими лучами расплавляло белую одежду земли; на пригорках показывались уже черные пятна от обтаявшего снега; в воздухе разливалась приятная теплота и пахло весною. Веселые дети, обрадованные новостью своего положения и предчувствием благотворной перемены во временах года, предложили идти вперед, с тем что Надежда Федоровна, докушав свой кофе, нагонит их на дороге. Павел Иванович тотчас согласился и рассудил им сопутствовать; только маленького Всеволода не пустили идти пешком, чтобы он не промо-

чил ног, да Лука Тихонович сам уволил себя от похода, так как он с давнего времени был разбит ногами.

В версте от гостиницы возок догнал и принял Павла Ивановича, Леонида и Валентина с ним не было: они убежали вперед. Павел Иванович, усевшись в возке, предался увлекательному разговору с Лукою Тихоновичем о рыбной ловле; Надежда Федоровна бранила их за пристрастие к этой «глупой забаве» и мечтала о грибах. Все они и не заметили, что проехали уже довольно далеко, а Валентина и Леонида с ними все еще нет. Сердце матери первое отозвалось на их отсутствие. Велели остановиться; смотрят назад — никого не видно, смотрят вперед — тоже. Извозчик утверждает, что отъехали уже несколько верст, но Павел Иванович и Лука Тихонович, очарованные прелестью своей рыболовной беседы, не хотят этому верить. Спора разрешить нечем: поверстных столбов нет. Итак — где искать Леонида и Валентина? Наконец извозчик осветил мрак всеобщего недоумения, сказав, что версты две назад они обогнали молодых барчонков, которые прежде ехали в возке.

— Так что ж ты не остановился, дурачина? — вскричал Лука Тихонович.

— А мне что останавливаться! — отвечал сухо извозчик. — Они оба во все глаза на меня смотрели, как я ехал мимо, и не кричали, чтобы я стал.

Надежда Федоровна хотела тотчас воротиться, но Павел Иванович решительно воспротивился этому, говоря, что Леонид с Валентином и так не пропадут. Между тем по левой стороне дороги, на горе, давно уже виднелись разные дачи. После жаркого спора Павел Иванович убедил Надежду Федоровну вместо обратной поездки за отсталыми юношами осмотреть которую-нибудь из этих дач. Решено было идти на ближайшую. Оставили возок на дороге и пустились в путь. Разбитый ногами Лука Тихонович жестоко страдал, идучи по крутой и скользкой тропинке на гору, однако же встарабанился, как говорила Надежда Федоровна. — Но зато зрелище, которое представилось нашим странникам на вершине горы, вполне наградило их за все труды и опасности: приятный домик стоял под навесом высоких лип

и берез; далее была роща; извилистые дорожки, после нескольких поворотов, убегали в чащу деревьев и скрывались в глубине опушенного снегом леса; там и сям приветливо выглядывали из-под ветвей небольшие строения — кухня, сарай и другие службы; перед главным домиком, на стороне, обращенной к морю, был цветник; оттуда, через вершины деревьев, растущих по склону берега, открывался широкий вид моря, прямо лежал Кронштадт, левее виднелась черная точка Толбухина маяка. Надежда Федоровна, не жалея себя, пробралась по сугробам в цветник, взглянула, ахнула и не могла ничего выговорить от восхищения. За нею прошел туда же Павел Иванович; он посмотрел во все стороны и сказал, что вид будет очень хорош, ежели срубить несколько деревьев. За Павлом Ивановичем показался и разбитый ногами Лука Тихонович; он осторожно обмял под собою снег, утвердился на этом прочном основании, повел глазами по чудесной картине и произнес значительно: «Гм!» — вследствие чего Надежда Федоровна чуть не упала в обморок, потому что вид моря, по ее мнению, чрезвычайно затройлив, и надо быть ледяным существом или медведем, чтобы, взглянув на него, не прийти в упоение.

— Да впрочем, чего же от вас и ждать, если вы носите этот медвежий сюртук! — примолвила она, взглянув на Луку Тихоновича с величайшим презрением.

Между тем люди, жившие в кухне, увидели приезжих господ и какая-то женщина вышла спросить, что им угодно.

— Нанимать эту дачу, — отвечал громко и решительно Павел Иванович.

— Да не знаю, батюшка, — сказала женщина, — отдается ли дача. Никак господа сами хотели здесь жить нынешнее лето.

— Пустое! — возразил Павел Иванович. — Почему не отдать? Ступай поскорее, пришли кто у вас этим заведывает.

Женщина пошла, и через несколько минут вместо ее явился старик с двумя клочками рыжих волос на висках, с большим фиолетовым носом и с плутовскими глазами.

— Вашей милости угодно нанять дачу?

— Да... поскорее, — отвечала Надежда Федоровна.

— Дача не отдается-с, — сказал старик.

— Ну как не отдается! — возразил Павел Иванович, — дача прекрасная; почему не отдать?

— Дача отменная, — продолжал старик, — да что ж делать! господа будут сами жить нынешним летом.

— Ах, как это досадно! — произнесла с глубоким вздохом Надежда Федоровна.

— То есть, изволите видеть, — начал опять старик, — оно, конечно, и можно. Барин изволил сказать, чтобы я, пожалуй, и отдал дачу, если будут хорошие наемщики и дадут хорошую цену.

— О, так и дело с концом! — вскричал Павел Иванович, — дача за нами.

— Мы — такие-то, — прибавила Надежда Федоровна, — ты можешь об нас навеститься в Петербурге.

Старик низко поклонился и отвечал: «Слушаю-с».

— А что цена? — спросил важно Лука Тихонович.

— Последняя цена — семьсот рублей.

— Это дорого.

Лука Тихонович хотел было торговаться, но Павел Иванович, толкнув его, шепнул:

— Молчи, ради Бога! разве ты не видишь, что старик может располагать дачей по своей воле? не дразни же его.

— А что, старичок, — спросила Надежда Федоровна, — я охотница ходить за грибами: родятся ли они здесь?

— Видимо-невидимо, сударыня, такая пропасть, что в саду по дорожкам собираем.

— А есть ли у вас коровы, сливки, творог?

— Да, кстати! — перебил Павел Иванович, — скажи-ко еще, есть ли здесь рыба? можно ли ее ловить?

— Превеликое множество, — отвечал старик обоим.

— И на удочку идет? — спросил Лука Тихонович вполголоса и поглядывая на Надежду Федоровну, как будто боясь, чтобы она не услышала.

— Так и хватает! — отвечал старик.

Лука Тихонович приподнял брови, сжал губы и произнес свое «гм»; но в эту минуту Надежда Федоровна взглянула на него, и он поспешно спрятался за Павла Ивановича.

— Чудесная, бесподобная дача! — вскричала Надежда Федоровна.

— Лучше нигде не найдем, — прибавил Павел Иванович.

— Очень удобная, — заключил Лука Тихонович, высушившись наружу.

— Если бы тут были еще фиалки, так это прелесть! — продолжала Надежда Федоровна. — Скажи, пожалуйста, старичок, не знаешь ли ты, не родятся ли здесь фиалки?

— Какие это фиалки, сударыня?

— Так, беленькие цветочки. Они обыкновенно растут в рощах.

— Премножество! — отвечал старик.

— Ах, какое счастье! — И Надежда Федоровна не знала, что делать от радости, между тем как Павел Иванович осадил старика подробнейшими расспросами о родах рыбы, которая водится в море и в окрестных речках, о том, как ее ловят, и прочее. Лука Тихонович слушал с великим вниманием эту беседу; но наконец брови его нахмурились и он сказал с особенным ударением, посредством которого хотел придать более силы своим словам:

— Однако, господа, мы выпускаем из виду некоторые важные обстоятельства: надобно осмотреть сарай.

— Так уж не угодно ли начать с дома? — спросил старик, и все общество, убежденное основательностью его предложения, пошло за ним в дом, который показался Надежде Федоровне совершенно удобным, а Павлу Ивановичу не требующим более двух переделок, и то самых пустых, а именно он находил, что надобно прорубить три новых окна и перенести заднее крыльцо на место переднего, а переднее на место заднего. Впрочем, поместительность и месторасположение дома не очень занимали Павла Ивановича и Надежду Федоровну: он поминутно возвращался к своей рыбной ловле, а она беспрестанно вспоминала о грибах и останавливалась перед каждым окошком, чтоб полюбоваться прекрасными видами. Аккуратный Лука Тихонович наконец заметил их рассеянность и с истинно дружескою заботливостью сказал:

— Послушайте, друзья мои, вы увлекаетесь приятностью жизни на этой даче и забываете подумать о том, удобна ли она в хозяйственном отношении. Я согласен, что возможность ловить здесь рыбу удочкой представляет чрезвычайно важные выгоды, однако ж нельзя забывать, что это еще не удовлетворяет всех первых потребностей жизни. Оставайтесь вы здесь или пойдите осмотреть сад и пруды, а я между тем отправлюсь с стариком в сарай и на кухню, потолкую с ним, где и у кого здесь покупают провизию, как добывают воду, дрова; одним словом, я уговорюсь с ним во всех статьях, поторгуюсь в цене и даже кончу все дело, если хотите.

— Да, да! пожалуйста, кончи, — отвечал Павел Иванович. — Вот тебе и деньги на задаток, — примолвил он, вручая Луке Тихоновичу триста рублей.

— Вы нас очень обяжете, — сказала Надежда Федоровна, — только я боюсь, чтобы вы не забыли чего-нибудь по хозяйству, например... сливочное масло...

— Э, Боже мой! за кого ж вы меня принимаете? — возразил Лука Тихонович с чувством.

— Ну хорошо, не сердитесь; я верю вам. Однако ж все-таки посматривайте в мою записочку да не забудьте поторговаться: семьсот рублей — это ужасно дорого.

— Ступай, ступай! — говорил Павел Иванович, почти выталкивая Луку Тихоновича, и потом прибавил шепотом: — Ежели старик заупрямится, так давай скорее семьсот: ведь лучше этой дачи нигде не найдем.

Лука Тихонович кивнул головой и удалился. Бесполезно описывать его странствие по сараю, кухне и погребу; довольно сказать, что через полчаса он воротился к своим друзьям и еще издали поздравлял их с дачею. «Все устроено наиаккуратнейшим образом, — кричал он, — поздравляю! поздравляю!»

Павел Иванович чуть не кинулся его обнимать; Надежда Федоровна вспрыгнула от радости и ушиблась.

— А что цена? — спросила она, почувствовав боль.

— Что цена! — вскричал Павел Иванович, не давая отвечать Луке Тихоновичу, — известно, семьсот рублей!

— Неужли ж старик так закобенился, что ни копейки не уступил?

— Да, ни копейки, — сказал Лука Тихонович, — и я отдал ему триста рублей задатка.

— Дорого, — заметила Надежда Федоровна, — ну, да что делать! зато я без вас открыла здесь еще одну прелесть: посмотрите, ах! посмотрите на этот осиновый пенёк.

— Прекрасный. Однако, господа, не надобно терять времени. Поедьте скорее в Ораниенбаум пить чай.

— Дело! — подтвердил Павел Иванович.

Надежда Федоровна взглянула на них с сожалением и, пожав плечами, сказала:

— Что за прозаические люди! то и дело пьют чай. Кажется, порядочно набухтерились; а нет, опять чаю!

Все сели в возок. Надежда Федоровна посердилась немножко на Павла Ивановича, что он плюхнул на ее шляпку, которую она сняла с головы, и запатрал ее; но это не имело никаких важных последствий. Пустились в дорогу и не отъехали четверти версты, как встретили Валентина, который шел тихим шагом, загнув голову кверху и смотря на макушки деревьев.

— Что ты тут делаешь?

— А!.. Это вы?

— Ну да, это мы. А ты что?

— Я догоняю вас.

— А Леонид?

— Он давно воротился в гостиницу. Мы увидели вас, когда вы нас обогнали. Я побежал, кричал, но вы уехали. Тогда Леонид сказал, что ему не хочется идти дальше, и воротился.

Валентина посадили в возок. Разговор о даче опять сократил дорогу, и день кончился ко всеобщему удовольствию, за исключением того, что Павел Иванович и Надежда Федоровна не воспользовались привезенной из Петербурга банкой варенья, потому что Леонид, воротившись в гостиницу, съел все один: Надежде Федоровне досталось, как она говорила, самая малость, почти что каплюшка.

Теперь читателю остается узнать развязку этого анекдота. — Павлу Ивановичу кто-то сказал, что ерши необыкновенно хорошо ловятся тотчас по вскрытии вод, а Надежде Федоровне чрезвычайно желалось порвать подснежных фиялок; итак, лишь только наступила вторая половина апреля, оба они, не вникая никаким предостережениям Луки Тихоновича, который, впрочем, и сам проводил целые дни над деланьем поплавков, воскликнули в один голос: «Едем, едем на дачу!»

В два дня были кончены все приготовления; на третий, рано поутру, пришли ямские подводы; поспешно уложили на них все нужные вещи, и в десять часов этот обоз, вместе с людьми, отправился в путь, а в шестом после обеда поехали и сами Павел Иванович с Надеждой Федоровной, взяв с собою детей и Луку Тихоновича, который, не имея возможности совсем переселиться на дачу, желал по крайней мере водворить друзей своих в сельском приюте, нанятом для них чрез его глубокомысленное посредничество.

Дорога была мерзка; грязь и выбоины в мостовой потчевали наших путешественников такими толчками, что Павел Иванович ни на секунду не задремал, а Надежда Федоровна беспрестанно кричала. Один Лука Тихонович, под влиянием своего «медвежьего» сюртука, хранил стоическое равнодушие, не сердясь и на то, что сигара поминутно выскакивала у него из роту. Под Ораниенбаумом догнали обоз. Люди сказали, что у них несколько раз вся кладь опрокидывалась и много вещей переломано и перебито. Эта новость тронула экономическое чувство Надежды Федоровны, но делать было нечего. Поехали дальше, приказав не удаляться от обоза, так чтобы прибыть на дачу всем вдруг. При повороте в гору встретились новые неприятности: два воза опять чуть-чуть не опрокинулись, третий увяз, а карета стала — утомленные лошади не могли вывезти, Павел Иванович с Лукою Тихоновичем и со всеми детьми принуждены были вылезти и подниматься на гору по образу пешего хождения по колени в грязи, между тем как Надежда Федоровна кричала без милосердия, уверяя, что карета опрокинулась и летит вверх дном назад под гору на лоша-

дей и поклажу. Но это, к счастью, случилось только в пыльном воображении Надежды Федоровны: путешественники наши, хотя измученные, однако ж добрались благополучно до вершины горы и начали приближаться к домику. Первый предмет, представившийся их взорам, был какой-то пожилой господин, распорядившийся с балкона несколькими мужиками, которые носили в дом кресла и стулья. Лука Тихонович — откуда у него взялась эта прыть? — ловко подскочил к окошку кареты и сказал Надежде Федоровне:

— Посмотрите, какие исправные люди ваши хозяева: они уж убирают вам дачу. Это должен быть сам владелец имения. О! я недаром толковал с стариком и дал ему полтинник на водку! Я тогда же осмотрел всю их мебель, назначил, что внести в дом и что не вносить, велел вымыть полы и окошки и сказал, чтобы все это было готово непременно к двадцатому апреля, потому что предвидел ваше нетерпение переселиться в этот рай.

Надежда Федоровна ласково улыбнулась Луке Тихоновичу и поблагодарила его; а он, оставив окошко кареты, важно пошел вперед и, когда поравнялся с балконом, учтиво раскланялся стоявшему на нем господину, который довольно сухо отвечал на это приветствие.

— Стой! — громогласно закричал Лука Тихонович кучеру при карете. — Эй вы, обозные! держите своих лошадей! — И с этими словами он опять подскочил к каретным дверцам, отворил их, откинул подножку и сказал Надежде Федоровне: — Милости просим! имею честь поздравить на новоселье.

Они вместе поднялись на крыльцо и вошли в дом; Павел Иванович и дети следовали за ними. Проходя по комнатам, Лука Тихонович с самодовольствием окидывал глазами все наставленные в них вещи и, повторяя: «Прекрасно! прекрасно!» — подошел к господину, которого видел на балконе.

— Позвольте принести вам чувствительнейшую благодарность, — сказал он. — Это так обязательно с вашей стороны, что я не нахожу слов...

— Что вам угодно? — спросил незнакомец.

— Благодарить вас за то, что вы с такой благосклонностью приняли мою просьбу.

— Какую просьбу?

— Чтобы эта дача, которую я нанял для друзей моих, была готова к двадцатому апреля. Извините, что мы приехали девятнадцатого.

— Я вас не понимаю. Эту дачу нанял я, а не вы.

— Как вы?

— Да, я. Вероятно, вы заехали не туда, куда думаете.

— Нет, это та самая дача, которую я нанял вот вместе с этим господином и этою дамою двадцать второго февраля.

— Извините, эта дача нанята мною двадцать третьего февраля; за шестьсот рублей; вот и расписка управителя в получении от меня двухсот рублей задатка.

Тут пришел управитель.

— Что это значит, старик? — вскричал Лука Тихонович, — этот господин говорит, будто бы он нанял дачу?

— Да-с, они наняли, — отвечал старик с низким поклоном.

— Как наняли? ведь дача была отдана мне? ты взял с меня и задаток. Вот Павел Иванович и Надежда Федоровна сами ее осматривали.

Старик поклонился Павлу Ивановичу и Надежде Федоровне.

— Помню-с, их милость изволили здесь быть вместе с вами, и вы торговали дачу, да только не наняли и задатка мне не дали.

Лука Тихонович понял, что он надут; но при сделке его с управителем не было свидетелей, и он ничем не мог уличить негодяя, который воспользовался его неаккуратностью — не взять расписки. Лицо Луки Тихоновича вытянулось на целые полтора дюйма. Громкий смех незнакомца заставил Надежду Федоровну выбежать в другую комнату. Лука Тихонович кинулся за нею.

— Позвольте, Надежда Федоровна...

— Чего тут «позвольте», Лука Тихоныч! дело ясно. Уж это всегда так! если я сама чего не устрою, так и выйдет бесптолочь!

— В самом деле, какой ты дал промах! — сказал подошедший Павел Иванович.

— Это ужасно! это непостижимо! — продолжала Надежда Федоровна. — Я от роду не видывала такой неаккуратности!... А какая дача-то! И этот негодный старичишка заграбастил ее себе! — О, злодей, варвар! Не стыдно ли вам, Лука Тихоныч? Боже мой, как я несчастна!

Надежда Федоровна плакала навзрыд; батистовый платочек ее был — хоть выжми. По комнате только и раздавались, что ее всхлипывания, да порою она сквозь слезы проносила: «Что за прелестная дача!»

— Да-а-а-ча! — запел Павел Иванович, раскинувшись на диване.

— Но это не может так кончиться! — вскричал наконец Лука Тихонович в бешенстве и выбежал опять к незнакомцу. — Я надеюсь, милостивый государь, — сказал он ему, — я надеюсь, что вы, как благородный человек, уступите нам дачу, которую я нанял прежде вас.

Незнакомец захохотал.

— Мне кажется, вы нездоровы, — сказал он. — Жалею, видя вас в таком неприятном положении; но дача моя, и я не намерен никому ее уступать. Притом же и сам управитель говорит, что она отдана мне, а не вам. Послушай, старик, кому отдана дача?

— Вам, сударь.

Лицо Луки Тихоновича вытянулось еще на полдюйма.

Через несколько дней он рассказывал об этом происшествии приятелю своему Ивану Потаповичу. Тот начал бранить его за неаккуратность.

— Что ж ты бранишься? — сказал огорченный Лука Тихонович, — разве во мне уж нет ничего хорошего?

— Я этого не говорю, — отвечал Иван Потапович, — но если тебе хочется слышать похвалы, так поди на улицу и спроси у первого знакомого человека, как он про тебя думает.

РЫБНАЯ ЛОВЛЯ В ДОМАШНИХ ШАРЖАХ

**Аполлон Майков
ПОКОРЕНИЕ
СТРАНЫ СЕМИ ПАГОД ЕВРОПЕЙЦАМИ
(1839)**

Наши европейские читательницы, по милости господ романтиков, поэтов и писателей повестей, думают, что только под западным небом, на обветшалом и закоптелом материке Европы, посреди душных городов, в четырех стенах гостиных, в сердцах сжатых корсетами или обвернутых в тонкие сукна могут рождаться и бушевать страсти. Их накрахмаленное воображение не в силах представить себе, что и антеки и антиподы наши также подвергаются мучениям страстей; что и они также способны чувствовать, мыслить — может статься, гораздо сильнее и глубже, чем те образованные и благовоспитанные люди, которые кружатся по паркету под звуки Штраусовых вальсов. Мы с своей стороны смеем уверить наших читательниц, что на дикой почве Америки и в оковах неизменных каст Индии люди живут тою же самою жизнью, как и мы; что у них есть свое сердце — сердце, которое, не будучи сдавлено китовыми усами и стальными планшетами, бьется неукротимее нашего; что прихоти его бесконечны, порывы разнообразны, а следствия всего этого иногда так губительны, как мы себе и представить не можем. У нас в Европе условия так называемого образованного общества, приличия, господствующее мнение, мода, эгоизм удерживают и часто совсем пресекают развитие чувства, страсть преодолевается или получает такое направление, какое захочет дать ей рассудок, ослепление и наклонности одного человека не

всегда отражаются на других, губят только одну свою жертву. Но там, под тропическим небом, где природа является в полном блеске своего могущества, — там воображение человека горит подобно этому небу, сердце его волнуется сильнее и легче принимает дуновение страсти; там заблуждение одного губит тысячи, страсти являются в виде, ужасающем воображение, и переходят наконец в неистовство, в безумие. — Не распаленное ли воображение создало религию индийцев со всеми ее странными догматами? не оно ли породило разные нелепые поверья, секты, расколы, которые встречаются на индийских полуостровах? Где в нашей Европе найдете вы религиозные вымыслы, в которых бы воображение рассыпало такие цветистые краски, как в индийском богословии? Но в то же время это воображение, ничем не стесненное, не имеющее границ, часто являет примеры самого глупого и сильного фанатизма. Так, две секты — секта правой и секта левой руки — уже несколько столетий спорят о том, которую руку должно считать нечистой; изуверы терзают себя всеми возможными способами, полагая чрез это сделаться святыми; они верят, что со временем можно достигнуть такой высокой степени святости, что сами боги должны будут ей покориться, несмотря на свою божественность; и пр., и пр., и пр.

Как ужасный пример неограниченной власти заблуждений в Индии я расскажу теперь одно происшествие, причина которого в глазах европейца ничтожна, но там — посмотрите, какие оставила следствия!

При переезде из Пондшери в Судрас вы встречаете множество развалин древних индийских храмов. Тут находятся так называемые Семь пагод, занимавшие некогда огромное пространство земли и доныне удивляющие пришельцев великолепием своих обломков. Целые горы иссечены, и недра их обращены в храмы, где совершалось служение безобразным идолам. — Но все это опустело, везде воцарилось безмолвие и дикость; море размыло древние стены пагод и частыми наводнениями затопило целые храмы, селения и богатые жилища браминов. Люди далеко сокрылись от этих унылых мест, и в храмах, где прежде раздавались

ПОКОРЕНИЕ

страны семи пагодъ европейцами.

Аполлона Майкова.



Нашимъ европейскимъ читателямъ, по
личности господъ романтистовъ, по-
этовъ и писателей повестей, дума-
ютъ, что только подъ затмѣвающимъ на-
бѣжъ, на-обывшаномъ и зрѣющимъ лан-
рику европѣ, посреди думившаго городова, въ те-
тверехъ степныхъ гостиницахъ, въ сердцахъ са-
мыхъ корсетныхъ или обвернутыхъ въ тонкія
сухна, могутъ раздаться и буживать страсти.
Или накрапанное воссраженіе не въ сущемъ

Повесть Ап. Майкова «Покорение страны Семи пагодъ европейцами», первый лист

звуки оглушительной музыки, сопровождавшей богослужение браминов, где целые сотни тысяч нищих и жогов толпились и получали подавание за то, что они провели будто бы несколько лет без пищи и питья, в созерцании, — там остались одни страшные идолы, некоторые со множеством голов, другие со множеством рук, третьи с разными чудовищными формами. Несмотря, однако ж, на это запустение и неприятный вид статуй, нельзя не быть поражену мрачностью и громадностью пагод, нельзя не почувствовать благоговения к этим гигантским обломкам, свидетельствующим, что здесь жило некогда общество цветущее и богатое, правда, общество не такое, в каком живем мы, но все-таки достигшее значительного развития.

— Посмотрите, — говорил мне мой спутник, добрый индус, — посмотрите, как наказали боги нашу бедную страну. Сам Шива, который представлен здесь с двумя премудрыми головами и тридцатью двумя руками, из которых в каждой держит или всекарающий меч или исправительную дубину, — сам Шива послал всех своих деити, злых духов, повелев им разрушить прежние города и пагоды. Большую часть они потопили морем, и вот некоторые остатки их, лежащие в ужасном запустении. Нет больше браминов в этих храмах! прекрасные деведасси не пляшут уже вокруг прекрасных статуй! а бывало, они пели и прыгали в увеселение богов и браминов; а там толпились целые сотни цирюльников; одни раскладывали снаряды своего ремесла; другие, держа за нос, уже брили головы набожных посетителей, которые толпами стекались на моление в пагоды, но не могли тратить на себя воззрения богов, когда являлись с небритыми головами. Бывало, на этих полях волновалась зелень сорочинского пшена; там рос сахарный тростник, а здесь, в этих лощинах, куда так жалостливо нагнулись с холмов кокосовые и пальмовые деревья, в этих лощинах — о Брами! Брами! — были светлые пруды, в которых водилось множество рыбы. — Да поразит тысячекратное проклятие того, кто был причиною этого запустения! да вовек не возвратится душа его в тело! Да останется она навсегда в нечистом камне или в гнусной траве!.. Вот добрый Вишну,

едуший на змее по млечному морю; вот истуканы богини Порвати и ее потомства; вот Маммадин, бог счастливых любовников; вот грозный бог войны Картисей, едущий гордо на павлине; вот и сам Шива, вот Вайрверт... Посмотрите, какое святотатство: бывало, вокруг шеи их надевались ожерелья из человеческих голов, их брови и губы намазывались кровью, а тело и руки маслом, — а теперь многие не досчитаются и своих голов, и своих рук! Около их уж нет благочестивых поклонников, которые стирали пыль с порогов их храмов своими лицами. Бывало, здесь кающиеся грешники кружились по воздуху вокруг столбов, будучи подняты железными крюками, воткнутыми между их ребрами. Они воспевали молитвенные гимны и кидали народу деньги. Бывало, священные фадины, прожившие в уединении несколько лет без пищи и питья, ходили по горящим угольям или катались по доскам, в которые были воткнуты острые ножи. Войдешь в храм — все пусто, около тебя не прыгают святые обезьяны, которые прежде жили вместе с богами и ходили благословенными стопами своими по кровлям соседних домов; не бродит божественный бык по базарным площадям, где, бывало, к стопам его повергали все самое драгоценное, самые лучшие яства, — и счастлив был тот, к чьему дару он прикасался, а еще счастливее — чей дар он изволил откусать!.. А нынче? храмы — в развалинах; кровь и масло высохли на идолах; обезьяны с испуга убежали в леса; а священного быка — о, ужас! — съел пондишерийский губернатор.

Набожный восторг моего индуса, напомнивший мне религиозные воздыхания пророков иерусалимских, иступление, блиставшее в его взорах, и одушевление смуглого лица его — возбудили мое любопытство. Во всякое другое время и при других обстоятельствах я готов бы был смеяться над его странными понятиями о божестве и божественном; но теперь, растроганный его глубокою, непритворною горестью, я принял живейшее участие в деле. Рассказ умного индуса и мои долгие разыскания на месте, справки с индийскими историческими книгами и самое тщательнейшее соображение и проверка всех изустных и письменных пре-

даний открыли мне наконец причины падения некогда богатой страны. Кто желает знать эту плачевную и вместе наставительную историю, тот да благоволит читать дальше.

Во множестве развалин, рассеянных между Судрасом и Пондишери, недалеко от знаменитых Семи пагод находятся обломки одного храма с принадлежавшими к нему обширными жилищами удалившихся от света браминов, которые водворялись тут с похвальной целью — посвятить все свое время непрерывному созерцанию. Этот монастырь отличался особенным изяществом и великолепием индийской архитектуры. Его шпицы, рисуясь на голубом небе, далеко были видны с моря.

Общество поселившихся в нем отшельников издревле славилось по всей Индии необычайной преданностью религии и фанатизмом. Зато окрестности этого храма были усеяны множеством гостиниц, построенных кающимися грешниками, обращенными на путь истины кем-нибудь из честной братии смиренных браминов. Богач, не давший милотины <так!> толпе бедных факиров или жоггов, которые, почти нагие, перед ним кувыркались и кривлялись, как обезьяны; злодей, убивший блоху или какое другое насекомое; брамин, совершивший тяжкое преступление тем, что имел соприкосновение с каким-нибудь парией, и множество других святотатцев и преступников должны были, для очищения совести, по приговору браминов построить подобные гостиницы для благочестивых странников и посетителей их пагод. Зато, правду сказать, не проходило ни одного ни буддистского, ни магометанского, ни индийского праздника, в который бы к этим пагодам не стекались бы целые орды нищих фадынов, жоггов и других благочестивых людей, а вместе с тем множество богатых, приносивших с собою посильные дани своего милосердия пагодам и идолам. Таким образом цветущее состояние пагод поддерживалось, боги благословляли и принимали набожные моления, которые к ним были возносимы добрыми браминами и благочестивыми странниками.

Наконец в число священной братии поступил новый член, брамин, взявшийся Бог знает откуда, человек утрю-

мый и молчаливый. Безмолвно совершал он молебные обряды, почти никогда не беседовал с братией, пищи принимал мало, часто не присутствовал при трапезе, и все были готовы счесть его за святого, за человека, угодившего богам, если бы не одно обстоятельство, которое и имеет быть здесь рассказано.

Прежде всего надобно предупредить читателей, что они много погрешают против истины и плохо знают человеческое сердце, ежели думают, что только в Европе существует обычай делать каждому свои заключения о предмете неизвестном или малоизвестном и выдавать эти заключения за точную правду. Такие заключения, переходя из уст в уста и от каждых уст принимая новые приращения, новые небывальщины, образуют наконец полную историю, так что предмет сплетней выходит человеком ничтожным или опасным для общества — злодеем, убийцею, кровопийцею... чем хотите. Точно так же и в Индии. Молчаливый брамин, поселившийся в Синапурской обители, испытывал эту самую участь. В первые дни его пребывания в обители думали, что это бог Вишну, охотник до превращений, который, как доказывается несомненными индийскими преданиями, является то черепахою — для поддержания какой-то горы от падения в море, то вепрем — для того, чтобы распороть брюхо великому Паладасу, то львом, то брамином карлою, то пастухом — и наконец, почему бы ему не явиться в виде неизвестного брамина, пришедшего в Синапурское братство? Но такое выгодное мнение, внушавшее уважение к незнакомцу, скоро уступило место другим заключениям, которые казались более основательными, так как между людьми, изыскивавшими генеалогию нашего брамина, нашлись многие очевидцы и послухи, свидетельства которых считались не подлежащими ни малейшему сомнению. Любя чрезвычайно краткость, я не буду приводить всех гипотез насчет этого загадочного человека, хотя они весьма важны для всемирной истории; довольно сказать, что через несколько времени брамин, окруживший себя такою таинственностью, стал в глазах всех хуже англичанина, едва ли

не таким человеком, как бы он вышел из отдаленной страны, где есть и белое, и черное, и синее море.

Было прекрасное декабрьское утро; солнце пышно горело на волнах Индийского моря; поля, засеянные сорочинским пшеном, блистали свежеею зеленью. Совершив свои обычные омовения, благочестивые брамины синапурские сидели, поджав под себя ноги, на берегу светлого пруда, под сенью кокосов... Одни перебирали зерна своих четок и читали сквозь зубы молитвы по книгам, составленным из талипотовых и банановых листьев; другие пели стихи из Вед и Пуранов; а иные были погружены в свои обыкновенные созерцания или предавались тяжким искусствам, от которых ничто не должно было отвлекать их. Но посреди групп, которые составляли они, подобно не менее глубокомысленным и не менее созерцающим пингвинам, не было того брамина, который занимал так давно умы своих собратьев. Он сокращал обыкновенно свои обряды богослужебные и удалялся поспешно в тенистую рощу, которая росла по берегам отдаленного залива, образуемого прудом. Там осторожно вынимал он из широкого кармана складную удочку и, расположив вокруг себя в надлежащем порядке все рыболовные снаряды, надев червяка на крючок и закинув удочку в воду, стоял или — по выражению некоторых браминов — *настаивался* на зеленом берегу, ожидая иногда по целым часам, чтобы пошевелился поплавок. Вот что было его любимым занятием; лишь тогда только прояснялось его чело, глаза одушевлялись, искрились, грудь приходила в волнение; он тайл дыхание, не сводил глаз с поплавка и кружков, которые разбегались от него, когда рыба клевала червяка. Часто, забыв молитву, еду и сон, он проводил целые дни в своем занятии, до тех пор пока густые тени ночи, в странах тропических наступающей внезапно, не принуждали его бросить удочку, потому что уж ничего не было видно.

Сначала никто из братии не знал, куда удаляется брамин; все полагали, что он предается какому-нибудь мучительному и изнурительному искусству, потому что лицо приметно худело, щеки вваливались, глаза меркли. Но где нет

любопытных: за брамином нашим стали следить, подсматривать его малейшие движения, подмечать все шаги его. Скоро место уединения его было открыто, а вместе с тем открылось и то, чем он занимался. О, какой ужас распространился тогда во всем братстве! Возможно ли — брамин занимается делом, предоставленным только низкой касте рыболовов? Сколько едких насмешек и двусмысленных намеков посыпалось со всех сторон на несчастного! Уже не благоговейный страх, не уважение внушал вид его: сардоническая улыбка везде встречала и провожала бедного брамина. — Но он, казалось, не обращал на это большого внимания, потому что не реже прежнего посещал свой уединенный залив. Между тем справедливое негодование братии и там не оставляло его в покое: скоро у того самого дерева, под которым располагался он с своими рыболовными снарядами, явился какой-то искушающийся, который, привязав себя за руки к этому дереву, повис и запел стихи из Пуранов, в набожном ожидании, когда кровообращение в руках его остановится и они отсохнут. Брамин перешел на другое место; но там тоже водворился какой-то кающийся; он на третье — и там! Благочестие и набожность чтителей Брамы преследовали его повсюду, где он ни закидывал свою удочку.

Впрочем, я нарушил бы историческую точность, оскорбил бы святую истину, ежели бы сказал, что таки все, решительно все питали злобу к нашему брамину. Эта оплошность с моей стороны была бы тем непростительнее, что тогда читатели, пожалуй, могли бы заключить, будто индусы народ грубый, жестокий, склонный к преследованию ближнего — заключение столько же несправедливое, как и то, если бы кто вздумал утверждать, что европейцы честнее и добрее жителей Декана. Последствия моего рассказа докажут неоспоримым образом, что везде есть чувствительные сердца, способные сострадать не только ближним, нам подобным, но и другим ближним, которые не подобны нам. Мы часто удивляемся, как европейцы, племя цивилизованное, жестоко обходятся с животными; а посмотрите — в Индии есть даже особенная секта, банианы, которые до того

простирают уважение свое к животным, что устраивают больницы для хворых, увечных и бродящих старых животных или нанимают за большую плату бедных парий на то, чтобы они предали тело свое на съедение насекомых, которые помещаются в особых отделах больницы. «Ничего нет забавнее, — говорит один путешественник, — как видеть этих банианов, озабоченных старанием не умертвить что-нибудь живущее. Иной носит на рту своем повязку из легкой ткани, боясь проглотить нечаянно какую-нибудь муху; другой имеет при себе веничек и обметает наперед то место, где хочет сесть, боясь погубить какого-нибудь муравья; иные ходят, беспрестанно смотря в землю, из опасения раздавить какое-нибудь насекомое на земле; есть и такие, которые беспрестанно держат в руке сахар, муку, мед и кормят ими всякое животное, попадающееся им на дороге». — После этого извольте говорить, что индусы народ варварский!

Как бы то ни было, только между браминами, преследовавшими своего собрата, зараженного страстью к рыбной ловле, нашелся один человек, который принял в нем душевное участие и решился во что бы ни стало спасти несчастного. «Хвала Ванезу! — говорил он. — Не будь я настоящим здешнего братства (а это был точно сам настоятель), и не перейди душа моя по смерти в корову и потом в другие чистые и божественные животные, коли я не исторгну несчастного слепца из его заблуждения, не очищу бедного прокаженного от ужасной заразы!». — Сказав это, настоятель покрыл свою бритую голову и, посмотрев, с которой стороны светит солнце, вышел отыскивать грешника, делая далекий обход по противоположному берегу пруда, чтобы не идти против солнца — великий грех для брамина. Могущественная каста подлечит в этом случае большому стеснению. Несмотря на то, что каждое малейшее оскорбление, нанесенное брамину, влекло за собой жестокое наказание; несмотря на то, что если кто сядет на браминово место, того без пощады сажают на кол, а если кто плюнет туда, куда плюнул брамин, тому кладут в рот раскаленное железо; несмотря на все это, брамины не могут ни под каким видом ходить против солнца, — иначе делаются париями.

Таким образом обошел длинный берег пруда, сострадательный настоятель в великих попытках приблизился наконец к несчастному. И подлинно — можно было назвать его несчастным! Проведя весь день под лучами знойного солнца, он страшно загорел; клочок волос на бритой голове торчал, как жесткая щетина; глаза выкатились; запекшиеся губы, может быть, со вчерашнего вечера не омоченные ни кокосовым молоком, ни пальмовкой, раздвинулись и как будто хотели, против воли своего хозяина, поймать рыбу, которую удавалось ему вытащить на удочку. Ноги его нечувствительно сползли в воду, и он стоял по колени в пруде. Добрый настоятель ужаснулся, когда подошел к нему: видя его в таком бедственном положении, он почувствовал еще большую ревность обратить заблудшего и, остановясь в нескольких шагах от него, размышлял, с чего начать речь.

Брамин его не заметил.

— Сын мой, — произнес наконец настоятель, — благословляю тебя именем мудрого Ванеза! обедал ли ты сегодня?

Брамин ничего не слышал.

— Сын мой, — повторил настоятель, — да благословят тебя все великие боги! Именем чистого Вишну, спрашиваю, был ли ты сегодня за обеденною трапезою?

Брамин опять ничего не слышал; но в это время он поймал рыбку и, откинув ее взмахом удочки к ногам настоятеля, наконец увидел его. Молча совершил он обычные знаки покорности и уважения, потом переменял червяка и закинул снова удочку в воду.

— Сын мой, — сказал тогда настоятель, подошед к несчастному брамину и устремив на него сострадательный взор, — ты, кажется, болен, ты целый день на солнце, и с непокрытою головой. Где твоя чалма?

— Упала в воду, — отвечал тот.

— Ты бы надел другую.

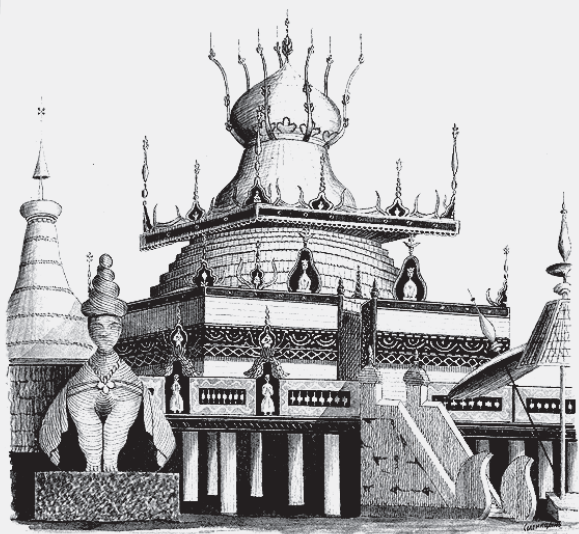
— За другой ходить долго.

— Ты не обедал сегодня?

— Не помню.

— Посмотри: лицо твое истрескалось, почернело.

обширными поселениями удалившихся от этих
 брахмиков, которые водворились тутъ въ
 похвалнаго храма .посвятить въ свои брань
 безпрерывному созерцанию. Этотъ монахъ
 отличаясь особеннымъ прелестью и били.
 коптисель индѣйской архитектуры. Во шти-
 цѣ, рисуясь на голубомъ небѣ, далеко были



видны съ моря. Общество поселившихся въ
 храмъ отшельниковъ цудовіе славныхъ по всей

Иллюстрация Н. А. Майкова к повести Ап. Майкова
 «Покорение страны Семи пагод европейцами»

— Что нужды! мне не пленять им красавиц, а для рыбы все равно, желто ли, зелено, черно ли оно.

— Жалею тебя, о сын мой! жалею, что ты, забыв свое назначение, предаешься такому низкому занятию. Разве ты не из рода браминов? разве ты не знаешь священных прав и обязанностей этого первого после богов разряда существ? Вспомни о происхождении нашем; вспомни, что мы родились из лба Вишну, тогда как все прочие люди произошли из других, менее благородных, частей тела его. И возможно ли! возможно ли, чтобы ты, который доселе считался достойнейшим членом нашей высокой касты, предался столь унижительному занятию, свойственному только гнусному и презренному роду парий?

— Справедливо, — отвечал брамин, — все справедливо! я каюсь и признаюсь, что поступки мои не согласны с законом Мену. Но — отец мой! у меня нет сил оставить рыбную ловлю; я сплю — и вижу пруды, удочки, рыбу; я войду в храм — и мне кажется, что дубина в руках Шивы — тоже удочка.

— О, Брама!... О игра нечистого Деути! в тебе поселился злой дух. Никто, даже из самых низших каст, не решится изменить занятию своих отцов. Намедни умер мой водоливец. Я потребовал воды, и мой кравчий ни за что не соглашался подать мне воды, потому что боги в мозгу его начертали, что он должен наливать вино, а не воду, и я ждал целый день, пока не отыскивали другого водоливца. Точно так же при моих глазах носильщик, который носит на голове своей ковчег с священными книгами брата настоятеля Мавалипурской пагоды, не согласился переложить ношу свою на плеча, хотя ее увеличили вшестеро новыми книгами, — и что же? голова его свернулась на сторону, а книг он не передал никому другому. Повар мой ни за что не станет щипать курицу, потому что это — дело касты щипальщиков кур. Вот каково уважение к своему званию и у этих ничтожных людей, а ты, брамин, рожденный брамином, которого одно гневное слово может погубить царя со всем его воинством, со всеми его слонами, лошадьми, обезьянами, ты на-

рушаешь святость своего звания!.. Скажи, по крайней мере, что побудило тебя предаться такому низкому ремеслу?

— Но почему же, почтенный владыко, называешь ты рыбу созданием гнусным, а рыболовство ремеслом низким? Разве ты забыл, что это создание освящено богами? Сам Шива не погнушался принять образ рыбы во дни великого потопа, чтобы проглотить одного благочестивого царя и сохранить его во чреве своем от гибели. Отчего не являлся этот бог в виде парии или в виде льва, или носильщика, или щипальщика кур, или другого животного? Ведь он мог принять всякий образ? но выбрал образ рыбы. Стало быть, боги не считают рыб нечистыми!

— Итак, — возразил настоятель, — тем более надо быть осторожным в ловле рыбы, чтобы — помилуй Бог! — не вытащить на крючок самого Шиву!

— О, святой отец, если бы боги так часто превращались в рыб, то их уж давно бы ни одного не осталось: я их всех тут таскал бы на удочку, да и ты, отец мой, тут был бы не без греха: может статься, тебе пришлось покаяться, что в твоём благословенном желудке переварилось несколько десятков богов.

Настоятель смешался от этой выходки и, боясь сказать что-нибудь противное религии, приступил с другой стороны.

— Неужели ты не знаешь, — сказал он, — что обязанность, возложенная на каждого брамина при самом его рождении, состоит в чтении Вед, толковании их народу, подавании милостины и...

— И в прощении ее у других! — подхватил брамин. — Это, кажется, мы наблюдаем усердно, и я с своей стороны также не отступаю от общего правила. Я прошу милостины, только не у людей, а у богов; сижу с удочкою и жду, когда боги пошлют мне рыбу. Но кажется, что гораздо благороднее, просить милостины у богов, чем у какого-нибудь парии. — Сын мой! сын мой! — вскричал настоятель, выслушав с ужасом эти богохульные софисмы. — О как глубоко ты заразился пороком! По всему видно, что тобой овладел какой-нибудь Деути. Что будет с тобою! Душа твоя никогда не выйдет из бездны Онберага и не возвратится в отчизну

свою, в лоно небесное. Но если ты уж забыл о судьбе души своей, то поведай мне, что приятно стоять целый день над водою, с непокрытой головой, на солнце, устремив глаза в одну точку? и что за наслаждение — поймать какую-нибудь рыбку? разве не лучше ей гулять в воде, чем лишиться жизни?

— О, почтенный настоятель! — отвечал брамин с чувством, — ты спрашиваешь, в чем состоит наслаждение? Оно неистощимо... бесконечно... всегда равно сильно! — Мы расстроганы, мы завлечены, когда читаем Пураны или Рамаяну, сердце наше взволновано, воображение пылает, и мы с жадностью читаем, и все читаем, а когда и покидаем чтение, то с великим неудовольствием, — жаль расстаться! ждешь чего-то впереди, трепещешь за каждого героя, плачешь и радуешься с ним вместе.. Точно так же и в рыбной ловле!..

— Тьфу, пропасть! — пробормотал настоятель, удивленный вдохновением, с каким выражался брамин, — да это чуднее того, как ветвь лотоса выросла из тела Вишну, когда он плавал на фиговом листе по млечному морю, и как Брами явился в чашечке этого цветка, чтобы доделать мир, который был тогда только что начат!

Между тем брамин продолжал:

— Надеваешь червя на крючок — это все равно что развертываешь книгу и начинаешь читать какую-нибудь прекрасную поэму; закидываешь удочку в воду — все равно что вступаешь с героем в обширное море его жизни. Тут следишь за ним пристально, замечаешь каждое его движение; какая-то лихорадочная дрожь пробегает по всему телу, когда видишь, что он приближается к важному перевороту... то есть, когда видишь, что поплавок начинает шевелиться. Всякое малейшее трепетание поплавка заставляет трепетать сердце; в эти минуты находишься в каком-то неизъяснимом волнении, в ожидании... чего-то великого! Но что дальше? что дальше?.. О, почтенный отец! я уж и не смею говорить, что чувствуешь, когда вытащишь какого-нибудь...

— Пискаря! — подхватил настоятель. — Признаюсь! великое наслаждение! есть из чего не есть, не пить, жариться на солнце и **н а с т а и в а т ь с я** целый день!

— Не смейся, почтенный отец! — отвечал смиренно брамин, — возьми удочку и попробуй сам поймать хоть раз какую-нибудь рыбку.

— Что ты? что ты? да очистят тебя всемогущие боги! Статочное ли дело, чтобы я решился причаститься такому мерзкому употреблению времени? Или ты уж совсем с ума сошел? О, несчастный! почто оскорбляешь ты небо, которое ликовало и радовалось, когда ты, новый брамин, вышел из утробы матерней? До сих пор боги взирали на тебя с уважением, а ты — отвратил от себя их очи, осквернившись ремеслом парии. Один только тягостный искус может снова привлечь на тебя их благодатные взоры. О, сын мой! зачем ты пришел в наше чистое братство? До сих пор оно славилось по всей Индии особенным благочестием и строгостью, с какой исполнялись в нем все браминские уставы. Сколько фадинов и браминов, твоих собратий, приняло, а другие готовятся принять звание риши! сколько простых браминов приближаются к чину саниасси! Фадин Рамасвани уже тридцать восьмой год сидит не шевелясь в железной клетке: через год он будет святым. Войди в переднюю часть нашего сада, и ты увидишь изящное торжество религии: здесь на отсохших руках висит благочестивый Пундиш, распевая неумолчно <так!> шесть лет священные гимны; там другой достойный брамин лежит пятый год на ложе, утыканном гвоздями, и смотрит на солнце, и боги уже благословили его, потому что, кроме солнца, он теперь уже ничего не видит; дальше торчат из земли ноги одного нашего отшельника, который пожелал быть заживо погребенным, а возле него видна голова его товарища, у которой — слава Бrame! — череп уже проклеван хищными птицами. Одним словом, ни в каком братстве нет столь высокого благочестия; нигде нет больше браминов, отрезавших себе языки, отрубивших руку или ногу. А блаженный Рунжет и его славное путешествие от Яггернаута до Бенареса, которое совершил он, перекатываясь всю дорогу и измеряя ее телом своим! Боги никогда не забудут этого подвига. Из Бенареса он не медля отправился в обратный путь и, лишь только докатился до нашей пагоды, как пал мертв, совершив пятьдесят

ушки двойного солнца, онъ страшно заломив; волосы на вершинѣ бритой головы, торчали какъ жесткая щетина; глаза выкатились; зажегшая губы, жожеть. Светъ, со вчерашнего вечера не ожегивая ни кокосовыхъ пальмовъ, ни пальмовой, раздвинувшись и какъ будто хотючи, противъ воли своего хозяина, поймать рыбу, которую удавалось ему вытаскивать на удочку. Ноги его нечувствительно сползли въ воду, и онъ стоялъ по колено въ



грудь. Досрѣй настоятели ужаснулись, когда подошли къ нему: была его въ такомъ бѣд-

Иллюстрация Н. А. Майкова к повести Ап. Майкова
«Покорение страны Семи пагод европейцами»

тысяч благочестивых возлежаний, а нам досталась только честь сжечь тело его. Последуй же примеру этих богоугодных людей; брось свою рыбу, которая не назначена тебе твоим рождением; обратись на другое, более достойное, поприще. Например, для чего бы тебе не употребить всей своей жизни на то, чтобы созерцать обоими глазами кончик своего носа или сжать кулаки и никогда не разжимать их, чтобы ногти вросли в руки, или сложить обе руки на голове и пребывать неподвижным?

Брамин почувствовал силу этих премудрых советов, и раскаяние не раз пробуждалось в душе его, но голос господствующей страсти заглушал все его ощущения. Он смотрел слезящим *<так!>* взором на небо, просил, чтобы боги над ним умилились и обратили его на истинный путь, но в то же время поглядывал и на поплавок, боясь прозевать его колебание. Наконец он упал на колени перед настоятелем и произнес:

— Да, святой отец, я признаю себя грешником, чувствую, что я червь недостойный пред всеми святыми мужами, которые украшают наше братство; плел между колосьями плодовитыми; и потому жертвую...

«А! победил! — подумал настоятель, — грешник наконец обращается!»

— И потому жертвую, — продолжал между тем брамин, — всем своим достоянием на сооружение новой гостиницы при нашей пагоде и на содержание пятидесяти новых цирюльников для бритья голов богомольцев; буду нанимать еженедельно по пяти благочестивых человек, чтобы они, для снискания мне прощения богов, продевали сквозь язык свой булавки, а сквозь руки железные прутья; чтобы они просовывали себе под кожу деревянные палочки и наносили своему телу сто двадцать священных ран; но сам — не могу оставить удочки!

— Конечно, — сказал настоятель, — новая гостиница при пагоде и пятьдесят лишних цирюльников — вещь прекрасная; боги благосклонно примут эту жертву, но все-таки ты не должен забывать своих обязанностей и ловить рыбу в часы

богослужений. Итак, пойдем вместе в пагоду. Чу! уж зовут на молитву!

— С удовольствием, святой владыко, с удовольствием! Я готов перенести тяжкий искус разлуки с удочкою, но сделай милость, поддержи ее, пока я соберу и приведу в порядок другие снаряды.

Сказав это, брамин начал подбирать и укладывать вещи, оставленные им в разных местах по берегу, а настоятель между тем держал его удочку с лесом, опущенною посреди двух тростинок и, глядя рассеяннo на поплавок, размышлял сам про себя следующим образом: «Вот человек, подумаешь! ну что тут приятного — держать в руке эту палку! Не лучше ли я сделаю, ежели, имея теперь в руках это оружие, которым злые Деути покорили себе моего бедного собрата, — не лучше ли я сделаю, ежели изломаю эту палку и закину далеко все эти крючки, поплавки и барилки?.. Однако — что это значит? отчего поплавок окунулся в воду? вот он стал прямо!.. о, как быстро он поплыл между тростником!.. Вытащу поскорее, чтобы леса не зацепилась за корни».

Настоятель дернул палку вверх. Вытаскивая лесу, он почувствовал приятную тяжесть, и новость этого ощущения тотчас изгладила в голове его все пагубные замыслы против брамина. Вообразите себе удивление нашего строгого настоятеля, когда он, вынув совсем удочку из воды, увидел, что на крючке перед ним висит прекрасный золотистый карась! Снявши его с крючка, он с восторгом поправил червяка и снова закинул его в пруд. Глаза его неподвижно устремились на поплавок, а дыхание невольно стало притаиваться. Скоро поплавок опять погрузился в воду, и настоятель вытащил второго карася. За ним последовал третий, там четвертый: святой отец дивился удаче и закинул на пятого.

Между тем солнце уже садилось; брамины, не дождавшись своего начальника, отправили без него установленную молитву и не могли никак объяснить причину его отсутствия, тем более что никто не был исправнее его в наблюдении всех обязанностей браминского сана и в исполнении

обрядов религии. Наконец братия разошлась по кельям, толкуя всякий по-своему, чему должно приписать уклонение настоятеля от молитвы; многие старые брамины, о мудрости которых свидетельствовали клочки седых волос на их затылках, подозревали тут нечто недоброе и советовали приторговать фадина, чтобы тот, пропустив себе сквозь язык полдюжины булавок, привлек этим милость богов на пагоду и отвратил от нее всякое бедствие. Один из этих почтенных старцев отправился искать настоятеля и — к ужасу — увидел его с удочкою в руке, а за ним стояла, как образ злого духа, длинная фигура тощего брамина.

— Хвала Ванезу, почтенный настоятель! ты сегодня не изволил присутствовать при молении.

Настоятель ничего не слышал, а потому — очень естественно — ничего и не отвечал.

«Худо!» — подумал старец, не дождавшись ответа; подошел поближе к настоятелю и сказал:

— Добродетельный отец, ты, кажется, очень занят; не это ли отвлекло тебя от молитвы?

В этот раз голос старика, будто громом, поразил настоятеля. С ужасом посмотрел он вокруг себя и, увидев брамина, совратившего его с пути благочестия, подумал: «Странно! в этой удочке есть что-то особенное, что меня так и тянет к ней. Я не могу от нее оторваться. Признаюсь: хотелось бы поймать пятого!», — а сказал:

— Да, любезный брат, тяжкий долг отвлек меня от молитвы: я обращаю здесь нашего падшего собрата и посмотрю: он уж не ловит больше рыбы!

После этого настоятель с обоими браминами отправился домой, говоря сам себе: «Удивительный случай! неужели этот брамин — волшебник? неужели и я осквернил себя низким и презренным занятием?»

Ночь была проведена настоятелем в ужасном мучении; сон не смежал ресниц его, а между тем в глазах его все разбегались круги, какие разбегаются на воде, когда поплавок колеблется. Наутро раскрыл он книгу Вед и прочел несколько страниц сперва спереди, но видя, что и буквы разбегаются перед ним в круги, стал читать сзади, ибо Веды

имеют то отличительное достоинство, что их можно читать и сзади и спереди. Мало-помалу религиозное чувство проникло в душу настоятеля, и он ощутил в себе новые силы преследовать заблуждение несчастного брамина. После омовения и молитвы он пустился искать его, чтобы немедленно совершить свое благое намерение.

Между тем прокаженный брамин, с первыми лучами солнца отправив на скорую руку утренние обязанности своего звания, собрал рыболовные снаряды и расположился с ними на берегу пруда. Зелень, освеженная росой, блистала красивыми отливами; белый пар носился над гладкою поверхностью воды; в ней отражались береговые пальмы, бамбуки, кокосы; разноцветные попугаи лазили и качались на ветвях; говор их отзывался далеко по роще; в воздухе разливался запах лимонов и роз... но красота утра не занимала нашего рыболова: смотря на восходящее солнце, на зелень, на гладкое зеркало пруда, он думал только: «Авось, нынче будет хорошо клевать!»

И точно, ловля была пресчастливая. Вообразите же теперь, как наморщился наш брамин, когда увидел, что к нему приближается настоятель. «Ну, — подумал он, — хорошо, что я сегодня принес с собой несколько удочек, а то пришлось бы мне мучиться по-вчерашнему, глядя, как отец настоятель таскает моих карасей. Право, это хуже, чем лежать на доске с острыми гвоздями!»

Настоятель готовился начать разговор следующими словами: «Долго ли, злополучный, ты будешь предаваться своему заблуждению? долго ли будет насмехаться над нами лукавство злых Деути, тебя одержавших?» — Но в то же время подле этих вопросов в голове его родились другие: «Как-ково-то ловится? много ли он наловил?» — и как человеку, которым владеют два противоположные чувства, весьма трудно победить сильнейшее, то вопросы, заготовленные настоятелем для обращения падшего собрата, перемешавшись с другими вопросам, чадами его сердца, выразились таким образом:

— Долго ли, злополучный, ты будешь... ловить, не сказав мне, хорошо ли сегодня ловится; долго ли будет насмехать-

ся над нами лукавство злых... карасей, которые иногда, съев червяка, не попадают на крючок?

Далее настоятель не мог говорить, сбился, смешался и стоял в нерешимости. Пользуясь этою минутою, брамин подал ему совсем готовую удочку; настоятель молча ее принял и закинул в воду. На лице его было напечатлено отсутствие всякой мысли. Но через несколько минут поплавок его задрожал на зеркале пруда, большие круги разбежались от него во все стороны; тут черты настоятеля оживились; он вытащил превосходного карася, и с этого мгновения жадно, вместе с зараженным брамином, предался рыбной ловле.

Весть, что сам отец настоятель соблазнился примером несчастного брамина, поразила всю братию. Многие, желая изведать собственным опытом силу соблазна, наделали себе удочек и — увы! — закинув их однажды в воду и вытащив по карасю, не могли уже расстаться с заманчивою забавою. Скоро все благочестивое братство, с утренней зари до ночи, просиживало над водою с удочками в руках. Наконец зараза проникла и в соседственные пагоды, богослужение было забыто, храмы просто брошены; брамины и во сне и наяву бредят рыбною ловлею, только и слышно, что: «Нынче плохо!.. вчера счастливее!.. Не клюет!.. А у меня брала, да я прозевал!.. Я восемь!.. я пятнадцать!.. я десять!.. У меня крючок оборвался!.. А у меня карась ушел с берега!.. Завтра надобно встать пораньше!..» И в самом деле они вставали все раньше и раньше с каждым днем, так что под конец иные совсем уже не ложились спать.

Видите ли теперь, до чего могло дойти распространение страсти в Индии! Она не ограничилась одним человеком, она увлекла, поглотила целые тысячи, а может статься, и сотни тысяч невинных жертв!

Послушайте, однако, далее.

В индийских исторических книгах написано по-санскритски, что зараза, обуявшая браминов страны С е м и п а г о д возросла наконец до такой степени, что боги, видя их ужасное несчастье и даже отступление от законов религии, наслали на их страну неизвестный народ — не медянолицый, как, по мнению индусов, следует быть всякому

порядочному народу и человеку, но — народ белый и светловолосый. Эти демоны, повелевающие адом, небом, огнем и морем, разрушили древние великолепные пагоды, истребили нечестивых браминов, покорили себе их столицу и таким образом показали миру, сколь страшно и грозно мщение богов, раздраженных пороками человека!

Впрочем, по другим преданиям знаем, что не все брамины погибли, что некоторые из них спаслись, убежав из Индии, и разнесли семена своей заразы по многим странам земного шара; проникли в Италию, в Англию, в Россию и даже, говорят, эта зараза очень сильно распространяется, губя с неимоверными успехами не только отдельные лица, но целые почтенные семейства.

ЭПИЛОГ ДОМАШНЕГО ТВОРЧЕСТВА

В. А. Солоницын

ЭПИЛОГ

Труд мой окончен! — Бросаю перо, утомленное тихой,
Долгой работой, — и молча — один — как ревнивец
любуюсь

Вами, листки для меня драгоценные! — Много
вам мыслей

Отдал я, много на вас положил я досуга златого:
Утренни зори не раз находили меня уже бодро,
Ложе оставив, сидящего; солнце вечернее также,
Пышный свой путь направляя в Балтийские волны,
вседневно

Видело, как неусыпно тружусь я над вами; а ночью —
Ночью опять все про вас же я думал, очей не смыкая.
Вы неотлучно и долго в моих помышлениях жили,
Были моею любимой мечтой и заботой. Нежно,
Точно как мать о дите, как об ягодке
красное солнце,

Как о душистом цветке ветерок, как жених о невесте,
Пекся о вас я и бережно ваши страницы лелеял. —
О! как приятно мне вспомнить те дни, те
бессонные ночи —

Ночи и дни, посвященные вам, о мои дорогие листочки!
Труд уже сам по себе наслаждение, но он еще второе
Слаще, когда мы трудились из дружбы, надеясь в награду
Видеть улыбку на дружных устах. И такая-то доля
Ждет меня с вами! Вы будете приняты ласково; станут
Вас разбирать и хвалить, много раз перечитывать,
мне же

Скажут спасибо, приветливым взглядом и дружеским,
добрым

Словом меня наградят, а пожалуй — кто будущность
знает? —
Может быть, мы еще более почести с вами заслужим:
Может быть, вас с одобрением ныне всеобщим принявши,
После беречь, как семейный и дружеский памятник,
станут;
Может быть... ах! для чего не потешиться
сладкой мечтою? —
Может быть, та, кому я с таким искренним, чистым
усердьем
Вас отдаю, — через несколько лет, уже будучи старой,
Доброй старушкой и бабушкой, внуков к себе приласкает,
Ларчик заветный откроет, достанет оттуда
красивую книжку,
Милым, румяным малюткам покажет ее, и с померкших
Слезку очей обмахнув, улыбнется, и с грустью приятной
Молвит им: «Вот, мои дети, смотрите, какая
красивая книжка!
Это подарок старинного нашего друга. Его уж
Нету на свете — дай Бог ему царство небесное! Станный
Был человек: как захочет, бывало, и твердо решится
Что-нибудь сделать, так ежели дело то прямо зависит
Только от сил и трудов его, — сделает! Трудно ль,
легко ли, —
Все пустяки! одолеет, дойдет, на своем уж поставит!
Вот, например, хоть бы эта красивая книжка: смотрите
Милые дети, какими узорами эти странички
Он изукрасил, каких он наделал затейных каемок,
Надпись над каждой статьей написал, как печатную,
чисто
Буквы заглавные вывел, фигур вокруг каждой особых
Нарисовал, а в конце и в середине у всякой статейки
Вставил еще и другие рисунки приличные; если
Сам он чего не сумел, так других упросил себе
в помощь.
Тут потрудились и дедушка ваш; и отцы ваши к делу
Общему руки свои приложили; знакомые также,
Кто нас любил, те ему помогли; а он уж последний,

Все завершил, на порядок навел, и составивши
книжку,
В день своего мне рожденья ее подарил (тогда мы
на даче
Жили). Итак, мои дети, смотрите же смирно на эти
картинки;
Вот прочитайте стихи; вот и проза: все это творенья
Нашего дружного круга тогдашнего времени. Если
Будете вы хорошо знать уроки да меньше проказить,
Я вам и часто показывать стану эту красивую книжку,
Стану давать вам читать ее. В ней вы найдете
Первые опыты ваших отцов, первые их сочиненья,
Чуть что не в детстве написанные. Вот учитесь
примеру:
Будете так же умны — и все будут любить и хвалить вас,
Так же, как их в свое время, бывало, хвалили, любили.
Что ж до того чудака, что составил прекрасную эту
Книжку, так он, мои дети, хоть был и чудака, только
вряд ли
Кто-нибудь наше семейство так нежно любил. Не застали
Вы его живые; а если бы Бог ему веку прибавил,
Он бы вас нянчил, добру научил... Но судьба не судила!
Там, под горой, между трех тонкоствольных, пушистых
березок,
Крест деревянный стоит, наклонившись над старой
могилой:
В ней его кости лежат. Одиноко он жил, одиноко
Лег и в мать землю сырую!»

Вот так, может быть, дорогие листочки,
Будут про вас и меня говорить! — Но...

но точно ли будут?..

О! удались, ледяное сомненье! на что тебе рушить
Эту, последнюю в жизни, мечту мою! — Станем питаться
Сладкой надеждой, мои дорогие листочки! и с Богом
Смело идите куда вы назначены — путь вам счастливый!

4 июля 1839,
вторник

Солоницын

Отшельник.

Путь мой оканчивай! — Благая перо, упо-
 койная тучей,
 Давной работой, — и мечта, — адить — кады
 рывиведе, перо, перо
 Вани, листки все меняй дружелюбные! — много
 вани перо
 Отдай и, много на вани поможешь и Тасуа
 дитанго.
 Упрямый дары на рабу парадели меняю чоме
 сито,
 Ломе оставив, идущая, сущие выграве
 тасан,
 Шипит мой, путь наравлен в Басиний.
 сие вани, виденье
 Видно как нежитье туртур и над вани,
 а кобы —
 Кобы являе все про вай те и дружал, сие
 ко мивкае.

Все приоткры! — дадимон, дайдемон, на ивондо
губ наинабура!

Вонд наизинтер хонд д. вонд граивонд нунд.
ка: инаонгиронд,

Илибиль донд, какимм изорамм вонд сонд-
нунд.

Вад изухрамм, какимм суд надиссон донд-
ибил каинонд,

Надирд надь каждад инаонд? каинонд кажд
накаонд ина, каинонд

Буха замасибилс каинонд, фругир каинонд ка-
кад каинонд

Керисованд, а в каинд а в каинд у каинд
инаинонд

Винабилс ена и дунд рунд каинонд;
инаин

Каинд суд каинд каинонд, каинд дунд каинонд
инаин каинонд

Мунд каинонд каинд и дунд каинд; а каинд
каинд каинд

Винабилс рунд каинд каинонд; каинонд
каинд,

Каинд каинд каинд, каинд каинонд; а каинд,
каинд каинонд,

Вонд каинонд, каинд каинонд каинд, и каинонд
инаин каинд,

Вонд каинд каинд каинд каинонд каинд каинонд
(каинд каинд каинд)

Инаин. Инаин, каинд каинд, каинонд каинд
каинд каинд каинонд;

Вот переоснащение твое; брань и атака, ^{они наболевшие}
 Намею изыскаю зря мадаминею брань.

Эдлене бд. кагану гварии проху, да кабану
 казану.

И брань и кагану гварии проху, да кабану
 казану.

Омачу дабаму брань кагану казану. По н.с.
 бд. кабану.

Кабану кагану брань кагану казану, кабану
 казану.

Кабану кагану брань кагану казану, кабану
 казану.

Кабану кагану брань кагану казану, кабану
 казану.

Кабану кагану брань кагану казану, кабану
 казану.

Кабану кагану брань кагану казану, кабану
 казану.

Кабану кагану брань кагану казану, кабану
 казану.

Кабану кагану брань кагану казану, кабану
 казану.

Кабану кагану брань кагану казану, кабану
 казану.

Кабану кагану брань кагану казану, кабану
 казану.

Кабану кагану брань кагану казану, кабану
 казану.

Кабану кагану брань кагану казану, кабану
 казану.

Грустно переживаешь сонных, накомованных
над такой тишиной:

Но не с то костью недуга. Видеюте над тем,
одиноко

Или и с нами живимы друге!"

Вот так, и так. Довод,
догавно именован,

Будет про-бав и немы иобавном! — Но...
но только не сплывет?..

О! гдешь, иидае савиде! каром медь
ручником

Ды, расишанно с миган, иионг иион! — Вла-
кель на манде

Иидеи надеждой, иио дигавно иионном! и
с Гавиан

Иион иионг агла сд, каравио — иион
кава иионном!

4 июня 1839,
Возмунд.

В. Гавиан

Приложение II

СОДЕРЖАНИЕ
ЖУРНАЛА «ПОДСНЕЖНИК»
И АЛЬМАНАХА
«ЛУННЫЕ НОЧИ»¹

¹ В росписи содержания рукописных изданий указан жанр только для прозаических и драматических произведений, поэтическая форма стихотворных текстов не оговаривается.

ПОДСНЕЖНИК. 1835

<ТЕТРАДЬ> № 1

Л. 1—2.¹ Без обложки, 2 незаполненных листа.

Вклейка на полулисте синей бумаги, без пагин. Анонс издания, от редактора:

«Редакция “Подснежника” просит читателей принять благосклонно эту первую тетрадь ее журнала...». 31 декабря 1835.

Л. 3—4. Майков Аполлон. Охота за повестями и анекдотами <фельетон>.

Л. 4 об. Воспоминание о Елизавете Кульман. Сочинение Е. П. Майковой.

Примеч. внизу. В конце тетради приложена музыка для этих стихов, сочиненная также Е. П. Майковой.

Л. 5—5 об. Pansées détachées. Par Madame Eugénie de Maikoff.

Л. 6—6 об. Майков Валерьян. Несколько мыслей об изящных искусствах.

Л. 7—14. <Майкова Евгения>. Мария. Повесть.

Л. 14 об. <Без подписи>. К прежнему идеалу.

Л. 15—16 об. Майков Аполлон. Дамы крысиного рода <фельетон>.

Л. 16 об. <Без подписи>. Отъезд (1835).

Л. 17—18 об. <Без подписи>. Отрывок из неконченной сказки.

¹ Пагинация здесь и ниже архивная. В подлиннике — самостоятельная пагинация в каждой тетради журнала.

- Л. 19—19 об. Романс. Другу в Бессарабии. Сочинение Е. П. Майковой.
- Л. 19 об. <Без подписи>. Загадка — эпиграмма — портрет.
- Л. 20. Майков Валерьян. Счастливый несчастливцев.
- Л. 20 об.—22. <Без подписи>. Каменный суп. Сказка.
- Л. 22. Примеч.: Представляю самому меньшому сотруднику нашего журнала отгадывать смысл этой сказки, взятой из книги: *La confession, par Jules Janin*.
- Л. 22 об.—23. Карелин <И. Г.>. Молитва. Подражание псалму (4 апреля 1835).
- Л. 23—23 об. Майков Валерьян. Романс.
- Л. 23 об.—24. <Без подписи>. Твердость (1828).
- Л. 24 об.—25 об. Солик <Солоницын В. Ап.>. Три басни.
1. Крестьянин и медведь. 2. Два портрета. 3. Кот и мышь.
- Л. 26—27. Деревня. Отрывок из дневных записок Е. П. Майковой.
- Л. 27. Володя <Майков Владимир>. Василек.
- Л. 27 об.—28. Жизнь. (Из Боссюета). С франц. Аполлон Майков.
- Л. 28. <Без подписи>. Элегия (1826).
- Л. 28 об.—29. Любезность и ловкость. Синонимы.
- Л. 29 об. <Без подписи>. За день до скончания мира. Акро-стих (1828).

Смесь

- Л. 30. Мнение буддистов о том, как кончается мир. (Из журнала «L'echo Britannique»). Перевел Владимир Майков.
- Л. 30—31. Приятное обещание.
- «Редактор “Подснежника” имел удовольствие получить от Николая Аполлоновича Майкова следующее письмо, в котором он обещает доставить мнение какого-то китайского художника о живописи...»
- Л. 31 об.—32 об. Романс. Забудь, пришлец земли, святую душу девы. Слова и музыка Евгении Петровны Майковой <с нотами>.
- Л. 32 об. Майков Константин. Mazurque, favorite de St. Petersburg, exécutée pour la première fois à l'Assemblée,

composée sous l'inspiration d'amour et dédiée à Madame Natalie de Maikoff par son beau frère Constantin de Maikoff <ноты>.

Вклейка, без пагин., на полулисте розовой бумаги. Вопросы:

I. Кто более любит Бога: счастливый или несчастный?

II. Что женщины всегда уменьшают и что увеличивают?

III. О чем Адам и Ева разговаривали при первом свидании?

Л. 33—34. *Майков Н. А. Два карандашных портрета: головка мальчика, мужской портрет.*

Л. 35. *Незаполненный лист.*

<ТЕТРАДЬ> № 2

Л. 36. *Майков Аполлон. Графич. оформление обложки. Фамилии авторов: Майковы. Шафонская. Азарьева. Солик. Куролопатин.*

Л. 37—38. *Майков Валерьян. Часовое дружество*

Л. 38. <Майков Л. Ап.> Последняя просьба (Май 1835)

Примеч.: это и следующее стихотворения доставлены в редакцию «Подснежника» Леонидом Аполлоновичем Майковым, который не объявил автора.

Л. 38 об.—39. <Майков Л. Ап.> Позднее раскаяние (Май 1835).

Л. 39 об.—44. <Майкова Евгения>. Мария. Повесть (окончание).

Л. 44 об.—45. *Крюков <А. П.>. Отъезд (1832).*

Л. 45. *Примеч.:* Александр Павлович Крюков — молодой человек с весьма сильным талантом, рано похищенный смертью у русской литературы...

Л. 45 об.—50. *Майков Аполлон. Охота за повестями и анекдотами (статья вторая).*

Л. 50—50 об. <Без подписи>. Новорожденной.

Л. 50 об. <Без подписи>. Имяниннице (1828).

Л. 50 об.—51. *Майкова Евгения. Счастье пастуха (1835).*

- Л. 51—51 об. *Володя <Майков Владимир>*. Весна.
- Л. 51 об.—52. *Г..... <Гончаров И. А.>*. Отрывок. Из письма к другу.
- Л. 52 об.—53. *Pansées détachées* (статья вторая). Eugénie de Maïkoff.
- Л. 53 об.—55. *Ершов <П. П.>*. Сцена в лагере.
- Л. 55—56. *Карелин <И. Г.>*. Синявский. Дума (15 октября 1833).
- Л. 56: *Примеч. автора <о герое, покончившем самоубийством>*.
- Л. 56—56 об. *Майкова Евгения*. Вопль несчастливца.
- Л. 56 об.—57. *Крюков <А. П.>*. Музе.
- Л. 57. *Крюков <А. П.>*. Элегия (Астрахань, 1831).
- Л. 57 об.—60 об. *Майкова Евгения*. Письма и дневник мнимого преступника *<повесть>*.
- Л. 60 об. *<Без подписи>*. Что-нибудь одно.
- Л. 61. *<Майкова Нат. Ал.>* Могила поэта.
- Примеч.:* Редакции «Подснежника» неизвестно имя автора этих прекрасных стихов. Они доставлены ей от Наталии Александровны Майковой, которой редакция «Подснежника» обязана тем большею благодарностью, что имеет случай украсить нынешнюю тетрадь своего журнала и собственным ее превосходным произведением.
- Л. 61 об.—66. Климат Европы и причины его разнообразия. С франц. Константин Майков.
- Л. 66—66 об. *Солик <Солоницын В. Ал.>*. Молитва.
- Л. 66 об.—68 об. Последние приятные минуты в жизни Карла Стюарта. Статья Ж. Жанена. С франц. Аполлон Майков.
- Л. 68 об.—69. *Крюков <А. П.>*. Любовь.
- Л. 69—70. Ответы на вопросы, предложенные в первой тетради «Подснежника».
- I. Кто более любит Бога: счастливый или несчастный? *Майкова Наталия. <ответ>*
- II. Что женщины всегда уменьшают и что увеличивают? *Без подписи. <ответ>*

Л. 70—72. III. О чем Адам и Ева разговаривали при первом свидании?

Без подписи <ответ>

Л. 72 об.—73. Солик <Солоницын В. Ал.>. Три басни. I. Обезьяна и орех. II. Павлин. III. Два ворона.

Л. 74—74 об. Майков Валерьян. Нужда, бедность, нищета. Синонимы.

Смесь

Л. 75—75 об. Достоинство музыки. С франц. Наталия Шафонская.

Л. 75 об.—77. Тициан и Гайдн. С франц. Юния Азарьева.

Л. 77—78 об. Р. П. <Редактор «Подснежника»>. Виктор Гюго.

Л. 79—79 об. Р. П. <Редактор «Подснежника»>. Родословная Наполеона.

Л. 79 об.—80. <Без подписи>. Сила всех паровых машин в Англии.

Л. 80—80 об. <Без подписи>. Абракадабра. Musée de familles.

Л. 81—81 об. **Прибавление.** Другой ответ на один из вопросов, предложенных в первой тетради. Е. Ф. Куролопатин. Письмо к редактору.

Л. 81 об.—83. Рассказ Евы. Перевод с одного из вавилонских наречий.

Л. 83. *Примеч.:* Благодаря почтенного Ефима Феоктистовича Куролопатина за этот любопытный исторический документ, которым вполне разрешается вопрос о первой беседе Адама и Евы, редакция «Подснежника» остается в приятной надежде, что Ефим Феоктистович не откажется и вперед украшать «Подснежник» своими трудами по части древней истории. Кстати ныне представляется новый предмет для его ученой изыскательности — разрешение сделанного в этой тетради вопроса: «Кто, когда, по какому случаю и зачем установил такой порядок, что мужчины волочатся за женщинами, а не женщины за мужчинами?»

Вклейка между Л. 83 и 84. Карта Европы (к статье Конст. Майкова).

Вклейка между Л. 83 и 84. Схема генеалогического древа Наполеона Бонапарта (к статье Р. П.).

Л. 84. *Mazurque barbare, favorite de Pékin, tirée de l'opéra Diabli Diabélli Diabellini, exécutée pour la première et la dernière fois au bal de Ostiaques, composée sous l'influence de l'amour oriental, et dédiée à l'Empereur de la Chine par son très humble serviteur Constantin de Maikoff <ноты>.*

Л. 84 об. *Mazurque diabolique, favorite de tout de démons, tirée de l'opéra Satan-Bleu à deux cornes, exécutée mille et une fois au fond de l'enfer en plein orchestre par les génies malfaisants à l'occasion du mariage de monsieur Pluton avec mademoiselle Prosérpine, composée à la prière de Robert-le-Diable, et dédiée à Méphistophelès par son serviteur le plus zélé Constantin de Maikoff <ноты>.*

Л. 85—86. *Майков Н. А. Два карандашных портрета: мужской портрет, головка путти.*

Л. 87—88. *Незаполненные листы.*

<ТЕТРАДЬ> № 3

Л. 89. *Майков Аполлон. Графич. оформление обложки. Науки. Литература. Художества. Фамилии авторов нрзб.*

Л. 90—91. *Солик <Солоницын В. Ал.>, Валерьян Майков, Аполлон Майков. Гимн.*

Л. 91—96. *Майков Аполлон. Сцены бальной атмосферы <пьеса>.*

Л. 96—96 об. *Соловей. Сочинение Аполлона Александровича Майкова.*

Л. 97. *<Без подписи>. Мечте.*

Л. 97 об. *Солик <Солоницын В. Ал.>. Прощание воина с саблею.*

Л. 98—99. *Майков Валериан. Записки повытчика уголовной палаты.*

Л. 99—100. *Г. <Гончаров И. А.>. Тоска и радость.*

- Л. 100—102. Незнакомка. С франц. Константин Майков.
 Л. 102 об.—103. Весна. Сочинение А. А. Майкова.
 Л. 103—104. *Крюков* <А. П.>. Экспромт.
 Л. 104—104 об. <Без подписи>. <Крюков А. П.?> К* при посылке двух голубков.
 Л. 104 об. *Майкова Евгения*. Ответ на предложенный во второй тетради вопрос: «Какого человека можно назвать несчастным в полной мере?»
 Л. 105. Г. <Гончаров И. А.> Романс.
 Л. 105. Загадка. Написана А. А. Майковым.
 Л. 105 об. *Солик* <Солоницын В. Ап.>. Басня. Суд животных.

Смесь

- Л. 106—108. Мнение о Байроне в Англии. С англ. Армстронг.
 Л. 108 об.—110 об. Мечтающий французский писатель. С франц. Константин Майков.
 Л. 110 об.—112. Архитектура египтян и греков. С франц. Константин Майков.
 Л. 112—113. <Без подписи>. Образчик джон-булля. *L'Echo Britannique*.
 Л. 113 об. <Без подписи>. Талант <о Степане Шувалове, ученике Н. А. Майкова>.
 Л. 114—115. Вальс, из романа Алябьева «Разлука с милой», сочинение Владимира Пассеяева <текст, ноты>.
Вклейка (треть листа), без паг. Вопросы.
 Редакция «Подснежника», ободренная тем, что вопросы, предложенные ею в первой тетради, все удостоены ответов, имеет честь предложить своим сотрудникам еще три вопроса:
 I. Что вы предпочитаете: сто лет молодости или старость, но здоровье при бессмертии?
 II. Какого человека можно назвать несчастным в полной мере?
 III. Кто, когда, по какому случаю и зачем установил такой порядок, что мужчины волочатся за женщинами, а не женщины за мужчинами?
 Л. 116. *Майков Н. А. Карандашный мужской портрет.*

- Л. 117. *Шувалов Степан. Карандашный рисунок, женский торс.*
Л. 118—119. *Незаполненные листы.*

<ТЕТРАДЬ> № 4

- Л. 120. *Майков Аполлон. Графич. оформление обложки. Фамилии авторов: Е. П. Майкова. Ю. А. Азарьева. Майковы. Солик. Крюков.*
Л. 121—128 об. <Без подписи>. Светлое воскресенье 1797 <ист. очерк>
Л. 128 об.—129. *Майков Аполлон. Разочарование.*
Л. 129. *Майков Валериан. Опасная красота.*
Л. 129 об. *Солик. <Солоницын В. Ал.>. Басня. Лисица и виноград.*
Л. 129 об.—132 об. <Без подписи>. <Майкова Е. П.?>. Поэт <прозаич. отрывок>.
Л. 132 об. *Крюков <А. П.> Каратаю, киргизскому наезднику, похитителю русской девы (1831).*
Л. 133—152 об. Листок из журнала. Повесть Е. П. Майковой.
Л. 153. <Без подписи>. Романс. Посвящен Е. П. Майковой (1834).
Л. 153—153 об. *Карелин <И. Г.> Клятва.*
Л. 153 об.—157 об. Коронование французских королей. С франц. Аполлон Майков.
Л. 157 об.—158 об. *Г. <Гончаров И. А.> Утраченный покой.*
Л. 159—168 об. <Без подписи>. Кончина императрицы Екатерины Второй.
Примеч.: Писано 15 ноября 1796.
Л. 168 об. *Майкова Евгения. Родине (12 февраля 1834).*
Примеч.: В конце тетради приложена музыка для этих стихов, сочиненная Клеопатрою Аполлоновною Майкову.
Л. 169—169 об. *Крюков <А. П.> Бессонница (1832).*

- Л. 169 об.—170. <Без подписи>. <Крюков А. П.?.>. Утро. Из Саломоновой <так!> Песни Песней (1829).
- Л. 170 об.—181 об. Солик <Солоницын В. Ал.>. Народы, населявшие Россию в древности <очерк, по Карамзину>.
- Л. 182. Майкова Евгения. Разочарование.
- Л. 182—185 об. Шотландские поверья. С франц. Юния Азарьева.
- Л. 186—188. Ламизм. С франц. Константин Майков.
- Л. 188—188 об. Солик <Солоницын В. Ал.>. Солнышко.
- Л. 188 об.—191. Лучший наставник детей. С франц. Евгения Майкова.
- Л. 191—191 об. <Без подписи>. Увещание.
- Л. 191 об.—199. Майков Аполлон. Путешествие на Луну <фельетон>.
- Л. 199—199 об. Крюков <А. П.> Кокетка.

Смесь

- Л. 200—200 об. Христианские святыни в Париже.
- Л. 201—202 об. Внутренняя теплота животных. С франц. Константин Майков.
- Л. 202 об.—204 об. Конские скачки в Риме.
- Л. 204 об.—207. Петуший бой.
- Л. 207—207 об. Сила привычек.
- Л. 207 об.—208 об. Слепые художники.
- Л. 209—215. **Моды** <тексты и акварельные рисунки>.
- Л. 216. Романс. Родине. Слова Е. П. Майковой, музыка К. А. Майкова <текст, ноты>.
- Л. 216 об. Mazurque frivole, exécutée au Pavillon-des-Roses par les sauterreles, composée par un célèbre tamburiste pour illustrer la noce de M-r de Papillon avec M-lle de Papillonnette, arrangée por le piano-forte et dédiée à tous les danseurs et danseuses à la mode par Constantin de Maikoff <ноты>.
- Л. 217—217 об. Майков Н. А. Карандашные мужские портреты.
- Л. 218. Шувалов Степан. Женский портрет.

ПОДСНЕЖНИК. 1836
<без обложки и титула>

<ТЕТРАДЬ № 1>

- Л. 1—5 об. *<Без подписи>*. Первое мая *<ист. очерк>*.
Л. 5 об.—7. Захаров А. Послание к Н. А. М. (1820).
Л. 7. Майков Валериан. Надежда.
Л. 7 об.—11. Аделаида Сарган. Статья герцогини Абрантес.
С французского Констан<тин> Майков.
Л. 11—11 об. Карелин И. <Г.> Мое первое грустное чувство.
Л. 11 об. Крюков <А. П.> Довольный.
Л. 12. Солик <Солоницын В. Ал.>. Мечта.
Л. 12 об. Крюков <А. П.>. Укор.
Л. 12 об.—21. *<Без подписи>*. Красный человек. С английского *<рассказ>*.
Л. 21. Майков А. А. На смерть графа В. В. Мусина-Пушкина Брюс.
Л. 21 об. Майкова Евгения. *Abi! null' altro che pianto al mondo dura* («Видали ль вы в долине одинокой...»).
Л. 22. Майков Володя. Родина.
Л. 22—22 об. Майков Аполлон. Сирота.
Л. 22 об.—23. *<Без подписи>*. Песня.
Л. 23—23 об. Солик <Солоницын В. Ал.>. Наслаждение.
Л. 23 об.—24. Майков Валериан. Мой хутор.
Л. 24—25 об. Игральные карты. С франц. Аполлон Майков.
Л. 26, вклейка. Майков Н. А. Портрет юноши.

<ТЕТРАДЬ № 2>

- Л. 27. Обложка, без оформления.
Л. 28—28 об. Ершов П. Русский штык.
Л. 28 об.—29 об. Бенедиктов В. Бивак.
Л. 29 об.—31. Майкова Евгения. Терпение.
Л. 31—31 об. Майков Аполлон. Решимость. Посвящено Владимиру Ивановичу Панаеву.
Л. 31 об.—32. Майков Валериан. Обман.

- Л. 32. *Майков Володя*. Дитя.
Л. 32 об. Дружба. С франц. Евгения Майкова <прозаич. отрывок>.
Л. 33—34 об. <Без подписи>. Молитва обманутого.
Л. 34 об.—37. Бретонская свадьба в XIV веке. С франц. Солик.
Л. 37—37 об. *Майкова Евгения*. «Когда с надеждой легкокрылой...»
Л. 37 об. *Крюков <А. П.>*. Элегия.
Л. 38. *Майков Валериан*. Было время.
Л. 38—38 об. *Бороздна И.* Она (Село Медведов, 1834).
Л. 38 об.—39. *Майкова Евгения*. Птичка.
Л. 39 об. *Майкова Евгения*. Тайна.
Л. 40—55 об. <Без подписи>. Привидение <повесть>. Окончание.
Л. 56. *Бенедиктов В.* Улетевшим мечтам.
Л. 56—56 об. *Солик <Солоницын В. Ал.>*. Гибель Помпеи. Посвящено Владимиру Ивановичу Панаеву.

Смесь

- Л. 57—58. <Без подписи>. Статистика семейственного счастья в Париже.
Л. 58—61. <Солоницын В. Андр.> Письмо здорового к больному <Письмо к А. П. Крюкову, 1830>.
Л. 62.—63 об. Романс. Слова И. П. Бороздны, муз. Любви Ивановны Бороздны <текст, ноты>.

<ТЕТРАДЬ № 3>

- Л. 64. Обложка, без оформления.
Л. 65—65 об. *Бенедиктов В. Г.* Обновление.
Л. 66. *Крюков <А. П.>*. Молитва.
Л. 66—69. *Майков Аполлон*. Москва <прозаич. фантазия>.
Л. 69. *Карелин <И. Г.>* На смерть графа П. П. Сухтелена. О. Г.¹
Л. 69 об. *Крюков <А. П.>*. Светская красавица.

¹ Так в подлиннике.

- Л. 69 об.—71. <Майкова Е. П.> Отрывок из жизни мечтательной.
- Л. 71. Крюков <А. П.>. Печальное чувство.
- Л. 71 об.—80 об. <Без подписи>. Привидение. Московская легенда <повесть; начало>.
- Л. 80 об.—81. Майков Аполлон. Предчувствие.
- Л. 81. Майков Валериан. На смерть друга.
- Л. 81 об.—82. Солик <Солоницын В. Ан.>. Тоска по родине.
- Л. 82—82 об. Карелин <И. Г.> Моя.
- Л. 82 об.—83. Майков Аполлон. Луна.
- Л. 83—83 об. Бороздна Иван. А. И. Б. (Село Медвёдов, 27.III.1836).
- Л. 83 об. Бороздна Иван. А. С. Ш. (Село Медвёдов, X.X.1835).
- Л. 84—93. Аделаида Сарган. С франц. Константин Майков.
- Л. 93. Майкова Евгения. Chi tiene in pregio un cuore, come vorrebbe? V'hä perfino chi anzi lo insulta («Нет места чувствам на земле...»).

Смесь

- Л. 93 об.—95. <Без подписи>. Сон растений.
- Л. 95—96. Гренландские поединки. С английского Апол<лон> Майков.
- Полезное влияние рыцарства на нравы.
- Л. 96—97 об. Полезное влияние рыцарства на нравы. С английского, из Робертсона — Солик.

<ТЕТРАДЬ № 4>

- Л. 98. Обложка, без оформления.
- Л. 99—110 об. Майкова Евгения. Сила души. Повесть.
- Л. 111—111 об. Ершов <П. П.> Двадцать пятое декабря.
- Л. 111 об.—112. В. А. <Солоницын В. Андр.> Новое грехопадение.
- Л. 112. Майков Валериан. Счастье.
- Л. 112 об.—113. Майков Валериан. Водопад.
- Л. 113—113 об. Майкова Евгения. На море.
- Л. 113 об.—114. Майков Володя. Звездочка.

- Л. 114. *Крюков <А. П.>. Жажда любви.*
 Л. 114 об. — 115. *Майков Аполлон. Баллада.*
 Л. 115 — 120. *Мертвые. Сочинение госпожи Дюдеван. Из «Revue de deux mondes»*
 Л. 120 об. *Майкова Евгения. Видение.*
 Л. 121 — 121 об. *Майков Аполлон. Песня.*
 Л. 121 об. *Солик <Солоницын В. Ап.>. Тайна счастья.*

Смесь

- Л. 122 — 122 об. *<Без подписи>. Верный способ избрать мудрого государя.*
 Л. 122 об. — 123 об. *<Без подписи>. Захождение солнца между тропиками.*
 Л. 124. *Обложка, без оформления.*
 Л. 125. Прибавление ко второй тетради «Подснежника». 1836 *<титул>.*
 Л. 126 — 149 об. *<Без подписи>. Нимфодора Ивановна. Повесть.*
 Л. 150. *Обложка, без оформления.*
 Л. 151. Прибавление к третьей тетради «Подснежника». 1836 *<титул>.*
 Л. 152 — 175. *<Без подписи>. Нимфодора Ивановна. Окончание.*

ПОДСНЕЖНИК. 1838

- Л. 1. *Форзац.*
 Л. 1а. *Посвящение: Евгении Петровне. 2 апреля 1838, накануне Светлого праздника.*
 Л. 2. **Подснежник. XII** *<титул>.*
 Л. 2, на полулисте розовой бумаги, вклейка. *От редактора: «Редакция “Подснежника”, представляя читателям последнюю тетрадь своего журнала, долгом считает изъяснить им чувствительную благодарность... <текст см. с. 64>.*
 Л. 3. *Майков Аполлон. Графич. оформление обложки: надгробие с надписью на пьедестале «Подснежник».*

- Л. 4—4 об. *Бенедиктов <В. Г.>*. Евгении Петровне Майковой.
- Л. 4 об.—7. *Майков Аполлон*. Два ангела.
- Л. 7—7 об. *Майкова Евгения*. Обманчивость.
- Л. 7 об.—43. *И. А. <И. А. Гончаров>*. Лихая болезнь <повесть>.
- Л. 43—43 об. *Евгения Майкова*. Весенняя мысль (1837, апрель).
- Л. 43 об.—44. *Солик <Солоницын В. Ап.>*. Светляк. Басня.
- Л. 44—44 об. *Алябьев Василий*. Молодым сотрудникам «Подснежника».
- Л. 44 об. *Майков Аполлон*. Единое благо.
- Л. 45—45 об. *Майкова Евгения*. Когда мы любим жизнь.
- Л. 46—60 об. *Майков Валерьян*. Пастух, певец и король. Исторический рассказ.
- Л. 61—63 об. *Свиньин П. П.* Сцена из драматического представления: «Пирожник, вельможа и изгнанник».
- Л. 64—64 об. *Солик <Солоницын В. Ап.>*. Поэту. Посвящается Аполлону Майкову.
- Л. 64 об. *Карелин <И. Г.>*. К портрету **.
- Л. 65—67 об. *Корш Евгений*. Решительность и независимость. Resolution and independence, Вордсворда.
- Л. 67 об. *Майков Аполлон*. Раздумье.
- Л. 68—69 об. *Майкова Евгения*. Мысли.
- Л. 70—70 об. *Майков Аполлон*. Вера.
- Л. 71—78 об. *Майкова Евгения*. Что она такое? Повесть.
- Л. 79—79 об. *Солик <Солоницын В. Ап.>*. Песнь скальда об Альфреде Великом.
- Л. 79 об.—81 об. *Майков Аполлон*. Суд Еговы.
- Л. 81 об. *Карелин <И. Г.>*. Тщетное ожидание.
- Л. 82—83. *Майков Аполлон*. Пленный галл в римской темнице.
- Л. 83—83 об. *Корш <Е. Ф.>*. К чуме, в Одессу.
- Л. 83 об.—84. *Майков Аполлон*. Картина вечера.
- Л. 84—84 об. *Карелин <И. Г.>*. К ласточке.
- Л. 84 об. *Майкова Евгения*. Что для меня свет?
- Л. 85—144. *Saltbox W. <Солоницын В. Андр.>* Похождения дона-Родриго Родригеса-и-Химены и сподвижника

- его Михаила Тетдора. Ву W. Saltbox; перевод с английского Е. К.
- Л. 144—144 об. *Бенедиктов <В. Г.>. Реки.*
- Л. 145—145 об., *вклейка на розовой бумаге, текст в худож. рамке. Майкова Евгения. Совет.*
- Л. 146—154 об. Наказание. Сцена из частной жизни. С французского, Солик.
- Примеч.:* Сочинение какого-то немецкого писателя (Revue germanique, 1837).
- Л. 154 об.—155 об. *Бенедиктов <В. Г.>. Две прелестницы.*
- Л. 155 об. *Карелин <И. Г.>. Евгении Петровне Майковой, в день ее рождения (17 декабря 1837 года).*
- Л. 156 об.—172 об. *Майков Аполлон. Рождение XIX столетия <фельетон>.*
- Л. 173 об.—173 об. *Бенедиктов <В. Г.>. Условие.*
- Л. 173 об.—175. *Майков Аполлон. Моисей на Синае.*
- Л. 175—175 об. *Карелин <И. Г.>. Любовь певца.*
- Л. 175 об.—176. *Солик <Солоницын В. Ап.>. Просьба моря.*
- Л. 176 об. *Майков Аполлон. О, чужды мне безумные восторги...*
- Л. 176 об.—177. *Майков Аполлон. Сотворение мира.*
- Л. 177 об.—177 об. *Солик <Солоницын В. Ап.>. Я люблю.*
- Л. 178—180 об. *Майкова Евгения. Бал. Письмо приезжей в столицу провинциалки к приятельнице своей в деревню.*
- Л. 180 об.—181. *Майков Аполлон. Слезы.*
- Л. 181—182. *Майков Володя. Зефиры. Геснерова идиллия.*
- Л. 182—182 об. *Карелин <И. Г.>. К* (17 декабря 1836).*
- Л. 182 об. *Майков Аполлон. Песни. Посвящено Любви Ивановне Бороздне.*
- Л. 183—191 об. Рода Тресси. Ву R. Bernal, esq. М. Р. Из английского альманаха «Heath's book of beauty», изданного графиней Блессингтон. С английского Аполлон Майков.
- Л. 191 об. *Солик <Солоницын В. Ап.>. Сонет.*
- Л. 192—192 об., *вклейка на сиреневой бумаге, текст в худож. рамке. Майкова Евгения. Человек и судьба.*

- Л. 193—193 об. *Крюков <А. П.> Мой день (1825).*
 Л. 193—194 об. *Майков Аполлон. Еврейская мелодия.*
 Л. 194—194 об. *Крюков <А. П.> Песенка (1823).*

Смесь

- Л. 195—196 об. Родословие дома Романовых.
 Л. 196 об.—199 об. Административное разделение России.
 во времена императрицы Елизаветы Петровны.
 Л. 199 об.—201 об. Первые календари в России.
 Л. 201 об.—202 об. Ум и совесть.
 Л. 202 об.—203. Предсказание о кончине мира.
 Л. 203—203 об. Еще воспоминания о временах терроризма.

Л. 204—205. Содержание двенадцатой тетради «Под- снежника»

Стихотворения

1. Евгении Петровне Майковой. В. Г. Бенедиктова	1 ¹
2. Два ангела. А. Майкова	2
3. Обманчивость. Е. П. Майковой	4
4. Весенняя мысль. Е. П. Майковой	49
5. Светляк; басня. Солика	80
6. Молодым сотрудникам «Подснежника».	
В. А. Алябьева	81
7. Единое благо. А. Майкова	82
8. Когда мы любим жизнь. Е. П. Майковой	83
9. Поэту. Солика	121
10. К портрету *. Карелина	122
11. Решительность и независимость; из Вордсворда.	
Корша	123
12. Раздумье. А. Майкова	128
13. Вера. А. Майкова	133
14. Песнь скальда об Альфреде Великом. Солика	151
15. Суд Еговы. А. Майкова	152
16. Тщетное ожидание. Карелина	156
17. Пленный галл в римской темнице. А. Майкова	157
18. К чуме, в Одессу. Корша	159
19. Картина вечера. А. Майкова	160

¹ Пагинация подлинника.

20. К ласточке. Карелина	161
21. Что для меня свет? Е. П. Майковой	162
22. Реки. В. Г. Бенедиктова	281
23. Совет. Е. П. Майковой	283
24. Две прелестницы. В. Г. Бенедиктова	302
25. Евгении Петровне Майковой, в день ее рождения. Карелина	304
26. Условие. В. Г. Бенедиктова	339
27. Моисей на Синае. А. Майкова	340
28. Любовь певца. Карелина	343
29. Просьба моря. Солика	344
30. О, чужды мне безумные восторги... А. Майкова	346
31. Сотворение мира. А. Майкова	346
32. Я люблю. Солика	347
33. Слезы. А. Майкова	354
34. Зефиры, идиллия Володи Майкова	355
35. К *. Карелина	357
36. Песни. А. Майкова	358
37. Сонет. Солика	374
38. Человек и судьба. Е. П. Майковой	375
39. Мой день. Крюкова	377
40. Еврейская мелодия. А. Майкова	378
41. Песенка. Крюкова	379
42. Мать и дети. Володи Майкова	381
43. Внезапная смерть. Крюкова	381

Проза

1. Лихая болезнь. И. А.	8
2. Пастух, певец и король; исторический рассказ. Валер<иана> Майкова	85
3. Сцена из драматического представления «Пирожник, вельможа и изгнанник». П. П. Свиньина	115
4. Мысли. Е. П. Майковой	129
5. Что она такое?	135
6. Похождения дона-Родриго Родригеса-и- Химены и сподвижника его Михаила Тетдора. By W. Saltbox; перевод с английского Е. К.	163

7. Наказание. Перевод с французского Солика	285
8. Рождение XIX столетия. А. Майкова	305
9. Бал. Е. П. Майковой	349
10. Рода Тресси. Перевод с английского А. Майкова	359

Смесь

11. Родословие дома Романовых	383
12. Административное разделение России во времена императрицы Елизаветы Петровны	386
13. Первые календари в России	392
14. Ум и совесть	396
15. Предсказание о кончине мира	398
16. Еще воспоминания о временах терроризма	399

<Приложения>

- Л. 206—221. Ноты: мазурка Григоровского. — Чертеж родословной дома Романовых, на пяти листах. — Карта России, 1742 г. — Пятнадцать рисунков разного рода. — Еще ноты: романс, музыка Любови Ивановны Бороздны.
- Л. 206 об.—207 об. Не горюй, душа девица. Музыка Любови Ивановны Бороздны; слова И. П. Бороздны <текст, ноты>.
- Л. 208. Мазурка. Сочинение Григоровского.
- Л. 209—212. Чертеж родословной дома Романовых.
- Л. 215—221. Майков Н. А. Карандашные портреты, рисунки.

ЛУННЫЕ НОЧИ

- Л. 1а. Обложка, графич. оформление.
- Л. 2. **Лунные ночи. Собрание сочинений в стихах и в прозе. 1839** <титул>.
- Л. 2 об. *Эпиграф, из Гельвеция* <оборот титула>.
- Л. 3—3 об. **Оглавление**

Проза

Гончарова:

Счастливая ошибка 243¹

Майковой, Евгении Петровны:

Рассказ из частной жизни 63

Майкова, Аполлона:

Покорение страны Семи пагод европейцами 143

Майкова, Валерияна:

Жизнь и наука (Бессмертное произведение) 115

Майкова, Владимира:

Скупой; сцена из китайской комедии
(перевод с французского) 334

Saltbox:

Так они наняли дачу! 13

Сказание о великом поэте, который начал
писать стихи и перестал писать стихи 202

Стихи

Бенедиктова:

Аполлону Майкову 11

Незнакомке 113

Два отрывка из стихотворения «К Женщине» 188

Недоверчивость 201

Совет 238

К* 324

Майковой, Евгении Петровны:

Вечер на даче 4

Песня 106

Поэт 139

Бенедиктову от Женщины 192

Майкова, Аполлона:

Лунная ночь 1

В. Г. Бенедиктову 6

Венера Медицейская 51

Солику 55

Сон 104

Сомнение 108

¹ В «Оглавлении» указана пагинация подлинника.

Кладбище	196
Певцу	239
Воспоминание	241
Вечер на море	325
Молитва	327
Призыв	332
Воробьевы горы	333
Солика:	57
Аполлону Майкову	
В альбом Н. А. Ш.	200
Два сонета: 1. Давид и Саломон <так!>	
2. Весеннее чувство	328
Щеткина:	
Развалины	60
К древнему мечу	110
Душа	141
Орел	194
Гранитные братья	330
* * *	
Эпилог	347

- Л. 5—6. *Майков Аполлон. Лунная ночь.*
 Л. 6 об.—7. *Майкова Евгения Петровна. Вечер на даче.*
 Л. 7 об.—9 об. *Майков Аполлон. Владимиру Григорьевичу Бенедиктову из Ораниенбаума.*
 Л. 10—10 об. *Бенедиктов Владимир Григорьевич. Аполлону Майкову. Ответ.*
 Л. 11—29 об. <Солоницын В. Андр.>. Так они наняли дачу!
 Ву W. Saltbox, esq.
 Л. 30—31. *Майков Аполлон. Венера Медицейская.*
 Л. 32—32 об. *Майков Аполлон. Солику.*
 Л. 33—34. *Солик <Солоницын В. Ал.> Аполлону Майкову. Ответ.*
 Л. 34—35 об. *Щеткин <Я. А.>. Развалины.*
 Л. 36—56. *Майкова Евгения Петровна. Рассказ из частной жизни.*
 Л. 56 об.—57. *Майков Аполлон. Сон.*
 Л. 57 об.—58. *Майкова Евгения Петровна. Песня.*

- Л. 58 об.—59. Майков Аполлон. Сомнение.
- Л. 59 об.—60 об. Щеткин <Я. А.>. К древнему мечу.
- Л. 61—61 об. Бенедиктов Владимир Григорьевич. Незнакомке (в альбом).
- Л. 62—73 об. Майков Валериян. Жизнь и наука <фельетон>.
- Л. 74—74 об. Майкова Евгения Петровна. Поэт.
- Л. 75—75 об. Щеткин <Я. А.>. Душа
- Л. 76—98. Майков Аполлон. Покорение страны Семи пагод европейцами <фельетон>.
- Л. 98 об.—100. Бенедиктов Владимир Григорьевич. Два отрывка из стихотворения «К женщине».
- Л. 100 об.—101. Майкова Евгения Петровна. Бенедиктову от женщины.
- Л. 101 об.—102. Щеткин <Я. А.>. Орел.
- Л. 102 об.—104. Майков Аполлон. Кладбище.
- Л. 104 об. Солик <Солоницын В. Ап.>. В альбом Н. А. Ш.
- Л. 105—105 об. Бенедиктов Владимир Григорьевич. Недоверчивость.
- Л. 106—123. Saltbox W., esq. <Солоницын В. Андр.>. Сказание о великом поэте, который начал писать стихи и перестал писать стихи.
- Л. 123 об. Бенедиктов Владимир Григорьевич. Совет.
- Л. 124—124 об. Майков Аполлон. Певцу.
- Л. 125—125 об. Майков Аполлон. Воспоминание. Сонет.
- Л. 126—165. Гончаров Иван Александрович. Счастливая ошибка <повесть>.
- Л. 165 об. Бенедиктов Владимир Григорьевич. К**.
- Л. 166—166 об. Майков Аполлон. Вечер на море.
- Л. 167. Майков Аполлон. Молитва.
- Л. 167 об.—168. Солик <Солоницын В. Ап.>. Два сонета.
I. Давид и Саломон <sic!>. II. Весеннее чувство.
- Л. 168 об.—169. Щеткин <Я. А.>. Гранитные братья.
- Л. 169 об.—170. Майков Аполлон. Призыв.
- Л. 170 об.—174 об. Майков Владимир. Скупой. Сцены из китайской комедии. Перевод с французского.
- Л. 175—176 об. Майков Аполлон. Воробьевы горы.
- Л. 177—179 об. Солоницын <В. Андр.> Эпилог (4 июля 1839, вторник).

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- Белинский* — *Белинский В. Г.* Собр. соч.: В 9 т. М., 1976—1982.
- ГАОО — Государственный архив Оренбургской области (Оренбург).
- ЛГУ — Ленинградский гос. университет.
- Летопись* — *Алексеев А. Д.* Летопись жизни и творчества И. А. Гончарова. М.; Л.: Наука, 1960. 366 с.
- Лица 2001* — Лица: Биогр. альманах. СПб.: Д. Буланин, 2001. [Вып.] 8 / ред.-сост. О. Р. Демидова; отв. ред. Б. Л. Бессонов.
- ЛН Гончаров* — И. А. Гончаров: Новые материалы и исследования / отв. ред. С. А. Макашин, Т. Г. Динесман. М.: ИМЛИ РАН; Наследие, 2000. 735 с. (Лит. наследство. Т. 102).
- Лунные ночи* — рукописный альманах «Лунные ночи» (РО ИРЛИ. № 16496).
- Ляцкий 1925* — *Ляцкий Е. А.* Роман и жизнь: Развитие творческой личности И. А. Гончарова: Жизнь и быт: 1812—1857. Прага: Пламя, 1925.
- Майковы. Родословная* — *Майков Л. Н.* Майковы [Родословная] (РО ИРЛИ. № 9130).
- ОР РГБ — Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (Москва).
- Подснежник 1835* — рукописный журнал «Подснежник» за 1835 год (РО ИРЛИ. № 16493).
- Подснежник 1836* — рукописный журнал «Подснежник» за 1836 год (РО ИРЛИ. № 16494).
- Подснежник 1838* — рукописный журнал «Подснежник» за 1838 год (РО ИРЛИ. № 16495).
- РГИА — Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург).

РО ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы
(Пушкинский Дом) РАН (Санкт-Петербург).

РО РНБ — Рукописный отдел Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург).

Цейтлин 1950 — *Цейтлин* А. Г. И. А. Гончаров. М.: Изд-во АН СССР, 1950. 492 с.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

- С. 4. И. А. Гончаров. Портрет работы К. А. Горбунова. 1847.
- С. 18. Н. А. Майков. Автопортрет, 1830-е.
- С. 19. Евг. П. Майкова. Портрет работы Н. А. Майкова, 1840-е.
- С. 23. Аполлон Майков. Портрет работы Н. А. Майкова, сер. 1830-х гг.
- С. 24. Н. А. Майков с женой Е. П. Майковой и сыновьями Валерианом и Леонидом. Дагерротип, до 1847.
- С. 31. В. Андр. Солоницын. Портрет работы Н. А. Майкова, начало 1840-х гг.
- С. 54. Переплет журнала «Подснежник» за 1835 с тиснением «Е. М.», посвящением издания Е. П. Майковой.
- С. 56. Обложка 2-й тетради журнала «Подснежник» за 1835 год, оформление Ап. Майкова.
- С. 57. Обложка 3-й тетради журнала «Подснежник» за 1835 год, оформление Ап. Майкова.
- С. 59. Вклейка перед титульным листом «Подснежника» за 1835 год с анонсом издания, написанным его редактором В. А. Солоницыным.
- С. 62. Из нотных приложений в «Подснежнике» за 1835 год. Евг. Майкова. Романс.
- С. 63. Графические работы Н. А. Майкова в приложениях к «Подснежнику» за 1835 год.
- С. 65. Титульный лист и обложка журнала «Подснежник» за 1838 год, рисунок Ап. Майкова.
- С. 66. Обложка и титульный лист альманаха «Лунные ночи».

- С. 69. Из нотных приложений в «Подснежнике» за 1835 год. Конст. Майков. Варварская мазурка.
- С. 77. Стихотворение Вал. Майкова «Счастливый несчастлив» в «Подснежнике» за 1835 год.
- С. 88. Рисунки Н. А. Майкова в «Подснежнике» за 1838 год.
- С. 105. Стихотворение Гончарова «Отрывок. Из письма к другу», первый лист.
- С. 108. Стихотворение Гончарова «Романс».
- С. 121. Повесть Гончарова «Лихая болезнь» в «Подснежнике» за 1838 год, первый лист.
- С. 125. Иллюстрация Н. А. Майкова к «Лихой болезни».
- С. 141. Первый лист «Оглавления» в альманахе «Лунные ночи».
- С. 144. Повесть Гончарова «Счастливая ошибка» в «Лунных ночах», первый лист.
- С. 150. Иллюстрация Н. А. Майкова к «Счастливой ошибке».
- С. 158. Иллюстрация Н. А. Майкова к «Счастливой ошибке».
- С. 181. Автограф очерка Гончарова «<Хорошо или дурно жить на свете?>», первый лист.
- С. 188. Очерк Гончарова «Пепиньерка», первый лист.
- С. 189. Очерк Гончарова «Пепиньерка», заключительный лист.
- С. 200. Титульный лист «Прибавлений» к «Подснежнику» за 1836 год.
- С. 203. Анонимная повесть «Нимфодора Ивановна» в «Подснежнике» за 1836 год, первый лист.
- С. 209. Анонимная повесть «Привидение» в «Подснежнике» за 1836 год, первый лист.
- С. 227. И. Н. Крамской. А. Н. Майков на рыбной ловле. 1883.
- С. 233. Н. А. Майков. Портрет В. А. Солоницына. 1839.
- С. 249. Повесть Евг. Майковой «Мария» в «Подснежнике» за 1835 год, первый лист.
- С. 279. Стихотворение Евг. Майковой «Совет» в «Подснежнике» за 1838 год.
- С. 281. Евг. Майкова. «Мысли» в «Подснежнике» за 1838 год, первый лист.

- С. 331. Повесть В. А. Солоницына «Так они наняли дачу!» в «Лунных ночах», первый лист.
- С. 355. Повесть Ап. Майкова «Покорение страны Семи пагод европейцами», первый лист.
- С. 364. Иллюстрация Н. А. Майкова к повести Ап. Майкова «Покорение страны Семи пагод европейцами».
- С. 369. Иллюстрация Н. А. Майкова к повести Ап. Майкова «Покорение страны Семи пагод европейцами».
- С. 379—384. В. А. Солоницын. «Эпилог» в «Лунных ночах».

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Абрамовская И. С. 226

Абрантес (д'Абрантес) (d'Abrantès), герцогиня 396

Адам Е. А. 16

Азаревич А. А. 239–240

Азаревич Н. А. – см.: Майкова Нат. А.

Азаревич, гражданская жена Ал. Ап. Майкова 73, 239–240

Азаревич, внебрачные дочери Ал. Ап. Майкова 73, 239

Азаревичи, семья А. А. и Н. А. Азаревичей 239–240

Азарьева Ю. А. 391, 394–395

Айхенвальд Ю. И. 7, 223

Аксаков К. С. 15

Аксаков С. Т. 223, 225–226, 236–237

Александр Македонский 321

Александр Невский 8

Алексеев А. Д. 37, 55, 95, 128, 187, 199, 204–205, 241

Альфред Великий 400

Алябьев А. А. 75, 393

Алябьев В. А. 75, 402

Анненков П. В. 220

Анненский И. Ф. 3–4, 102

Армстронг И. А. 73, 393

Ахачинская М., пепиньерка 189, 191–192

Баевский В. С. 71

Байрон Д. Г. 80–81, 83, 86, 110, 112–113, 157, 255–264, 290, 393

Балакин А. Ю. 2, 11, 83, 116, 128, 164, 173–174, 185, 187, 190–191,
205–206

Бальзак О. де 43
Барон Брамбеус — см.: Сенковский О. И.
Барсуков Н. П. 26
Батюшков Ф. Д. 211, 224, 293
Бахтин М. М. 13, 224–225
Бахтурин К. А. 164
Бекетовы, семья 211
Белавина Э. А. 218
Белинский В. Г. 3, 15, 25–26, 30, 41, 60, 80–81, 94, 96, 104, 106, 114, 135, 163, 219
Белоусов А. Ф. 193
Бенедиктов В. Г. 10, 28, 58, 74, 80, 92–93, 104, 106–107, 116, 206, 228–230, 396–397, 400–407
Бенкендорф А. Х. 37, 61
Берковский Н. Я. 154, 160
Бернадаки Н. Д. 43
Бернар (Bernard) Ж. — см.: Рекамье Ж. (Récamier)
Бессонов Б. Л. 68
Бестужев-Марлинский А. А. 80, 94, 142, 145, 148, 153, 194
Биллярский П. С. 44
Блессингтон М. 401
Богушевич Ю. М. 43
Бодянский О. М. 15
Бороздна В. П. 74, 240–241
Бороздна И. П. 74, 206, 240, 397–398
Бороздна Л. И. 74, 240, 397, 401, 404
Бороздны, семья 74, 240–241
Боссюэ (Bossuet) Ж. Б. 388
Боткин В. П. 219, 241
Бродская В. Б. 104, 148
Булгарин Ф. В. 41, 97, 102, 134–136, 162
Буранок Н. А. 224
Бухаркин П. Е. 101, 162, 201
Бухштаб Б. Я. 103
Быченкова С. В. 226

Вайскопф М. Я. 97
Ван Дейк (Ван Дик) А. 27

Вахрушова, пепиньерка 189, 192
 Вацуро В. Э. 61, 70–71, 103, 111, 153–154, 225
 Введенский И. И. 44
 Вельтман А. Ф. 84, 116, 142
 Венгеров С. А. 199, 201
 Вергилий 176, 223, 230, 296, 300, 319
 Веревкин Н. Н. (псевд. Рахманный) 148
 Винкельман И. И. 14
 Виньи А. де 290
 Висковатов П. А. 90
 Волков П. Г. 41
 Володина Н. В. 45, 68
 Вордсворт У. 72, 85, 402
 Вяземские, князья 10
 Вяземский П. А. 10, 104, 224

 Гаврилова Н. В. 11, 68, 243
 Гайдн Й. 391
 Гайнцева Э. Г. 8, 91
 Ган Е. А. 142
 Гейро Л. С. 205, 224
 Гельвеций К. А. 404
 Генералова Н. П. 2
 Гераков Г. В. 116
 Герцен А. И. 15, 96, 133, 219
 Гесиод 176
 Гете И. В. 80, 113, 117, 119, 124, 133, 250, 252
 Гиллельсон М. И. 61
 Гинзбург Л. Я. 12, 58, 60, 74, 104, 106, 112, 228–229
 Гнедич Н. И. 225–226
 Гоголь Н. В. 36, 83, 101, 124, 128, 133, 156, 161, 163, 194, 197, 201,
 224
 Голенищев-Кутузов А. П. 38
 Голоушева, домовладелица 16
 Гомер 124, 128, 176
 Гораций 296, 311, 319–320
 Горбунов И. Ф. 16, 125, 219
 Горбунов К. А. 4

Гофман Э. Т. А. 94
Греч Н. И. 41
Грибоедов А. С. 27, 101, 124, 156–157, 180
Григорович Д. В. 20, 25, 219
Григоровский, автор «Подснежника» 404
Григорьев А. А. 104, 114–115
Григорьев В. В. 53
Грот Я. К. 193, 241
Груздев А. И. 242
Губер Э. И. 43
Гумбольдт В. фон 133
Гусятников В. П. 33
Гусятников Д. П. 33
Гусятников М. П. 33
Гусятников П. М. 8, 33, 90
Гусятников П. П. 33
Гусятникова Е. П. – см.: Майкова Е. П.
Гусятникова Н. И. 33, 125
Гусятникова Ю. Д. – см.: Ефремова Ю. Д.
Гусятникова Ю. П. – см.: Кашкарова Ю. П.
Гусятниковы, семья 11, 33, 37, 68
Гюго (Hugo) В. 43, 61, 80, 95, 257, 290, 391

Даль В. И. 194
Данилевский Г. П. 26
Делавинь (Delavigne) К. 113
Демиховская Е. К. 202
Демиховская О. А. 9, 12, 55, 73, 95, 107, 109, 129, 199, 202, 204
Дерикер В. В. 43
Деркач С. С. 9, 12, 17, 24, 55, 68, 127, 138, 155
Диккенс Ч. 44
Долинин А. С. 25
Достоевская А. Г. 25
Достоевский М. М. 22
Достоевский Ф. М. 20, 22–25, 90, 199
Друговойко С. В. 17
Дружинин А. В. 27, 125, 219
Дудышкин С. С. 11, 20–21, 35, 223–224, 232–233, 242–243

Дудышкина (рожд. Кашкарова) Н. С. 35
Дюма А. (отец) 95, 290

Евстратов Н. Г. 12, 129, 135–137, 140, 147–148, 186–188
Екатерина II, имп. 89, 128, 394
Елизавета Петровна, имп. 89, 402, 404
Ершов П. П. 70, 206, 390, 396
Есипов Г. В. 219
Ефремов А. П. 3
Ефремова Ю. Д. 3, 125, 174, 177–178, 219

Жаккар Ж.-Ф. 123
Жанен (Janin) Ж. 61, 388, 390
Жирмунский В. М. 110, 112, 157
Жукова М. С. 142
Жуковский В. А. 94, 101, 104, 112, 119, 160–161, 180, 182–183, 211,
224, 289–290

Забабурова Н. В. 226
Заблоцкий-Десятовский А. П. 21, 35
Заблоцкий-Десятовский М. П. 11, 20–21
Заборов П. Р. 211
Замотин И. И. 95
Замысловский Е. Е. 26
Захаров А. 396
Зильбер В. – см.: Каверин В. А.
Златковский М. Л. 29–30, 55, 90
Зотов Р. М. 239

Иезуитова Р. В. 142
Измайлов А. Е. 68, 175, 193
Имеретинский (Багратион-Имеретинский) Н. К. 240
Исаченко В. Г. 176
Истрин В. М. 44

К. Р. – см.: Константин Константинович, вел. кн.
Каверин В. А. 53, 86, 163, 197
Кайданов И. К. 163

Каменская М. Ф. 91
Канкрин Е. Ф. 10
Кантемир А. Д. 219
Карамзин Н. М. 70, 94, 101, 133, 395
Карелин Г. С. 68, 126
Карелин И. Г. 68, 126, 206, 388, 390, 394, 397–398, 400–403
Карташова И. В. 99
Катков М. Н. 219
Катон Марк Порций Старший 50
Кашкаров В. С. 35
Кашкаров С. И. 35
Кашкарова Н. С. – см.: Дудышкина Н. С.
Кашкарова (рожд. Гусятникова) Ю. П. 33, 35
Кваренги Дж. 175
Квинт Курций 321
Кийко Е. И. 92
Кирмалова А. А. 122, 186
Кляйн (Klein) Й. 13
Княжевич А. М. 10
Козлов В. И. 226
Козлов И. И. 116
Козьменко М. В. 151
Колосов Г. 132
Кони А. Ф. 218–219
Константин Константинович, вел. кн. 5, 14–15, 95, 103, 140, 185
Коровин В. И. 142
Корш Е. Ф. 10, 39–41, 72, 85, 207–208, 400, 402
Корши, семья 40, 72
Котельников В. А. 98, 101
Кошелев В. А. 224
Краевский А. А. 27–28, 41, 235, 241
Краснощекова Е. А. 70, 96, 98–99, 127, 157, 205
Кренке, пепиньерка 189
Крылов И. А. 101, 180, 182
Крюков А. П. 10, 70–72, 389, 390, 393–399, 492–403
Кукольник Н. В. 10, 80
Кукулевич А. М. 225–226
Кулешов В. И. 41

Кульман Е. Б. 387
Купер Ф. 219
Кюхельбекер В. К. 71

Ламартин А. де 78, 113
Лебедев В. А. 10
Лермонтов М. Ю. 58, 83, 107, 109–110, 224
Лесков Н. С. 200
Линь (de Ligne) Ш. Ж. де 128
Лисовский Н. М. 39
Лобкарева А. В. 10, 187
Лодер (Loder) Х. И. 132–133
Ломоносов М. В. 33
Лонгинов М. Н. 136, 220
Лоскутникова М. Б. 137
Лотман Ю. М. 83, 116, 166–167
Лукьянова (рожд. Болтунова) В. Л. 186
Льховский И. И. 11, 21, 28, 98, 130, 242
Ляпушкина Е. И. 13
Ляцкий Е. А. 9, 12, 17, 140, 180, 184, 210–214

Магомедова Д. М. 151
Мазон (Mazon) А. 5, 9, 17, 32, 35, 84, 118, 139, 147, 164
Майков Ал. Ап. 7–8, 45, 91, 240
Майков Ап. А. 7–8, 11, 22, 68, 73, 91, 239–240, 392–393, 396
Майков А. Н. 5, 8–9, 11, 16–17, 19–32, 38, 42, 48–49, 50–51, 56–57, 61, 64–65, 67, 71, 73–76, 86–92, 112, 124, 128, 138–139, 173–178, 186–187, 190–193, 206–207, 210, 213, 223–232, 234–238, 241–243, 284–292, 353–375, 387–390, 392, 394–396, 398–407
Майков Вал. Ап. 45, 68, 175
Майков Вал. Н. 3, 9, 11, 21–22, 24, 26, 30, 32, 34, 50, 67, 75–77, 83, 87, 89, 91, 114, 125, 138, 175, 178–179, 186–187, 191–193, 206, 210, 212–213, 228–231, 242–243, 384, 387–389, 392, 394, 396–398, 400, 403, 405, 407
Майков Вл. Н. 9, 11, 19, 21–22, 67, 174–175, 178, 210, 232, 235, 242, 388, 390, 396–398, 401, 403, 405, 407
Майков К. А. 67–69, 174, 178, 216, 388–390, 392–393, 395–396, 398

Майков Л. А. 68, 213, 389
 Майков Л. Н. 9, 24, 26, 32, 36, 41, 45–46, 50, 52, 68, 139, 215
 Майков Н. А. 5, 7–8, 10, 16–24, 26–35, 37, 40–42, 45–47, 61, 63, 68,
 74–75, 87–88, 91, 124–126, 128, 150, 157, 173, 175, 213, 215, 223–
 224, 228–234, 239–240, 389, 392–393, 395–396, 404
 Майкова (рожд. Трескина) А. А. 139
 Майкова (рожд. Гусятникова) Евг. П. 7–9, 11, 16, 19–24, 26–27,
 30, 32–35, 40–41, 43, 45–50, 54, 62, 64, 67–68, 73, 76, 78–83, 87,
 92–93, 112, 125, 137, 142, 175–179, 190, 206, 210, 213–214, 230–
 232, 235, 239–240, 247–283, 387–390, 393–407
 Майкова (рожд. Калита) Ек. П. 242
 Майкова К. А. 68, 394
 Майкова Над. Ап. – см.: Свиньина Н. А.
 Майкова (рожд. Измайлова, во втором браке Азаревич) Нат. Ал.
 68, 175, 180, 189, 191, 193, 240, 390
 Макушев В. В. 26
 Манн Ю. В. 95, 99–100, 110, 113, 119, 145, 154, 157, 160–161
 Маркович В. М. 120, 152, 159, 162
 Марлинский А. – см.: Бестужев-Марлинский А. А.
 Марфина-Демиховская О. А. – см.: Демиховская О. А.
 Мелетинский Е. М. 166
 Мельгунов Б. В. 79, 231
 Мельник В. И. 84, 90
 Мельник Т. В. 90
 Меншиков А. Д. 75
 Мережковский Д. С. 223, 226
 Миллер О. Ф. 33, 90
 Модзалевский Б. Л. 125, 219
 Молнар А. 172
 Мольер Ж. Б. 124
 Морозов А. А. 151, 154
 Морозов В. Д. 86
 Муратов А. Б. 10
 Мусин-Пушкин В. В. 396
 Мухамидинова Х. М. 132, 148

 Надеждин Н. И. 3, 95, 116, 134–135, 163–164
 Найденов Н. А. 33

Наполеон I Бонапарт 65, 95, 391–392
Нарышкина Е. А. 211
Недзвецкий В. А. 99–100
Некрасов Н. А. 22, 84, 96, 104, 113–114, 219, 242
Немояну (Nemoianu) В. 97
Никитенко А. В. 40, 188
Никитенко Е. А. 122, 130
Никитенко С. А. 98, 130
Николай I, имп. 8, 91
Нил Сорский 7
Нистрем К. М. 176, 241

Огарев Н. П. 96, 219
Одоевский В. Ф. 142
Ознобишин Д. П. 116, 226
Ордин Ф. Ф. 26
Орлов А. А. 102, 134–135
Орнатская Т. И. 99, 129, 221
Островский А. Н. 223–224, 237
Островский М. Н. 237–238
Отрадин М. В. 2, 13, 99, 166

Павлов Н. Ф. 142
Панаев В. И. 74, 397
Панаев И. И. 20, 22, 96, 113, 142, 153, 161, 199, 219
Панаева (во втором браке Головачева) А. Я. 219–220
Паравиковская, пепиньерка 189
Пассевьев В. 73, 393
Пассевьева (Пасевьева) М. Ф. 73
Пашков М. В. 33
Пель А. Х. 176–177
Перовский А. А. (псевд. Антоний Погорельский) 194
Петр I 45, 90–91, 272
Петрашевский М. В. 24
Пиксанов Н. К. 30, 90, 107, 128, 153
Пинженина Е. И. 174
Писарев Д. И. 26
Писемский А. Ф. 199, 236–237

Питанин В. Н. 176
 Плетнев П. А. 17, 41, 193, 219, 241
 Плетнева А. В. 125, 219
 Плещеев А. Н. 20, 22, 25, 114
 Погодин М. П. 26, 123, 142
 Погорельский Антоний – см.: Перовский А. А.
 Подолинский А. И. 116
 Поздеева Е. Ф. 185, 189–192
 Полевой К. А. 134
 Полевой Н. А. 80, 102, 113, 134, 136, 142
 Полонский Я. П. 104
 Полосухин И. И. 16
 Порецкий А. У. 21
 Постнов О. Г. 100
 Потанин Г. Н. 94–95, 199
 Пришвин М. М. 101
 Проперций 299
 Пропп В. Я. 166, 168–169
 Пруцков Н. И. 112, 205
 Путятин Е. В. 37
 Пушкин А. С. 58, 61, 71, 80, 83, 94, 101, 104, 110–111, 115–116, 124,
 135–136, 143, 156–157, 159–160, 180, 182–183, 194, 198, 224–
 225

Раздорский А. И. 20
 Рахманный – см.: Веревкин Н. Н.
 Рекамье (Récamier) Ж., мадам Рекамье (рожд. Бернар (Bernard))
 80
 Ремезов И. С. 32
 Робертсон У. 398
 Розен Е. Ф. 116
 Романов К. К. – см.: Константин Константинович, вел. кн.
 Романов Михаил Федорович 65
 Романова А. В. 10, 13
 Романовы, династия 65, 89, 402, 404
 Ростопчин Ф. В. 89
 Ростопчина Е. П. 142
 Роте (Rothe) Х. 13

Руссо Ж.-Ж. 198

Рыбасов А. П. 9, 12, 55, 103, 111–112, 114

Савинков С. В. 99

Саитов В. И. 32

Саккас А. 297

Сакулин П. Н. 186

Салтыков-Щедрин М. Е. 92

Санд Ж. (George Sand; наст. имя А. Дюпен, в замуж. баронесса Дюдеван) 61, 399

Сарган А. 398

Сахаров В. И. 151

Свиньин П. П. 74, 400, 403

Свиньи́на Н. А. 74

Седельникова О. В. 17, 241

Семевский М. И. 31, 55, 139

Сенека Луций Анней 316

Сенковская А. А. 40

Сенковский О. И. 7, 30, 32, 39–44, 49, 52–53, 59–60, 70, 72, 80, 84, 86–89, 93, 97, 102, 128, 133, 161–164, 197, 207, 290

Серафимов В. И. 8

Сервантес М. де 124

Сечкарев (Setchkarev) Вс. 104, 128, 137, 205

Сизова М. А. 142

Синявский, неуст. лицо 390

Скабичевский А. М. 26–27

Скотт В. 135

Смирнов И. П. 123

Соллогуб В. А. 91, 123, 142, 151–152

Солоницын А. В. 36

Солоницын В. Андр. 7, 10–12, 16, 27, 29–54, 58–61, 64–67, 70–73, 81, 83–87, 89–93, 97, 116–118, 126–127, 138, 140, 177–178, 180, 191–193, 197–198, 206–208, 210, 213–216, 230–231, 233, 329–352, 376–384, 387, 391–392, 397, 400, 403, 405, 406–407

Солоницын В. Ап. 11, 34, 50, 67, 74, 76, 91–92, 106, 111, 177–178, 180, 186, 190, 192, 242–243, 388, 390–407

Сомов В. П. 12, 72, 136, 148–149, 153, 205–208

Сорокина С. Е. 33

Сталь (Staël) Ж., де 80, 128
Станкевич Н. В. 15
Старчевский А. В. 11, 20–21, 35–36, 43, 45, 52, 59–60, 175, 187, 197,
199, 232, 242
Степанов А. П. 80
Стоффриген 132
Строев С. М. 15
Суперанский М. Ф. 9, 122
Сухтелен П. П. 397
Сучков С. В. 9
Сю Э. 3, 43, 95,
Сяськова Т. В. 226

Таборисская Е. М. 100
Тамарченко Н. Д. 149, 151, 166–167, 169–171
Тассо Т. 101
Тепляков А. Г. 241
Тепляков В. Г. 241–242
Тепляков П. А. 241
Теплякова С. А. 241–242
Теплякова Ю. А. 241–242
Тепляковы, семья 241–242
Тимм В. Ф. 5
Тирген (Thiergen) П. 13, 107
Тихомиров В. Н. 99
Тициан В. 391
Толль Ф.-Э. Г. 234
Толстая (рожд. Мусина-Пушкина) В. А. 177, 179
Толстая Е. В. 128, 177, 179, 185, 186, 188, 190
Толстой Д. 219
Толстой Л. Н. 91, 168, 201
Топоров Н. 132
Трофимов Ж. А. 95
Труссон (Трузсон) И. Х. 16, 176
Туниманов В. А. 221
Тургенев А. И. 10
Тургенев И. С. 18–19, 22, 96, 104, 106, 113, 199, 211, 219, 224
Тынянов Ю. Н. 154

Тюпа В. И. 120, 166, 225

Тютчев Ф. И. 104

Фаустов А. А. 13, 99, 119, 166, 172, 222

Феокрит 225, 230

Фет А. А. 103–104

Фомин М. И. 8

Фрейденберг О. М. 166

Халанский А. И. 223–224

Хемницер И. И. 215

Ходж Т. 75

Цейдлер П. М. 21

Цейтлин А. Г. 9, 12, 17, 55, 104, 114, 122, 129, 136, 140, 143, 147–148,
154–155, 165, 180, 212, 216

Цертелев Д. Н. 59

Цицерон Марк Туллий 296, 322

Цылов Н. И. 177

Челаева (Чилиева) Н., пепиньерка 189–192

Челышев Б. Д. 187

Чемена О. А. 204

Чичерин А. В. 114

Шатилов Н. А. 75

Шатобриан (Chateaubriand) Ф. Р., де 80, 247

Шафонская Н. Ф. 72–73, 391

Шафонский А. А. 73

Шевырев С. П. 33

Шекспир В. 124

Шепелёв Л. Е. 10

Шидловский А. Ф. 242

Шиллер Ф. 14, 83, 94, 111, 113, 198

Шпицер С. М. 199

Штакеншнейдер Е. А. 20

Штейнпресс Б. С. 75

Шувалов С., ученик Н. А. Майкова 393–395

Щербина Н. Ф. 237

Щеткин Я. А. 11, 21, 75, 92, 106–107, 173–174, 177–179, 406–407

Эзоп 124

Энгельгардт Б. М. 12, 99, 120, 122, 127, 129

Эре (Ehre) М. 100, 129, 143, 147, 154

Юферов Н. С. 39

Языков Д. Д. 30–31, 55

Языков Д. С. 37

Языков М. А. 125, 130, 218–222

Языкова (рожд. Белавина) Е. А. 125, 130, 218–222

Языковы, семья 218, 220–222

Ямпольский И. Г. 26, 33, 138, 237

Яновский С. Д. 20, 24–25

Bernal R. 401

Chateaubriand — см.: Шатобриан Ф. Р., де

Ehre М. — см.: Эре М.

Hugo V. — см.: Гюго В.

Janin J. — см.: Жанен Ж.

Klein J. — см.: Кляйн Й.

Lestrelin 260

Mazon A. — см.: Мазон А.

Nemoianu V. — см.: Немояну В.

Rothe H. — см.: Роте Х.

Setchkarev Vs. – см.: Сечкарев Вс.

Thiergen P. – см.: Тирген П.

Udolph L. 107

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вступление	3
Глава 1. Литературный дом Майковых	14
Кружок, салон или литературный дом	16
«...Его мнения имели в нашем доме значение высокого авторитета»: Владимир Андреевич Солоницын	29
Домашнее творчество: журнал «Подснежник» (1835, 1836, 1838) и альманах «Лунные ночи» (1839)	53
Глава 2. «Домашние» стихи и проза Гончарова	94
Стихи Гончарова в «Подснежнике» и элегии Александра Адуева в «Обыкновенной истории»	102
К типологии оппозиций: <i>беспокойство—покой</i> в «Лихой болести»	118
К жанровой типологии: «Счастливая ошибка» в контексте светской повести	139
Структура и семантика сюжета в «домашних» повестях ..	166
Глава 3. Екатерининский институт и институтские сюжеты	173
Рукописная газета «Сплетня» (1842)	173
К типологии оппозиций: <i>идеал—действительность</i> , <i>поэзия—проза</i> в «этюде» «<Хорошо или дурно жить на свете?>» (1841—1842)	179
Институтский очерк «Пепиньерка» (1842)	185
Глава 4. Раннее творчество Гончарова: утраченное, ненайденное, приписываемое	196
Атрибуция анонимных произведений в рукописных изданиях Майковых	196

Играл ли Гончаров в «секретари»: к атрибуции ранних текстов	210
---	-----

Глава 5. Дом Майковых в перспективе биографии и творчества Гончарова

Домашняя аудитория в письмах Гончарова	218
К жанровой типологии: «рыболовные» сюжеты Гончарова в контексте русской идиллии	223

Заключение	239
------------------	-----

Приложение I

Тексты «Подснежника» и «Лунных ночей»

Лирика и проза Е. П. Майковой

Мария. <i>Повесть</i> (1835)	247
Из лирики и прозаических отрывков (1835–1839)	
Вопль несчастливца	265
Разочарование	266
Abi! null' altro che pianto al mondo dura	266
Терпение	267
«Когда с надеждой легкокрылой...»	269
Птичка	270
Тайна	271
На море	272
Видение	273
Весенняя мысль	274
Обманчивость	274
Когда мы любим жизнь	275
Что для меня свет?	276
Человек и судьба	276
Совет	277
Поэт	278
Мысли	280

Из ранней фельетонной прозы Ап. Майкова

Путешествие на Луну (1835)	284
----------------------------------	-----

Из анонимной прозы в «Подснежнике»

Привидение. *Московская легенда* (1836)..... 293

Дружеский «дагерротип» семьи Майковых

В. А. Солоницын. Так они наняли дачу! (1839) 329

Рыбная ловля в домашних шаржах

Аполлон Майков. Покорение страны Семи пагод
европейцами (1839)..... 353

Эпилог домашнего творчества

В. А. Солоницын. Эпилог (1839) 376

Приложение II

Содержание журнала «Подснежник» и альманаха «Лунные ночи»

«Подснежник». 1835 387

«Подснежник». 1836 396

«Подснежник». 1838 399

«Лунные ночи»..... 404

Список сокращений..... 408

Список иллюстраций 410

Указатель имен..... 413

На обложке:
*Здание Екатерининского института (арх. Д. Кваренги;
совр. адрес: наб. р. Фонтанки, 36), где Гончаров
вместе со старшими и младшими Майковыми регулярно бывал
в конце 1830 — начале 1840-х годов*

*Утверждено к печати
Ученым советом ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН,
протокол № 7 от 14 сентября 2020 г.*

Научное издание

**Анна Глебовна ГРОДЕЦКАЯ
ГОНЧАРОВ
В ЛИТЕРАТУРНОМ ДОМЕ МАЙКОВЫХ
1830—1840-е годы**

Редактор З. Фельцман
Корректор Н. Исупова
Компьютерная верстка С. Степанова

Формат 60 × 88¹/₁₆. Гарнитура Октава. Печ. л. 27,0.
Тираж 1000 экз. Заказ № 883

Е-mail: rostokbooks@yandex.ru
URL: <http://www.rostokbooks.ru>
По вопросам оптовых закупок
обращаться по тел.: (812) 937–98–70

ИП «Варваркин А. И.»
199155, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 17, корп. 3, оф. 4

*Согласно Федеральному закону от 29.12.2010 № 436-ФЗ
«О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»,
«книга предназначена для детей старше 16 лет»*

В книге представлен ранний, допечатный (до «Обыкновенной истории») этап литературной деятельности И. А. Гончарова. В 1835 году на правах домашнего учителя Аполлона и Валериана Майковых он вошел в семью Майковых и на десятилетия сохранил с ней дружескую и творческую близость. Дом Майковых явился для начинающего писателя пространством творческой самоидентификации и своеобразным «текстом жизни», который во многом стал источником проблематики, сюжетных и персонажных моделей в его прозе. На основе малоизвестных архивных и мемуарных материалов автором во всей полноте воссоздан феномен литературного дома Майковых, уникального явления в культурной жизни столицы, представлены «домашние» рукописные издания — журнал «Подснежник» (1835, 1836, 1838) и альманах «Лунные ночи» (1839), в которых и состоялся литературный дебют Гончарова. Ранние тексты писателя исследуются как в «домашнем», так и в более широком контексте — общеэпохальном, жанровом, стилевом. В разделе «Приложения» впервые публикуются поэтические, прозаические, фельетонные тексты из рукописных изданий Майковых, здесь же дана и полная роспись их содержания. Иллюстрациями служат редкие архивные материалы. Исследование обобщает результаты многолетней работы автора над томами академического Полного собрания сочинений и писем И. А. Гончарова. Книга адресована всем интересующимся историей Золотого века русской культуры.



9 785918 680230